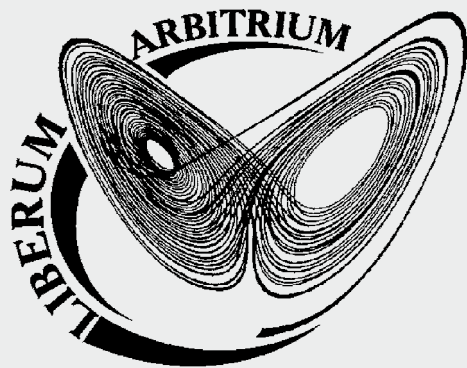




НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ

LIBERUM ARBITRIUM
СВОБОДА ВЫБОРА

НА ЭМБЛЕМЕ ФОРУМА ИЗОБРАЖЕН АТТРАКТОР ЛОРЕНЦА – ФИГУРА, ВОПЛОЩАЮЩАЯ
ВАРИАНТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКОВ ЧАСТИЦ В НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМАХ

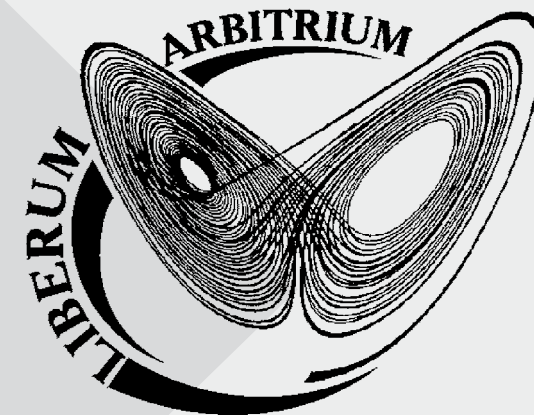
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ / 2021

INTERNATIONAL TRENDS
Journal of International Relations Theory and World Politics

ISSN 1728-2756 (PRINT)
ISSN 1811-2773 (ONLINE)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Том 19. Номер 4 (67). ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ / 2021
Volume 19. No. 4 (67). OCTOBER–DECEMBER / 2021



ЦИФРОВЫЕ ОПАСНОСТИ МЕГАТРЕНДЫ

- | | |
|---------------------------|--|
| Сергей Бойко | ▶ Тернистый путь к цифровой защищенности |
| Кирилл Коктыш | ▶ Сетевые алгоритмы и безопасность |
| Анна Ренард-Коктыш | |
| Екатерина Арапова | ▶ Будущее торговли между ЕАЭС и Индией |

Научно-образовательный **ФОРУМ** по международным отношениям

неправительственная некоммерческая организация
для содействия научно-образовательным
и просветительским программам, нацеленным
на формирование в России современного
профессионального сообщества международных
и политологов

Под нынешним названием Форум работает с 2000 г.

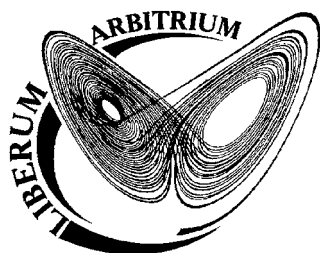
Президент Форума
Алексей Богатуров

Исполнительный директор
Андрей Байков

Сайт Форума:
<http://www.obraforum.ru>

INTERNATIONAL TRENDS

Journal of International Relations Theory and World Politics



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ЖУРНАЛ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Том 19. Номер 4 (67)
ОКТАБРЬ–ДЕКАБРЬ **2021**

Mezhdunarodnye protsessy (International Trends)

The Journal of International Relations Theory and World Politics

Editor-in-Chief

Andrey Baykov
MGIMO University

Executive Editor

Igor Istomin
MGIMO University

Editorial Board

Chairman

Alexei Bogaturov, *Academic Educational Forum on International Relations, Russian Federation*

Tatiana Alekseyeva, *Moscow State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russian Federation*

Vladimir Baranovsky, *Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Russian Federation*

Alexander Bulatov, *Moscow State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russian Federation*

Timothy J. Colton, *Harvard University, USA*

Christine Inglis, *University of Sydney, Australia*

Alexey Fenenko, *Lomonosov Moscow State University, Russian Federation*

Maksim Kharkevich, *Moscow State Institute of International Relations, Russian Federation*

Nikolai Kosolapov, *Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Russian Federation*

S. Neil MacFarlane, *Oxford University, UK, Geneva Centre for Security Policy, Switzerland*

Tatiana Shakleina, *Moscow State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russian Federation*

Valery Tishkov, *Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Russian Federation*

Mikhail Troitskiy, *Moscow State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russian Federation*

Pavel Tsygankov, *Lomonosov Moscow State University, Russian Federation*

Alexei Voskressensky, *Moscow State Institute of International Relations, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Russian Federation*

William C. Wohlforth, *Dartmouth College, USA*

ISSN 1728-2756 (PRINT)

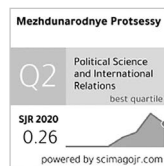
ISSN 1811-2773 (ONLINE)

*The opinions expressed in **International Trends** are those of the authors and contributors, and do not necessarily reflect those of the editors, the editorial board, Academic Educational Forum on International Relations, or the organizations to which the authors are affiliated.*

«*International Trends*» (*Mezhdunarodnye protsessy*) is the first Russian academic journal of international relations theory and the methodology of world-political studies. It is independently published and managed by the Academic Educational Journal on International Relations, a Moscow-based Russian NGO established in 2000. Having no direct affiliation with any state or private institution, the journal aims to facilitate communication among scholars and educators in Eurasia and to foster their concerted effort in developing theoretical approaches to international relations and world politics. Our journal's priorities include new fundamental trends in international relations and world economy, the evolving theoretical agenda of security and conflict studies, international organizations, the ethical dimension of foreign policy and international law, ecology, geopolitics, migrations, and international political economy. Our authors come from universities and research centers based in the former Soviet area as well as Western Europe and North America. The journal circulates in 1,100 copies and also exists in an open-access format at: <http://www.intertrends.ru>. Apart from Russian-speaking intellectuals, analysts, and university faculty, it is distributed among policy makers and officials serving in Russian federal and regional government bodies, including the Ministry of Foreign Affairs and the Administration of the President of the Russian Federation.

© Academic Educational Forum on International Relations

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Editorial Board.



Редакционная коллегия

Председатель

Алексей Богатуров

Татьяна Алексеева, Сергей Афонцев, Андрей Байков, Владимир Барановский,
Ирина Болгова, Александр Булатов, Алексей Воскресенский,
Кристин Инглис (Австралия), Игорь Истомин, Тимоти Колтон (США),
Николай Косолапов, Нил Макфарлейн (Великобритания), Валерий Тишков,
Михаил Троицкий, Уильям Уолфорт (США), Алексей Фененко,
Максим Харкевич, Павел Цыганков, Татьяна Шаклеина

Главный редактор

Андрей Байков

Шеф-редактор – первый заместитель главного редактора

Игорь Истомин

Ответственный секретарь – заместитель главного редактора

Ирина Болгова

Редакционно-корректорская группа

Вадим Беленков, Елена Бочкова, Анна Гожина,
Евгения Захарова, Наталия Меден, Ирина Николаева

Журнал издаётся Научно-образовательным форумом
по международным отношениям

*Мнения и оценки, содержащиеся в публикуемых материалах,
могут не совпадать с позицией Редакционной коллегии и НОФМО*

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещанию и средствам массовой коммуникации
Свидетельство о регистрации ПИ № 77–13727 от 14 октября 2002 г.

Журнал основан в 2002 году.

Журнал индексируется в библиометрических системах научной информации **Scopus**
и Russian Science Citation Index (**RSCI**) на платформе **Web of Science**.

ISSN 1728–2756 (печатная версия)

ISSN 1811–2773 (интернет-версия)

ООО Издательство «Аспект Пресс», 111141, Москва, Зелёный проспект, д. 3/10, стр. 15
Отпечатано: АО «Т 8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел. 8 (495) 221–89–80

© Журнал «Международные процессы», 2021

© А.Д. Богатуров, А.А. Байков, О.О. Гуляева (эмблема), 2021

**Никакая часть настоящего журнала не может быть воспроизведена в печатном,
электронном или ином виде без письменного разрешения редакции**

CONTENTS

REALITY AND THEORY

Sergey Boyko	Political and Legal Framework of International Information Security	6
Kirill Koktysh	Cognitive Dimension of Security	26
Anna Renard-Koktysh		
Olga Rebro	The Notion of "Digital Sovereignty" in Contemporary World Politics	47
Anastasia Gladysheva		
Maxim Suchkov		
Andrey Sushentsov		

CATCHING A TREND

Ekaterina Arapova	EAEU–India Free Trade Area: Potential Tariff Liberalization Effects for Russia	68
Sergey Ryazantsev	International Migration and Labor Markets During the COVID-19 Pandemic	89
Vera Gnevasheva		
Natalia Galistcheva	India-China Relations: Struggle Between the Tiger and the Dragon for the Place Under the Sun	104
Maria Reshchikova		
Natalya Radko	Income Generation Activities by Academics at Universities and engagement with stakeholders	123

DEBATING AN ISSUE

Sergey Shein	False Alarm? Populism as a Challenge to Solidarity in EU Policy towards Russia	151
Artyom Alikin		

DISCUSSION CONTINUED

Alexey Fenenko	The Illusion of a Discipline: Continuation of the Polemic on Quantitative Methods in International Relation	163
----------------	---	-----

SCRIPTA MANENT

Book Reviews

Andrey Sidorov	Interwar Europe on the Crossroads: Creation and Evolution of the Versailles and Locarno Security Regimes	192
----------------	--	-----

<i>Our authors</i>	198
--------------------------	-----

СОДЕРЖАНИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ И ТЕОРИЯ

Сергей Бойко	Политико-правовые предпосылки системы международной информационной безопасности	6
Кирилл Коктыш	Когнитивное измерение безопасности	26
Анна Ренард-Коктыш		
Ольга Ребро	Категория «цифрового суверенитета»	
Анастасия Гладышева	в современной мировой политике	47
Максим Сучков		
Андрей Сушенцов		

ФИКСИРУЕМ ТЕНДЕНЦИЮ

Екатерина Арапова	Зона свободной торговли ЕАЭС–Индия: параметры и потенциал	68
Сергей Рязанцев	Международная миграция и рынки труда	
Вера Гневашева	в пандемию COVID-19	89
Наталья Галищева	Индийско-китайские отношения: борьба «тигра»	
Мария Рещикова	и «дракона» за место под солнцем	104
Natalya Radko	Income generation activities from academics at Universities and engagement with stakeholders	123

ХОЛОДНО - О ГОРЯЧЕМ

Сергей Шеин	Ложная альтернатива? Популистский вызов	
Артем Аликин	солидарности ЕС в отношении России	151

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

Алексей Фененко	Иллюзорная дисциплина: и снова о количественных методах в международных отношениях	163
-----------------	--	-----

SCRIPTA MANENT

Рукописи не горят. Рецензии

Андрей Сидоров	Послевоенная Европа на перепутье: формирование и эволюция Версальского и Локарнского режимов безопасности	192
----------------	---	-----

Наши авторы	197
-------------------	-----

Our authors	198
-------------------	-----

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКИЕ ПОДХОДЫ И ИНИЦИАТИВЫ

СЕРГЕЙ БОЙКО

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации, Москва, Россия

Резюме

В фокусе статьи – государственная политика Российской Федерации в области международной информационной безопасности. Цель исследования состоит в определении основных направлений укрепления международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности на различных уровнях международных отношений. Автор даёт оценку профильному двустороннему сотрудничеству на примере Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Автором обобщаются российские инициативы, выдвигаемые в многосторонних институтах: особое внимание уделяется взаимодействию в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ и АСЕАН. Региональное и межрегиональное взаимодействие в данной сфере позволяет обеспечить стабильность и безопасность соответствующих регионов с учётом национальных интересов. В статье также рассматриваются российские проекты, продвигаемые на глобальном уровне, – резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: благодаря России и её партнерам удалось закрепить свод международных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве. Помимо этого, ощутимым российским вкладом в институционализацию профильного дискуссионного механизма в ООН стал созыв новой Рабочей группы открытого состава – инклюзивной площадки для непрерывного и транспарентного диалога по проблематике международной информационной безопасности. Автор приходит к выводу, что реализация российских инициатив и достигнутые договорённости о сотрудничестве содействуют развитию политико-правовых основ системы обеспечения международной информационной безопасности. Нацеленность России на содействие формированию такой системы подтверждают обновлённые Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности. Однако предпринимаемые Россией практические шаги в указанной области не являются достаточными, поскольку для формирования системы обеспечения международной информационной безопасности необходимы усилия всего мирового сообщества.

Ключевые слова:

международная информационная безопасность; внешняя политика Российской Федерации; государственная политика Российской Федерации; международное сотрудничество.

Дата поступления рукописи в редакцию: 15.01.2021

Дата принятия к публикации: 09.02.2022

Для связи с автором / Corresponding author:

Email: boiko_sm@gov.ru

Стремительно нарастающие угрозы в информационной сфере требуют адекватного ответа со стороны государства, общества и граждан. Противостоять противоправному воздействию на информационную инфраструктуру со стороны государств, преследующих деструктивные военно-политические, террористические, экстремистские и криминальные цели, становится возможным только на основе комплексного подхода к выстраиванию системы обеспечения международной информационной безопасности (далее – МИБ) – системы, функционирующей на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях.

На содействие формированию такой системы нацелена государственная политика Российской Федерации в области МИБ, основы которой закреплены в 2021 году в профильном документе стратегического планирования – Основах государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности¹. В обновлённой редакции понятие «система обеспечения МИБ» определяется как совокупность международных и национальных институтов, регулирующих деятельность в глобальном информационном пространстве в целях предотвращения (минимизации) угроз МИБ².

Проблемы создания системы обеспечения МИБ, подходы к выстраиванию международного сотрудничества с целью формирования соответствующих правовых механизмов и выработки практических мер рассматривались в работах ряда отечественных и зарубежных авторов.

Российские исследователи особое внимание традиционно уделяют политическим аспектам данной проблемы, среди которых перспективы формирования международной системы информационной безопасности сквозь призму инициатив России и США в ООН [Себекин, 2020]; формирование международных режимов информаци-

онной безопасности на различных уровнях [Зиновьева 2019, 2021]; состояние и возможности разработки политико-правовой базы сотрудничества в обеспечении МИБ [Крутских 2007, 2014]; применимость норм права международной ответственности к поведению государств в киберпространстве [Красиков 2018]; потенциальные направления российско-американского сотрудничества в области МИБ в условиях прогрессивного развития международного права и его адаптации к особенностям ИКТ-среды как новой сферы международного сотрудничества [Смирнов, Стрельцов 2017].

Зарубежные авторы, в свою очередь, делают больший акцент на правовой составляющей исследуемой проблематики. Они освещают вопросы ответственности государств за совершение международно-противоправных деяний в киберпространстве и выработки правил отнесения таких деяний к определённому государству [Antonopoulos 2015]; анализируют принципы ответственности государств и состояние выработки основных правил поведения в международном праве применительно к киберпространству [Jensen 2017]; оценивают как роль ООН в регулировании вопросов обеспечения кибербезопасности, так и необходимость дальнейших согласованных действий вообще [Henderson 2015]; рассматривают вопросы создания норм поведения государств в целях обеспечения стабильности в киберпространстве [Nye 2018, 2019]; исследуют правовой статус киберпространства и его суверенитета, а также потенциальные проблемы при разработке всеобъемлющего и согласованного на глобальном уровне договора, устанавливающего правила поведения, запрещающего отдельные виды деятельности и устанавливающего правила юрисдикции [Tsagourias 2016].

Анализ литературы по рассматриваемой проблематике свидетельствует о том, что исследования проблем формирования системы обеспечения МИБ, проводимые

¹ Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104120050>

² Там же.

представителями отечественных и зарубежных научных и экспертных сообществ, носят комплексный характер, подчёркивают необходимость сотрудничества заинтересованных сторон в целях противодействия всему спектру вызовов и угроз в информационной сфере.

При этом, если ранее приоритетное внимание уделялось так называемой триаде угроз (угрозам использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деструктивных военно-политических целях, направленных на подрыв суверенитета государств, их территориальной целостности, в террористических и иных преступных целях), то в настоящее время российские и зарубежные авторы чаще исследуют «новые угрозы», нарастающие в последние годы и непосредственно влияющие на формирование системы обеспечения МИБ.

К таким, относительно новым, угрозам относят использование ИКТ для нанесения экономического ущерба, в том числе посредством деструктивного воздействия на объекты информационной инфраструктуры, а также для пропаганды экстремизма, терроризма и сепаратизма, вовлечения новых сторонников в ряды экстремистских и террористических организаций. Представители научного и экспертного сообществ отмечают нарастание угрозы использования ИКТ для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей и теорий, дестабилизации внутрисполитической и социально-экономической обстановки, нарушения системы управления государством. Всё более серьёзной становится угроза распространения информации, наносящей вред общественно-политической и социально-экономической системе, духовно-нравственной и культурной среде государств.

Перечисленные угрозы МИБ подробно представлены в работах отечественных авторов, таких как Е.В. Батуева, В.А. Васенин, Е.С. Зиновьева, О.В. Казарин, В.Ю. Скиба, Р.А. Шаряпов, А.Я. Капустин, А.И. Смирнов, А.В. Крутских [Батуева 2014; Васенин 2004; Зиновьева 2019; Казарин, Скиба, Шаряпов 2016; Капустин 2015; 2017; Смирнов 2016; Крутских 2021]. Они также освещаются в публикациях зарубежных специалистов [Ambos 2015; Buchan 2018; Weimann 2015; Jensen, Watts 2017; Kastner, Megret 2015; Kerschischnig 2012; Lewis, Stewart 2013; Saul, Heath 2014; Hua, Barna 2013]. Глобальный характер данных угроз и масштаб возможных последствий их реализации актуализирует необходимость формирования многоуровневой системы обеспечения МИБ.

Правовую основу каждого уровня упомянутой системы могут составить международные договоры о сотрудничестве в области обеспечения МИБ. Такие договоры позволяют не только зафиксировать единство подходов сотрудничающих сторон, но и гарантировать их взаимную безопасность от угроз в информационной сфере. Формат договоров может быть различным, что обусловлено особенностями правовых систем государств, достигающих договоренностей о сотрудничестве. Например, согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» международные договоры заключаются с иностранными государствами, международными организациями и иными образованиями от имени государства (межгосударственные договоры), от имени правительства (межправительственные договоры) и от имени органов власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного характера)³. Российское законодательство, равно как и законодательства других государств, предусматривает различные виды международных договоров: договоры, соглаше-

³ Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370228&dst=1000000001%2C0#04556996730220404>

ния, конвенции, протоколы, обмены письмами или нотами, а также иные виды и наименования международных договоров.

При достижении государствами с различными правовыми системами договорённостей о сотрудничестве в области обеспечения МИБ подобная вариативность позволяет находить взаимоприемлемые подходы к организационно-правовому оформлению сотрудничества. В целом международные договоры образуют многоуровневую правовую основу межгосударственных отношений в области обеспечения МИБ, которая содействует поддержанию мира, безопасности и стабильности в глобальном информационном пространстве, а также развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций.

Двустороннее сотрудничество как фундамент системы обеспечения МИБ

Правовую основу двустороннего уровня системы обеспечения МИБ составляют международные договоры, заключённые между двумя государствами. Подобные договоры позволяют наладить практическое взаимодействие заинтересованных сторон, поскольку чётко очерчивают основные направления сотрудничества.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 8 мая 2015 года⁴, например, предусматривает создание механизма сотрудничества между уполномоченными органами в целях обмена информацией и совместного использования информации о существующих и потенциальных рисках, угрозах и уязвимостях в области информационной безопасности, их выявления, оценки, изучения, взаимного информирования о них, а также предупреждения их возникновения. Прикладной характер носят направ-

ления, связанные с совместным реагированием на угрозы в области обеспечения МИБ и созданием соответствующих каналов связи и контактов.

В практической плоскости лежит сотрудничество компетентных органов России и Китая в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры государств, обмена технологиями, а также взаимодействие уполномоченных органов в области реагирования на компьютерные инциденты. Большое значение для защиты от информационных угроз имеют обмен информацией и сотрудничество в правоохранительной области при расследовании дел, связанных с использованием ИКТ в террористических и криминальных целях.

Интересам формирования системы обеспечения МИБ на двустороннем уровне подчинены разработка и осуществление необходимых совместных мер доверия в рассматриваемой области, а также взаимодействие в разработке и продвижении норм международного права в целях обеспечения национальной и международной информационной безопасности. Кроме того, в числе основных направлений сотрудничества — содействие научным исследованиям, проведение совместных научно-исследовательских работ, подготовка специалистов, обмен студентами, аспирантами и преподавателями профильных высших учебных заведений. Наряду с решением поставленных задач большое значение придаётся сотрудничеству России и Китая и координации их деятельности в рамках международных организаций и форумов, а также проведению рабочих встреч, конференций, семинаров уполномоченных представителей и экспертов. Перечисленные направления российско-китайского сотрудничества во многом обеспечивают взаимодействие сторон в борьбе с угрозами МИБ.

Аналогичные межправительственные соглашения Россией заключены с Белору-

⁴ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 8 мая 2015 г. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100001>

сией, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Ираном, Киргизией, Кубой, Никарагуа, Туркменистаном, Узбекистаном и ЮАР. Взаимные договорённости позволяют обеспечить эффективное системобразующее сотрудничество на двустороннем уровне. Наличие обязательств гарантирует, по меньшей мере, информационную безопасность от возможных деструктивных воздействий со стороны партнёра. Достижение всё большего числа двусторонних договорённостей способствует созданию разветвлённой паутины безопасности — фундамента для построения глобальной системы обеспечения МИБ.

В первую очередь межправительственные соглашения были подписаны Российской Федерацией со своими союзниками по СНГ, ШОС и БРИКС, с государствами, традиционно поддерживающими с Россией отношения стратегического партнёрства, а также со странами, разделяющими российские подходы к формированию системы обеспечения МИБ. Соглашения носят преимущественно рамочный характер, определяя основные направления сотрудничества сторон и фиксируя процедурные вопросы; практическое же взаимодействие строится на основе планов реализации указанных направлений. Круг государств, сотрудничающих с Россией в рассматриваемой области, не ограничивается упомянутыми странами. Более того, построение указанной системы только по блоковому признаку невозможно: необходимо взаимодействие на взаимовыгодной основе без политических пристрастий и блоковой принадлежности.

Именно такой подход России — государства, обладающего весомым потенциалом в области ИКТ и занимающего лидирующие позиции в мировой «табели о рангах», — обуславливает стремление многих государств выстраивать с ней прагматичные двусторонние отношения. Приоритеты для российских партнёров: обеспечение

информационной безопасности, взаимодействие в наиболее чувствительных областях, связанных с защитой критической инфраструктуры, а также с противодействием использованию ИКТ в преступных целях. Наличие в отдельных случаях политических разногласий, различия в подходах не стали препятствием и для многих стран Запада, включая США, Францию, ФРГ, Нидерланды, Республику Корея, Японию, для налаживания профильного диалога с Россией. Проведение регулярных межведомственных консультаций способствует более полному пониманию и сближению позиций сторон, укреплению доверия и урегулированию потенциально опасных ситуаций.

Практическим результатом такого сотрудничества становится снижение числа компьютерных атак на информационные ресурсы взаимодействующих сторон, а также организация совместных усилий в борьбе с киберпреступниками.

Наглядным примером реализации указанных подходов стало Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки о новой области сотрудничества в укреплении доверия от 17 июня 2013 года⁵, которое дало старт взаимодействию профильных российских и американских ведомств. Кроме того, главы государств достигли договорённости о создании двусторонней рабочей группы по вопросам угроз в сфере использования ИКТ и самим ИКТ в контексте международной безопасности для проведения на регулярной основе консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим взаимную озабоченность.

Спустя восемь лет, в июне 2021 года, аналогичный процесс был запущен лидерами России и США в ходе встречи на высшем уровне в Женеве. Регулярный диалог экспертов по вопросам информационной безопасности в формате «Кремль—

⁵ Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки о новой области сотрудничества в укреплении доверия от 17 июня 2013 г. URL: [http:// www.kremlin.ru/supplement/1479](http://www.kremlin.ru/supplement/1479)

Белый дом» позволил активизировать сотрудничество сторон в борьбе с преступным использованием ИКТ.

Таким образом, развитие двустороннего взаимодействия на прагматичной основе уже стало тенденцией в рассматриваемой области.

**Многостороннее взаимодействие
как выражение единства подходов
и готовности к совместным действиям**

Над двусторонним фундаментом располагается следующий уровень системы обеспечения МИБ – уровень многостороннего взаимодействия, скрепляющий узами сотрудничества несколько стран, объединённых общими подходами к противодействию угрозам в информационной сфере.

Примером такого взаимодействия является Шанхайская организация сотрудничества, в рамках которой заложены как политические, так и правовые основы сотрудничества в области обеспечения МИБ.

Первым шагом стало Заявление глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества по международной информационной безопасности от 15 июня 2006 года⁶, в котором лидеры выразили озабоченность появлением реальной опасности использования ИКТ в целях, способных нанести серьёзный ущерб безопасности человека, общества и государства в нарушение основополагающих принципов равноправия и взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, мирного урегулирования конфликтов, неприменения силы, соблюдения прав человека. Также обращалось внимание на то, что угрозы использования ИКТ в преступных, террористических и военно-политических целях, не совместимых с обеспечением международной безопасности, могут реализовываться как в гражданской, так и в военной сфере

и привести к тяжёлым политическим и социально-экономическим последствиям в отдельных странах, регионах и в мире в целом, к дестабилизации общественной жизни государств. В связи с этим главами государств–членов ШОС было достигнуто решение о принятии скоординированных и взаимодополняющих мер для адекватного ответа современным вызовам и угрозам безопасности в информационной сфере.

Ключевым стало решение о создании профильной группы экспертов для выработки плана действий по обеспечению МИБ и определению возможных путей и средств решения в рамках ШОС актуальных проблем в рассматриваемой области. Начиная с 2006 г. данная экспертная группа активно включилась в формирование политико-правовой основы сотрудничества государств Организации в многостороннем формате. Результатом трёхлетней деятельности экспертов стал проект профильного межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного 16 июня 2009 г. в Екатеринбурге.

Соглашение между правительствами государств–членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения МИБ⁷ стало первым в мировой практике многосторонним соглашением в упомянутой области. Подписание Соглашения подтвердило возможность достижения договорённостей о сотрудничестве стран, имеющих значительные различия в национальных законодательствах и используемой терминологии. Данные отличия тем не менее не стали препятствием на пути к подписанию документа, поскольку подходы к обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, а также к формированию системы обеспечения МИБ основывались на принципах, единых для стран-подписантов.

Сотрудничество в ШОС отличают предметный характер и практическая ориенти-

⁶ Заявление глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества по международной информационной безопасности от 15 июня 2006 г. URL: <http://www.infoshos.ru/ru/?id=94>

⁷ Соглашение между правительствами государств–членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 г. URL: <https://base.garant.ru/2571379/>

рованность. Государства ставят целями определение, согласование и осуществление совместных мер в области обеспечения МИБ, создание системы мониторинга и совместного реагирования на возникающие угрозы, обеспечение информационной безопасности критически важных структур, а также противодействие угрозам использования ИКТ в террористических целях и информационной преступности. Соглашением предусматриваются обмен опытом, подготовка специалистов, проведение рабочих встреч, конференций, семинаров и форумов уполномоченных представителей и экспертов в области информационной безопасности.

В целях сближения подходов сторон к унификации профильных национальных законодательств в качестве одного из направлений сотрудничества указан обмен информацией о законодательном регулировании. Взаимодействие по правовым вопросам подразумевает совершенствование международно-правовой базы и практических механизмов сотрудничества в обеспечении МИБ. На данном направлении конкретной задачей стала выработка совместных мер по развитию норм международного права в области ограничения распространения и применения информационного оружия, создающего угрозы обороноспособности, национальной и общественной безопасности. Также большое значение придаётся содействию обеспечению безопасного, стабильного функционирования и интернационализации управления глобальной сетью Интернет.

Координация действий сторон в рассматриваемой области вот уже на протяжении более 12 лет остаётся прерогативой профильной группы экспертов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Результатом её работы стали согласованные действия членов Организации на различных международных площадках, прежде всего в Организации Объединённых Наций, свидетельством чего служит резолюция A/RES/73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», принятая 5 декабря 2018 г. 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН⁸. В данном документе был очерчен свод международных правил, норм и принципов ответственного поведения государств, которые ранее были закреплены в докладах групп правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности от 2013⁹ и 2015¹⁰ годов.

Основу данных правил, норм и принципов составили не только результаты исследований профильных групп правительственных экспертов ООН, но и «Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности», внесённые государствами-членами ШОС 12 сентября 2011 г. и 9 января 2015 г. в качестве официальных документов соответственно 66-й (A/66/359)¹¹ и 69-й (A/69/723)¹² сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Вклад ШОС справедливо подчёркивался в обоих упомянутых докладах. В 2013 г. Группа отметила документ A/66/359, рас-

⁸ Резолюция A/RES/73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Принята Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2018 г. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/73/27>

⁹ Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2013 г. URL: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/68/98>

¹⁰ Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2015 г. URL: <https://undocs.org/ru/A/70/174>

¹¹ Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. URL: <https://undocs.org/ru/A/66/359>

¹² Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности. URL: <http://undocs.org/ru/A/69/723>

пространённый Генеральным секретарем ООН по просьбе постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана и содержащий проект правил поведения в области обеспечения МИБ, к числу авторов которого впоследствии присоединились Казахстан и Кыргызстан¹³. В 2015 г. Группа приняла к сведению Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности, предложенные Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном и Узбекистаном¹⁴.

Общность подходов стран ШОС к обеспечению МИБ и готовность к консолидации усилий по противодействию угрозам в информационной сфере в очередной раз подтвердило заявление Совета глав государств-членов о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 10 ноября 2020 года¹⁵. В документе чётко обозначена нацеленность государств Организации на совершенствование механизма и мер по предотвращению межгосударственных конфликтов и преодоление дефицита доверия между государствами, который может возникать вследствие противоправного использования ИКТ.

Ключевым посылом заявления лидеров стал обращённый к международному сообществу призыв к тесному взаимодействию, в том числе по предотвращению конфликтов, возникающих в результате применения ИКТ, обеспечению их использования в интересах социального и экономического развития и повышения благосостояния народов. Основная цель — формирование общего будущего в информационном пространстве на основе меж-

дународного сотрудничества в области обеспечения информационной безопасности путём активизации усилий на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях.

Политическая воля глав государств-членов ШОС к созданию правовой основы системы обеспечения МИБ выражается в нацеленности на выработку правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, разработку под эгидой ООН универсальных юридически обязывающих инструментов, совершенствование управления Интернетом, обеспечение равных прав государств и повышения роли Международного союза электросвязи в данном контексте.

Достигнутые в рамках ШОС договорённости помогли наладить эффективное взаимодействие в области обеспечения информационной безопасности, позволяя значительно сократить число компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру государств-членов Организации, а также укрепить их национальную безопасность в информационной сфере.

В многостороннем формате развивается сотрудничество государств-участников БРИКС. Создана Рабочая группа экспертов по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ, координирующая действия сторон в указанной области и содействующая расширению сотрудничества в рамках «пятёрки», в том числе посредством рассмотрения соответствующих инициатив и реализации Дорожной карты практического сотрудничества стран БРИКС в обеспечении безопасности в сфере использования ИКТ.

¹³ Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2013 г. URL: <https://www.un.org/disarmament/ru/достижения-в-сфере-информатизации-и-т/>

¹⁴ Доклад Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности 2015 г. URL: <https://www.un.org/disarmament/ru/достижения-в-сфере-информатизации-и-т/>

¹⁵ Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 10 ноября 2020 г. URL: <http://ru.china-embassy.org/rus/zgxw/t1831178.htm>

В Московской декларации XII саммита БРИКС от 17 ноября 2020 г.¹⁶ в контексте формирования системы обеспечения МИБ подчёркивается ведущая роль ООН в развитии диалога по достижению общего понимания безопасности ИКТ и их использования, а также разработка под эгидой Организации общепризнанных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в сфере ИКТ.

Нацеленность лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР на многостороннее сотрудничество выражается в работе по рассмотрению и подготовке предложений о разработке межправительственного соглашения БРИКС о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ и двусторонних соглашений между странами объединения.

Многостороннее взаимодействие, таким образом, позволяет гармонизировать национальные подходы сотрудничающих государств и способствовать укреплению системы обеспечения МИБ.

Региональное сотрудничество во имя достижения общих целей обеспечения МИБ

Третий уровень системы обеспечения МИБ представлен региональными объединениями, к которым относятся, например, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружество Независимых Государств (СНГ), действующие на постсоветском пространстве.

Правовую основу взаимодействия на данном уровне составляют профильные соглашения о сотрудничестве; при этом такое сотрудничество, как правило, является наиболее практико-ориентированным и реализуется по многочисленным направлениям, предполагающим активное взаимодействие сторон.

Например, Соглашение о сотрудничестве государств—членов Организации Договора

о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности от 30 ноября 2017 г.¹⁷ предусматривает развитие региональной системы информационной безопасности на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия. Во главу угла ставится совершенствование механизмов противодействия угрозам в информационной сфере, проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств-членов, взаимная помощь в целях развития технологической основы обеспечения информационной безопасности государств Организации, выявление, предупреждение и нейтрализация угроз информационной безопасности. Приоритетными задачами стали планирование и проведение скоординированных мероприятий по обеспечению информационной безопасности, взаимодействие в вопросах защиты критически важных структур, а также противодействие деструктивному информационному воздействию, противоправной деятельности в информационном пространстве, созданию и распространению вредоносного программного обеспечения, выработка критериев определения информационных ресурсов, используемых в противоправных целях, их выявление и блокировка.

Приоритетное значение придаётся предотвращению использования третьей стороной территории и/или информационной инфраструктуры, находящейся под юрисдикцией государства—члена ОДКБ, для оказания деструктивного информационного воздействия, в том числе компьютерных атак, на другое государство Организации. В связи с этим на передний план выступает определение источника компьютерных атак, проведённых с их территории, проти-

¹⁶ Московская декларация XII саммита БРИКС от 17 ноября 2020 г. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5581>.

¹⁷ Соглашение о сотрудничестве государств—членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности от 30 ноября 2017 г. URL: <http://docs.cntd.ru/document/542645728>

водействие этим атакам и ликвидация их последствий.

Обязательным условием обеспечения скоординированных действий сторон стала подготовка кадров в области обеспечения информационной безопасности, выделенная в самостоятельное направление сотрудничества в рамках объединения.

В связи с тем что члены ОДКБ осознают необходимость встраивания региональной компоненты в формирующуюся глобальную систему, государства нацелены на выработку согласованной позиции в вопросах обеспечения МИБ, а также на участие в продвижении этой позиции на международной арене.

Такой перечень практико-ориентированных направлений сотрудничества позволяет сделать вывод о том, что региональная составляющая многоуровневой системы обеспечения МИБ играет важную роль в её стабильном и устойчивом функционировании. Вместе с тем в интересах дальнейшего развития глобальной системы обеспечения МИБ требуется не только устойчивое функционирование вышеперечисленных уровней взаимодействия, но и развитие интеграционных процессов, позволяющих объединить усилия различных региональных объединений или наладить их сотрудничество с отдельными ведущими государствами (группами государств), являющимися лидерами в сфере информационной безопасности.

Основой для такого взаимодействия, как правило, становятся политические заявления на высшем уровне, а также другие форматы волеизъявления заинтересованных сторон. Например, 14 ноября 2018 г. было принято Заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий¹⁸, давшее старт консолидации усилий заинтересованных сторон.

Заявление подтвердило близость подходов России и стран АСЕАН к формированию системы обеспечения МИБ, отмечая, что сотрудничество и координация усилий государств на двустороннем, региональном и международном уровнях являются императивом для своевременного и эффективного реагирования на угрозы и вызовы, связанные с использованием ИКТ с учётом их трансграничной природы. При этом в тексте документа подчёркивается практический характер сотрудничества России и стран-членов АСЕАН, важность активизации усилий по сокращению цифрового разрыва, значимость мер по наращиванию национальных потенциалов, запуску образовательных программ и тренингов по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. Особое внимание уделяется укреплению практического сотрудничества на таких направлениях, как борьба с использованием ИКТ в террористических целях и для иной преступной деятельности.

Согласие принявших Заявление сторон содействовать укреплению и оптимизации существующих региональных механизмов по безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ, а также поддержка российской инициативы об учреждении профильного диалога Россия–АСЕАН свидетельствуют о нацеленности государств объединения на формирование во взаимодействии с Россией качественно нового регионального уровня системы обеспечения МИБ.

Важным дополнением такого взаимодействия стало развитие двусторонних отношений между Россией и странами АСЕАН, создание необходимой правовой базы сотрудничества в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ. В 2018 г. было подписано профильное российско-вьетнамское межправительственное соглашение о сотрудничестве¹⁹, в 2021 г. — аналогичное соглашение с Индо-

¹⁸ Заявление Российской Федерации и АСЕАН о сотрудничестве в области обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий от 14 ноября 2018 г. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5361>

¹⁹ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 6 сентября 2018 г. URL: <http://docs.cntd.ru/document/554398783>.

незий²⁰. Активно развивается конструктивный диалог в рассматриваемой области с Сингапуром и Малайзией. Нацеленность на двустороннее сотрудничество с Россией подтвердили Таиланд и Камбоджа.

Подобное региональное взаимодействие, а также достижение внутри- и межрегиональных договоренностей, в том числе и в двустороннем формате, позволяют укреплять региональный уровень системы обеспечения МИБ — гаранта стабильности и безопасности в информационной сфере всех заинтересованных сторон.

Развитие нормативных правовых и политических основ сотрудничества на вышперечисленных уровнях не может стать стопроцентным барьером угрозам в информационной сфере. Тем не менее такое сотрудничество и политическое волеизъявление значительно снижает количество новых вызовов и угроз и, самое главное, масштабы их последствий.

Глобальный уровень системы обеспечения МИБ

Вершиной пирамиды системы обеспечения МИБ является глобальный уровень — взаимодействие государств на основе принятых под эгидой ООН международно-правовых актов, регулирующих деятельность в информационном пространстве.

Первым шагом на пути создания политико-правовой основы на данном уровне стало принятие 5 декабря 2018 г. 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН российского проекта резолюции A/RES/73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», впервые закрепив-

шей свод из 13 международных правил, норм и принципов ответственного поведения государств²¹.

Одновременно с этой резолюцией для придания переговорному процессу по безопасности в сфере использования ИКТ более демократического, инклюзивного и транспарентного характера в 2019 г. была создана рабочая группа открытого состава, приоритетной задачей которой стала дальнейшая выработка упомянутых норм, правил и принципов ответственного поведения государств.

Поддержанная большинством государств—членов ООН резолюция дала старт регулярному институциональному диалогу с широким кругом участников под эгидой Организации, ставшему качественно новым форматом экспертного обсуждения ключевых проблем в области обеспечения МИБ всеми заинтересованными сторонами, включая деловые круги, неправительственные организации и научное сообщество.

31 декабря 2020 г. на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России большинством голосов была принята резолюция A/RES/75/240 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности»²², которая предусматривала созыв на период 2021–2025 годов новой рабочей группы открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ. Таким образом, в ООН сохранились непрерывность и преемственность демократического, инклюзивного и транспарентного переговорного процесса по безопасности.

²⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2984-р «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезии о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности». URL: <http://docs.cntd.ru/document/552051443>; Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 14 декабря 2021 г. URL: <http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3151/>.

²¹ Резолюция A/RES/73/27 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». URL: <https://www.un.org/disarmament/ru/достижения-в-сфере-информатизации-и-т/>.

²² Резолюция A/RES/75/240 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 декабря 2020 г. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/75/240>

Новая рабочая группа открытого состава, заработавшая в июне 2021 года, продолжит дальнейшую выработку норм, правил и принципов ответственного поведения государств и путей их имплементации, а также, при необходимости, внесение в них изменений или формулирование дополнительных правил.

Впервые площадка Группы будет использована для рассмотрения инициатив, направленных на обеспечение безопасности в сфере использования ИКТ, что позволит всесторонне обсуждать проблемы в указанной области и искать пути их решения, в том числе возможные совместные меры по предотвращению существующих и потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и противодействию им.

Несмотря на то что доклады Рабочей группы открытого состава, равно как и доклады Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (2010, 2013, 2015 годов), носят рекомендательный характер, изложенные в них положения в перспективе могут стать основой для подготовки под эгидой ООН профильных правовых актов, регулирующих отношения в области обеспечения МИБ.

В числе потенциальных основных регулятивных актов — Конвенция ООН об обеспечении международной информационной безопасности, концепцию которой Россия представила в сентябре 2011 г. на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности²³. Данный документ по замыслу его разработчиков мог стать основой для базового многостороннего договора с участием всех государств—членов ООН, открытым для участия международного сообще-

ства в целом и нацеленным на достижение провозглашённой 8 сентября 2000 г. в Декларации тысячелетия ООН²⁴ необходимости укрепления международного правопорядка, в том числе в информационной сфере.

В 2011 г. была обозначена цель данной конвенции — противодействие использованию ИКТ для нарушения международного мира и безопасности, а также установление мер, способствующих тому, чтобы деятельность государств в информационном пространстве: 1) способствовала общему социальному и экономическому развитию; 2) осуществлялась таким образом, чтобы быть совместимой с задачами поддержания международного мира и безопасности; 3) соответствовала общепризнанным принципам и нормам международного права, включая принципы мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека; 4) была совместимой с правом каждого искать, получать и распространять информацию и идеи, как это зафиксировано в документах ООН, с учётом того, что такое право может быть ограничено законодательством для защиты интересов национальной и общественной безопасности каждого государства, а также для предотвращения неправомерного использования информационных ресурсов; 5) гарантировала свободу технологического обмена и свободу обмена информацией с учётом уважения суверенитета государств и их политических, исторических и культурных особенностей²⁵.

За десятилетний период, прошедший со дня первого представления концепции, изменилась оценка современного состояния информационного пространства, существующих и потенциальных угроз МИБ,

²³ Конвенция ООН об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). URL: <http://www.scrf.gov.ru/security/information/document112/>.

²⁴ Декларация тысячелетия Организации Объединённых Наций. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. URL: [https://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/summitdecl.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml).

²⁵ Конвенция ООН об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). URL: <http://www.scrf.gov.ru/security/information/document112/>

а также возможных мер противодействия этим угрозам. Эти изменения нашли своё отражение в обновлённой редакции упомянутой концепции Конвенции ООН, представленной в июле 2021 г.²⁶

В качестве главной цели документа обозначено содействие формированию системы обеспечения МИБ, позволяющей противодействовать угрозам международному миру, безопасности и стабильности в информационной сфере. Предусматривается, что данная система должна способствовать: а) равноправному стратегическому партнёрству в глобальном информационном пространстве на основе суверенного равенства государств; б) общему социальному и экономическому развитию на основе равноправного и безопасного доступа всех государств к достижениям современных ИКТ; в) реализации общепризнанных принципов и норм международного права, включая принципы мирного урегулирования споров и конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, уважения прав и основных свобод человека; г) реализации права каждого искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи с учётом того, что такое право может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и являющимися необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения; д) свободному технологическому обмену и свободному обмену информацией с учётом уважения суверенитета государств и их существующих политических, правовых, исторических и культурных особенностей²⁷.

Несмотря на актуализацию содержания документа, принципиальные подходы к формированию системы обеспечения МИБ, заложенные в 2011 году, остались неизменными.

При этом российская инициатива о разработке упомянутой Конвенции не нашла поддержки у стран Запада, отдающих предпочтение необязательности исполнения правил и норм ответственного поведения государств. Подобная позиция просматривается и в работах ряда зарубежных учёных. В частности, Дж.С. Най отмечает, что «обязательный международно-правовой договор был бы преждевременным в качестве следующего шага. Нормы ожидаемого поведения могут обеспечить гибкую золотую середину между жёсткими договорами и отсутствием каких-либо действий вообще» [Nye 2017].

Тем не менее есть и другие учёные, с одной стороны, подтверждающие трудности, с которыми в настоящее время Россия сталкивается при продвижении своей инициативы, а с другой — дающие оценку необходимости достижения всеобъемлющих договорённостей.

По мнению Н. Цагориаса, «киберпространство — это область, которая предлагает возможности, но также содержит риски и опасности; это система регулирования, основанная на общих ценностях, принципах и правилах поведения, что необходимо для укрепления сотрудничества <...> в киберпространстве. Для этого может потребоваться всеобъемлющий и согласованный на глобальном уровне договор, устанавливающий правила юрисдикции и поведения. Однако достижение соглашения о всеобъемлющей правовой базе для киберпространства сопряжено с огромными проблемами». Учёный утверждает, что «перспективы такого всеобъемлющего режима не являются благоприятными». При этом делает вывод, что «международное право определяет поведение и интересы государств в киберпространстве и, возможно, рационализирует их...» [Tsagourias 2016].

Российская инициатива о принятии под эгидой ООН Конвенции об обеспечении международной информационной безо-

²⁶ Концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности (2021 г.). URL: <http://www.scrf.gov.ru/security/information/document112/>

²⁷ Там же.

пасности является не единственной на глобальном уровне. Стремительный рост противоправного использования ИКТ актуализировал потребность в борьбе с этой проблемой. Правовой основой для консолидации усилий мирового сообщества под эгидой ООН, по мнению России, может стать всеобъемлющая международная конвенция о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Для разработки данной конвенции согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 декабря 2019 г. A/RES/74/247 «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях»²⁸ в ООН учреждён специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы мира.

При подготовке конвенции планируется в полной мере учесть существующие международные правовые документы и принимаемые на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях, а также итоги работы Межправительственной группы экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности²⁹.

Базовым документом в этой работе может стать инициативный российский про-

ект Конвенции ООН о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности, распространённый в октябре 2017 г. в ООН в качестве документа 72-й сессии Генассамблеи³⁰ (по пункту 107 повестки дня «Предупреждение преступности и уголовное правосудие»).

Данный проект, учитывающий современные реалии и основывающийся на принципах суверенного равенства сторон и невмешательства во внутренние дела других государств, стал результатом многолетней работы экспертов по созданию универсального всеобъемлющего документа, нацеленного на противодействие преступлениям в сфере использования ИКТ.

Несомненным достоинством документа стало использование его разработчиками опыта подобных международно-правовых актов. В их числе Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.³¹, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.³², Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации (ETS № 185) от 23 ноября 2001 г. (так называемая Будапештская конвенция о киберпреступности)³³, а также универсальные антитеррористические конвенции ООН.

Актуализированный проект Конвенции ООН о противодействии использованию

²⁸ Резолюция A/RES/74/247 «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Принята Генеральной Ассамблеей ООН 27 декабря 2019 г. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/74/247>

²⁹ Всестороннее исследование проблемы киберпреступности (проект, февраль 2013 г.). URL: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Russian.pdf

³⁰ Проект Конвенции Организации Объединённых Наций о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности // Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций от 11 октября 2017 г. на имя Генерального секретаря. A/C.3/72/12 от 16 октября 2017 г. URL: <http://www.mid.ru/documents/10180/3024875/Проект+конвенция+по+преступности+с+правками+секр+ООН.pdf/c93e68c9-9994-4769-951d-057c4881b8fd>

³¹ Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml

³² Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime

³³ Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (ETS N 185) (Будапешт, 23 ноября 2001 г.). URL: <http://base.garant.ru/4089723/>

ИКТ в преступных целях³⁴ был внесён Россией в июле 2021 г. в специальный межправительственный комитет. Разработку итогового проекта планируется завершить в 2023–2024 годах в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ещё одним важным шагом к формированию на глобальном уровне системы обеспечения МИБ может стать принятие конвенционального документа ООН в области обеспечения безопасности сети Интернет. За основу такого документа может быть взята представленная в апреле 2017 г. российская концепция конвенции (концепция безопасного функционирования и развития сети Интернет)³⁵.

Ключевыми идеями концепции являются содействие дальнейшему развитию Интернета, повышению его безопасности и обеспечению гарантий прав и свобод пользователей, а также установление режима равноправного международного сотрудничества в управлении сетью, повышение его эффективности и действенности.

Реализация инициативы России даст возможность каждому государству защищать свой национальный сегмент глобальной сети, включая критическую информационную инфраструктуру, а также гарантировать соблюдение прав и свобод пользователей и защиту граждан в Интернете. Кроме того, исключается возможность создавать помехи для функционирования сети Интернет и манипулировать доступом в сеть для влияния на другие суверенные государства.

В своей основе концепция опирается на Тунисскую программу для информационного общества от 15 декабря 2005 г.³⁶ и Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, представляющий собой обзор хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества от 16 декабря 2015 г.³⁷ В российской концепции отражён ключевой лейтмотив данных базовых документов: каждое государство имеет суверенное право самостоятельно решать вопросы государственной политики в Интернете.

Такой подход имеет как сторонников, так и оппонентов, расценивающих инициативу России как попытку контроля глобальной информационной сети, ущемления прав её пользователей. В связи с этим уместно напомнить положения ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.: «Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ. Пользование <...> правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Это может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения»³⁸.

³⁴ Конвенция Организации Объединённых Наций о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях (проект). URL: https://www.kommersant.ru/docs/2021/Rf_28_July_2021_-_R.pdf

³⁵ Минкомсвязь представляет проект новой концепции конвенции ООН. URL: <http://minsvyaz.ru/ru/events/36739/>

³⁶ Тунисская программа для информационного общества. Документ WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev.1)-R от 15 ноября 2005 г. URL: http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/agenda_wsisis.pdf

³⁷ Итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвящённого общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Принят резолюцией A/70/125 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2015 г. URL: <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96090.pdf>

³⁸ Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

* * *

Формирование системы обеспечения МИБ на всех рассмотренных уровнях – сложный и многогранный процесс, в который должны быть вовлечены государства, негосударственные субъекты, научное и экспертное сообщество, деловые круги и простые граждане. Ответственность за безопасность в информационной сфере, защиту от новых вызовов и угроз тем не менее лежит на государствах. От их активности на данном направлении зависит будущее мирового сообщества, социально-политическая стабильность и благополучие населения.

Понимание сложности данных процессов, масштабов возможных последствий деструктивной деятельности в информационном пространстве предопределило содержание российских подходов и инициатив, направленных на содействие формированию системы обеспечения МИБ на всех уровнях – от двустороннего до глобального.

Приведённый перечень инициатив России, нацеленных на построение систе-

мы обеспечения МИБ, не является исчерпывающим и достаточным для решения данной глобальной задачи. На этом пути потребуются преодолеть множество разногласий, сблизить подходы к ключевым проблемам, укрепить взаимопонимание и доверие в рассматриваемой области, наладить на различных уровнях и в различных форматах взаимодействие в интересах обеспечения МИБ и, наконец, достичь договорённостей о сотрудничестве, чтобы консолидировать усилия мирового сообщества в противодействии стремительно нарастающим вызовам и угрозам в информационной сфере.

В контексте поиска стратегических решений перечисленных проблем рассмотренные в статье российские подходы и инициативы могут служить ориентиром для создания необходимых политико-правовых основ формирования системы обеспечения МИБ – гаранта стабильности и равноправного стратегического партнёрства в глобальном информационном пространстве.

Список литературы

- Батуева Е.В. Американская концепция угроз информационной безопасности и её международно-политическая составляющая: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2014. 207 с.
- Васенин В.А. Информационная безопасность и компьютерный терроризм // Научные и методологические проблемы информационной безопасности / Под ред. В.П. Шерстюка. М.: МЦНМО, 2004. С. 67–83.
- Зиновьева Е.С. Международная информационная безопасность: проблемы двустороннего и многостороннего сотрудничества. М.: МГИМО МИД России, 2021. 250 с.
- Зиновьева Е.С. Международное сотрудничество по обеспечению информационной безопасности: субъекты и тенденции эволюции: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2019. 362 с.
- Казарин О.В., Скиба В.Ю., Шаряпов Р.А. Новые разновидности угроз международной информационной безопасности // История и архивы. 2016. № 1. С. 54–72.
- Капустин А.Я. К вопросу о международно-правовой концепции угроз международной информационной безопасности // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 6. С. 44–51.
- Капустин А.Я. Угрозы международной информационной безопасности: формирование концептуальных подходов // Журнал российского права. 2015. № 8. С. 89–100.
- Красиков Д.В. Международно-правовая ответственность государств в киберпространстве // Государство и право в новой информационной реальности: Сб. науч. трудов ИНИОН РАН / Отв. ред. Е.В. Алфёрова, Д.А. Ловцов. М., 2018. С. 235–247.
- Красиков Д.В. Территориальный суверенитет и делимитация юрисдикций в киберпространстве // Государство и право в новой информационной реальности / Отв. ред. Е.В. Алфёрова, Д.А. Ловцов. М., 2018. С. 99–111.
- Крутских А.В., Бирюков А.В. Новая геополитика международных научно-технологических отношений // Международные процессы. 2017. Т. 15. № 2 (49). С. 6–26.
- Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной информационной безопасности // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 1 (13). С. 28–37.

- Международная информационная безопасность: Теория и практика: В 3 т. Т. 1 / Под общ. ред. А.В. Крутских. 2-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 2021. 384 с.
- Международная информационная безопасность: Теория и практика: В 3 т. Т. 2: Сб. документов (на русском языке) / Под общ. ред. А.В. Крутских. М.: Аспект Пресс, 2021. 784 с.
- Себекин С.А. Будущее международной системы информационной безопасности в условиях кризиса архитектуры стратегической стабильности. РСМД, 16 ноября 2020 г. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/budushchee-mezhdunarodnoy-sistemy-informatsionnoy-bezopasnosti-v-usloviyakh-krizisa-arkhitektury-str/> (дата обращения: 01.01.2022).
- Смирнов А.И., Стрельцов А.А. Российско-американское сотрудничество в области международной информационной безопасности: предложения по приоритетным направлениям // Международная жизнь. 2017. № 11. С. 72–81.
- Ambos K. International Criminal Responsibility in Cyberspace // Research Handbook on International Law and Cyberspace / ed. by N. Tsagourias, R. Buchan. Edward Elgar, 2015. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (accessed: 01.01.2022).
- Antonopoulos C. State Responsibility in Cyberspace // Research Handbook on International Law and Cyberspace / ed. by N. Tsagourias, R. Buchan. Edward Elgar, 2015. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (accessed: 01.01.2022).
- Buchan R. Cyber Espionage and International Law. Oxford, 2018. 248 p.
- Henderson C. The United Nations and the Regulation of Cybersecurity // Research Handbook on International Law and Cyberspace / ed. by N. Tsagourias, R. Buchan. Edward Elgar, 2015. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (дата обращения: 01.01.2022).
- Jensen E.T., Watts S. A Cyber Duty of Due Diligence: Gentle Civilizer or Crude Destabilizer? // Texas Law Review. URL: https://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2017/11/Jensen.Watts_.pdf (accessed: 01.01.2022).
- Jian H., Bapna S. The Economic Impact of Cyber Terrorism // The Journal of Strategic Information Systems. 2013. No. 2. P. 175–186.
- Kastner P., Megret F. International Legal Dimensions of Cybercrime // Research Handbook on International Law and Cyberspace / ed. by N. Tsagourias, R. Buchan. Edward Elgar, 2015. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (дата обращения: 01.01.2022).
- Kerschischnig G. Cyberthreats and International Law. Eleven International Publishing, 2012. 386 p.
- Lewis J.A., Stewart B. The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage. Report. Center for Strategic and International Studies, 2013. URL: <https://apo.org.au/node/35084> (accessed: 01.01.2022).
- Nye J. Eight Norms for Stability in Cyberspace. URL: <https://aftershock.news/?q=node/812028> &full (accessed: 01.01.2022).
- Nye J. How Will New Cybersecurity Norms Develop? Project Syndicate, 2018. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/origin-of-new-cybersecurity-norms-by-joseph-s--nye-2018-03?barrier=accesspaylog> (accessed: 01.01.2022).
- Nye J. Rules of the Cyber Road for America and Russia. Project Syndicate, 2019. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/cyber-rules-for-america-and-russia-by-joseph-s--nye-2019-03?barrier=accesspaylog> (accessed: 01.01.2022).
- Saul B., Heath K. Cyber Terrorism. Sydney Law School Legal Studies Research Paper No. 14/11. January 2014. URL: <https://ssrn.com/abstract=2387206> (accessed: 01.01.2022).
- Tsagourias N. The Legal Status of Cyberspace. // Research Handbook on International Law and Cyberspace / ed. by N. Tsagourias, R. Buchan. St. Louis: Edward Elgar publ., 2016. P. 13–29.
- Weimann G. Terrorism in Cyberspace: The Next Generation. New York, 2015. 344 p.

POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY SYSTEM

RUSSIAN APPROACHES AND INITIATIVES

SERGEY BOYKO

Security Council of the Russian Federation, Moscow, 103132, Russia

Abstract

The article covers the policy of the Russian Federation in the field of international information security. The purpose of the study is to identify the key directions for strengthening international cooperation in the area of information security. The article examines the state of bilateral cooperation on international information security issues in particular on the example of the Agreement between the Russian Federation and the People's Republic of China on cooperation in the field of international information security. The article analyzes Russian initiatives put forward in regional and multilateral organizations. Thus, special attention is paid to cooperation within BRICS, the SCO, the CSTO and ASEAN. Regional and inter-regional interaction in this area increases stability and security of the respective regions, taking into account the national interests of the parties involved. The article also studies the Russian projects promoted at the global level, namely, the UN General Assembly resolutions adopted by the initiative of the Russian Federation. Russia and its partners contributed to the adoption of a set of 13 international rules, principles and norms of responsible behavior of states in the information space. Convocation of an Open-Ended Working Group, whose mandate has been extended until 2025, has become an important contribution of Russia to institutionalization of the profile discussion mechanism within the UN. The author concludes that Russian projects and cooperation agreements reached can foster the development of political and legal framework of the international information security system. The focus on promoting the formation of such a system is confirmed by the updated Basic principles of the State Policy of the Russian Federation in the field of international information security. However, these initiatives are not exhaustive. Therefore, the formation of such a system requires the efforts of the entire world community.

Keywords:

international information security; foreign policy of the Russian Federation; state policy of the Russian Federation; international cooperation.

References

- Ambos K. (2015). International Criminal Responsibility in Cyberspace. In: Tsagourias N., Buchan R. (eds). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. St. Louis: Edward Elgar. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (accessed: 01.01.2022).
- Antonopoulos C. (2015). State Responsibility in Cyberspace. In: Tsagourias N., Buchan R. (eds). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. St. Louis: Edward Elgar. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (accessed: 01.01.2022).
- Batueva E.V. (2014). *Amerikanskaya kontseptsiya ugroz informatsionnoj bezopasnosti i ee mezhdunarodno-politicheskaya sostavlyayushchaya. Dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata politicheskikh*

- nauk* [American Concept of Threats to Information Security and Its International Political Dimension. PhD in Political Science Thesis]. Moscow. 207 p.
- Buchan R. (2018). *Cyber Espionage and International Law*. Oxford. 248 p.
- Henderson C. (2015) The United Nations and the Regulation of Cybersecurity. In: Tsagourias N., Buchan R. (eds). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. St. Louis: Edward Elgar. URL: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-international-law-and-cyberspace-9781782547389.html> (accessed: 01.01.2022).
- Jensen E.T., Watts S. (2017). A Cyber Duty of Due Diligence: Gentle Civilizer or Crude Destabilizer? *Texas Law Review*. URL: https://texaslawreview.org/wp-content/uploads/2017/11/Jensen.Watts_.pdf (accessed: 01.01.2022).
- Jian H., Bapna S. (2013). The Economic Impact of Cyber Terrorism. *The Journal of Strategic Information Systems*. Vol. 22. No. 2. P. 175–186.
- Nye J. (2019). *Eight Norms for Stability in Cyberspace*. URL: <https://aftershock.news/?q=node/812028&full> (accessed: 01.01.2022).
- Nye J. (2018). *How Will New Cybersecurity Norms Develop?* Project Syndicate. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/origin-of-new-cybersecurity-norms-by-joseph-s--nye-2018-03?barrier=accesspaylog> (accessed: 01.01.2022).
- Nye J. (2019). *Rules of the Cyber Road for America and Russia*. Project Syndicate. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/cyber-rules-for-america-and-russia-by-joseph-s--nye-2019-03?barrier=accesspaylog> (accessed: 01.01.2022).
- Kapustin A.Y. (2015). Ugrozy mezhdunarodnoj informatsionnoj bezopasnosti: formirovanie kontseptual'nykh podkhodov [Threats to International Information Security: Formation of Conceptual Approaches]. *Zhurnal Rossijskogo prava*. No. 8. P. 89–100.
- Kapustin A.Y. (2017). K voprosu o mezhdunarodno-pravovoj kontseptsii ugroz mezhdunarodnoj informatsionnoj bezopasnosti [With Regard to the International Legal Concept of Threats to International Information Security]. *Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya*. No. 6. P. 44–51.
- Kastner P., Megret F. (2015). International legal dimensions of cybercrime. In: Tsagourias N., Buchan R. (eds). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. St. Louis: Edward Elgar. URL: www.elgaronline.com/view/edcoll/9781782547389/9781782547389.00019.xml?rskey=oZCRWu&result=3 (accessed: 01.01.2022).
- Kazarin O.V., Skiba V.Y., Sharyapov R.A. (2016). Novye raznovidnosti ugroz mezhdunarodnoj informatsionnoj bezopasnosti [New Kinds of Threats to International Information Security]. *Istoriya i arkhivy*. No. 1. P. 54–72.
- Kerschischnig G. (2012). *Cyberthreats and International Law*. 344 p.
- Krasikov D.V. (2018). Mezhdunarodno-pravovaya otvetstvennost' gosudarstv v kiberprostranstve [International Legal Responsibility of States in Cyberspace]. In: Alferova E.V., Lovtsov D.A. (eds). *Gosudarstvo i parvo v novoj informatsionnoj real'nosti: Sbornik nauchnykh trudov*. Moscow: INION. P. 235–247.
- Krasikov D.V. (2018). Territorial'nyi suverenitet i delimitatsiya yurisdiksij v kiberprostranstve [Territorial Sovereignty and Delimitation of Jurisdictions in Cyberspace]. In: Alferova E.V., Lovtsov D.A. (eds). *Gosudarstvo i parvo v novoj informatsionnoj real'nosti: Sbornik nauchnykh trudov*. Moscow: INION. P. 99–111.
- Krutsikh A.V. (2007). K politiko-pravovym osnovaniyam global'noj informatsionnoj bezopasnosti [Towards the Political and Legal Foundations of Global Information Security]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 5. No. 1 (13). P. 28–37.
- Krutsikh A.V. (ed.) (2021a). *Mezhdunarodnaya informatsionnaya bezopasnost': Teoriya i praktika: V trekh tomakh. Tom 1* [International Information Security: Theory and Practice: In three volumes. Volume 1]. 2nd ed. Moscow: Aspekt Press. 384 p.
- Krutsikh A.V. (ed.) (2021b). *Mezhdunarodnaya informatsionnaya bezopasnost': Teoriya i praktika: V trekh tomakh. Tom 2: Sbornik dokumentov* [International Information Security: Theory and Practice: In three volumes. Volume 2: Collection of documents]. Moscow: Aspekt Press. 784 p.
- Krutsikh A.V., Biryukov A.V. (2017). Novaya geopolitika mezhdunarodnykh nauchno-tehnologicheskikh otноshenij [New Geopolitics of International Scientific and Technological Relations]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 15. No. 2 (49). P. 6–26.
- Lewis J.A., Stewart B. (2013). *The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage. Report*. Center for Strategic and International Studies. URL: <https://apo.org.au/node/35084> (accessed: 01.01.2022).
- Saul B., Heath K. (2014). *Cyber Terrorism*. Sydney Law School Legal Studies Research Paper. No. 14/11. URL: <https://ssrn.com/abstract=2387206> (accessed: 01.01.2022).
- Sebekin S.A. (2020). *Budushchee mezhdunarodnoj sistemy informatsionnoj bezopasnosti v usloviyakh krizisa arkhitektury strategicheskoy stabil'nosti* [The Future of International Information Security

- System in Crisis of Strategic Stability Architecture]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/budushchee-mezhdunarodnoy-sistemy-informatsionnoy-bezopasnosti-v-usloviyakh-krizisa-arkhitektury-str/> (accessed: 01.01.2022).
- Smirnov A.I., Strel'tsov A.A. (2017). Rossijsko-amerikanskoe sotrudnichestvo v oblasti mezhdunarodnoj informatsionnoj bezopasnosti: predlozheniya po prioritetnym napravleniyam [Russian-American Cooperation in the Field of International Information Security: Proposals in Priority Areas]. *Mezhdunarodnaya zhizn'*. No. 11. P. 72–81.
- Tsagourias N. (2016). The legal status of cyberspace. In: Tsagourias N., Buchan R. (eds). *Research Handbook on International Law and Cyberspace*. St. Louis: Edward Elgar Publ. P. 13–29.
- Vasenin V.A. (2004). Informatsionnaya bezopasnost' i komp'yuternyj terrorizm [Information Security and Computer Terrorism]. In: Sherstyuk V.P. (ed.) *Nauchnye i metodologicheskie problemy informatsionnoj bezopasnosti*. Moscow: MTsNMO. P. 67–83.
- Weimann G. (2015). *Terrorism in Cyberspace: The next Generation*. New York. 344 p.
- Zinovieva E.S. (2021). *Mezhdunarodnaya informatsionnaya bezopasnost': problemy dvustoronnego i mnogostoronnego sotrudnichestva* [International Information Security: Issues of Bilateral and Multilateral Cooperation]. Moscow: MGIMO University. 250 p.
- Zinovieva E.S. (2019). *Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo po obespecheniyu informatsionnoj bezopasnosti: sub"ekty i tendentsii evolyutsii*. Dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni doktora politicheskikh nauk. [International Cooperation in the Field of Information Security: Actors and Trends of Evolution. Doctor of Political Sciences Thesis]. Moscow. 362 p.

КОГНИТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

КИРИЛЛ КОКТЫШ

АННА РЕНАРД–КОКТЫШ

МГИМО МИД России, Москва, Россия

Резюме

Статья посвящена анализу алгокогнитивной культуры – сетевой реальности, в которую вошло человечество, но которая остаётся осознанной далеко не в полной мере. К началу 2020-х годов исчезло понятие приватности; все перемещения человека, его круг общения, его переписка и покупки автоматически фиксируются и полностью прозрачны для информационных корпораций. Практически непреодолима проблема фейковых новостей: попадание такой новости в информационный каскад становится событием до каких бы то ни было расследований и опровержений. Возникла «культура отмены», в рамках которой априори отсутствуют критерии добра и зла, и из информационного оборота можно вычеркнуть любые массивы знаний, не отвечающих требованиям самопровозглашённой новой этики. Сложившееся положение дел авторы сравнивают с эпохой доминирования софистов в Древней Греции, когда истина определялась в зависимости от конъюнктуры, и находят актуальные аналогии. В этом контексте авторы формулируют понятие «когнитивная уязвимость»: в новой реальности появилась возможность управлять массами людей, задавая не только их покупательское, но и политическое поведение. Авторы определяют сетевую реальность как систему, альтернативную социализации, где задаваемые последней мировоззренческие и ценностные системы координат конкурентоспособнее реальных, а значит, и де-факто вытесняют их. Описанная ситуация формируется за счёт своеобразного расщепления личности, когда эмоциональная реакция де-факто отделяется от рациональной деятельности, ориентированной на реальные цели, и замыкается на виртуальную действительность. На достижение этой цели нацелены алгоритмы, регулирующие выдачи постов в социальных сетях. В обосновании этого тезиса авторы опираются на опыт Фейсбука: используемый этим сервисом алгоритм MSI культивирует споры и расколы между его пользователями по любому поводу. Таким образом, американские информационные корпорации движутся к тому, чтобы обладать суверенитетом над сознанием внешних для США обществ. На этот вызов уже ответил Китай, который с 1 сентября 2021 г. национализировал алгоритмы и передал их под контроль Компартии. Авторы анализируют предпринятые КНР шаги и приходят к заключению, что в случае успеха Пекин преобразуется не только в экономический, но и идеологический полюс, альтернативный Соединённым Штатам, делающий заявку на восстановление биполярной мирополитической системы.

Ключевые слова:

алгокогнитивная культура; когнитивная безопасность; социальные сети; культура отмены; пост-правда; цветные революции.

С белорусскими событиями 2020 г. постсоветское пространство внезапно приоткрыло дверь в новую реальность, которая до сих пор была чем-то внешним и далё-

ким, тем, что может случаться в политических системах либо неустойчивых, как это имело место в ходе «арабской весны», либо с существенными внутренними расколами,

Дата поступления рукописи в редакцию: 22.10.2021

Дата принятия к публикации: 26.12.2021

Для связи с автором / Corresponding author:

Email: kirill.koktysh@gmail.com

как в Венесуэле и Гонконге. Вне исследовательского внимания, как правило, оказывался постоянно нараставший уровень цифровизации попыток «цветных революций»: он фиксировался, но рассматривался как дополнительный фактор, не исполнявший несущей функции. Между тем протесты в Гонконге и в Белоруссии показали, что количество уже перешло в новое, вполне самостоятельное качество, а цифровизация стала новым фактором уязвимости и вполне устойчивых политсистем.

Действительно, новая реальность вызрела исподволь и незаметно, не спеша демонстрировать свою мощь. Увиденное не обрадовало. Выяснилось, что цифровизация едва ли не в первую очередь стала оцифровкой социальных технологий, а те прибавили в свой арсенал точность и адресность воздействия, в значительной мере избавившись от гуманной составляющей. В новой реальности можно управлять умами, настроениями и идеями статистически значимой части общества, причём в прямом смысле слова, когда команды, подаваемые в пошаговом режиме в смартфоны, в реальном времени исполняются толпой. Такое управление не утрачивает своей эффективности и в том случае, если оно осуществляется извне, будучи вынесенным за границы физической досягаемости власти. Наконец, и «цифровая масса» — совокупность индивидов, управляемых своими смартфонами, — способна демонстрировать невозможное прежде сочетание качеств стабильного и короткоживущего социальных образований, на протяжении месяцев сохраняя расщеплённость на иррациональную эмоциональность толпы и циничную рассудочность внешнего лидерского центра [Коктыш 2021: 91–110].

У приоткрывшегося будущего два измерения.

Первое, техническое, — это глобальность сетей и устойчиво нарастающая роль смартфона, породившего феномен алгоритмической культуры, когда алгоритмы, облегчая повседневность, тем самым устойчиво берут её под свой мягкий контроль и начинают определять всё большее

количество действий и поступков. При этом адресная коммуникация сохраняется, даже если индивиды объединены в толпу, что и позволяет поддерживать в ней эмоциональную заряженность как ключевое условие пребывания в расщеплённом состоянии, когда функция рациональной рефлексии делегирована внешнему центру. Усилия белорусской власти противостоять такому внешнему воздействию осенью 2020 г. имели ограниченную эффективность: замедление скорости мобильного интернета и даже его полная блокировка на некоторое время затруднили координацию протестов, но не пресекли её. Для восстановления монополии власти над формированием повестки дня этого оказалось недостаточно, и «брожение умов» продолжалось несколько месяцев.

Есть и содержательное измерение, когда большая масса индивидов может поддаваться внешнему воздействию, де-факто принимая навязываемую извне систему мировоззренческих и ценностных координат без сколь-нибудь существенных попыток их критической ревизии: назовём это феноменом когнитивной уязвимости. Например, в Белоруссии свою роль сыграли и канал координации протестов — мессенджер Телеграм, структурированный под императивную коммуникацию сверху вниз с минимумом возможных обсуждений, и выбранный организаторами жанр протестов, превративший их в инструмент одного удара. Он запрограммировал одновременно и взрывной рост численности протестующих на первом этапе, и неизбежную утрату протестами содержательной перспективы впоследствии. Таким жанром стало активное использование элементов гейминга и квеста: значимая часть протестующих обнаружила себя внутри увлекательной игры с её карнавальностью, «невсамделишностью», ощущением всеисилия и безнаказанности и одновременно — утерей смысла. В результате после пары недель стало очевидным, что содержательная эволюция протестов — задача неразрешимая. В дальнейшем протесты развивались в режиме постепенно затухающей бес-

смысленной «игры ради игры». Белорусская власть почувствовала этот момент и, проявив выдержку, дала эмоциям остыть, после чего постепенно восстановила контроль. Выявленные ограничения не отменяют главный вопрос об открывшейся возможности когнитивного воздействия на отдельно взятое общество извне, в том числе путём формирования в нужной точке времени и пространства цифровой толпы.

Стала ли когнитивная уязвимость имманентной характеристикой сегодняшних обществ, и будет ли она нарастать? Насколько алгоритмы программируют наше восприятие реальности, напрямую с ними не связанной — в первую очередь, политической и культурной? Приступая к рассмотрению этих вопросов, остановимся на методологических аспектах нашего исследования.

Логично первым поставить вопрос относительно обоснованности термина «алгокогнитивная культура», уже получившего распространение в англоязычном дискурсе [Lavelock 2019], но для нас звучащего как минимум непривычно. Иными словами, можем ли мы говорить о системном влиянии сетевой реальности на формирование картины мира и ценностей статистически значимой части любого современного общества? Авторы полагают, что ответ должен быть положительным. Успешный опыт практического моделирования когнитивной системы американской администрации Б. Обамы [Сергеев и др. 2011] убедительно показал, что ключевую роль в формировании когнитивной системы индивида играет его социальное окружение, в первую очередь социальная сеть: именно она становится тем референтным источником, с которым индивид соотносит свои представления о мире, ценностях и целях. Объединение наработок ряда западных основоположников когнитивистики, в частности Н. Лейтеса, Р. Абельсона, Р. Аксельрода, К. Джонсона, Г. Бонэма и М. Шапира [Leites 1951; Абельсон 1987; Axelrod 1976; Jonsson 1982; Bonham, Shapiro 1977], с теорией метафоры Дж. Лакоффа [Лакофф 2004] и применение их к анализу сетевого

субъекта позволили выстроить релевантную модель, обеспечившую хороший аналитический и прогностичный результат. Важным итогом упомянутого выше исследования стало обнаружение интеграторов — совпадающих смыслов и интерпретаций, делающих сеть сетью.

«Объективация» сети, то есть её эмансипация от индивида, превращение во внешнюю по отношению к нему, хоть и виртуальную, сущность, эту данность многократно усиливает. Медиатором в коммуникации индивида и сети становятся алгоритмы, которые, упрощая коммуникацию и делая её комфортнее, одновременно структурируют её, тем самым внося вклад в формирование картины мира, ценностей и целей индивида. Алгоритмы не возникают сами по себе, их создают социальные сети, которые, будучи коммерческим проектом, ориентированы в первую очередь на собственную успешность — что предопределяет набор заложенных в алгоритмы интеграторов. Базовым когнитивным интегратором публично декларируется идея свободы: пользователь сетей в самом деле обретает свободу мгновенной коммуникации с кем угодно вне зависимости от расстояний, времени суток, погоды и массы иных материальных факторов. С другой стороны, для самих социальных сетей эта свобода имеет высочайшую коммерческую эффективность: медиация стала весьма прибыльным бизнесом при бесплатности самих социальных сетей. Это обстоятельство служит эмпирическим основанием предварительного вывода о том, что алгокогнитивная культура стала реализовавшейся сущностью, с наличием которой приходится считаться.

Вызовы алгокогнитивной культуры

Приоритет доходности медиатора объясняет тот факт, что бурная экспансия алгоритмов в социальную сферу сопровождалась постепенным, но неуклонным превращением сетевой реальности в деградирующий акерлофовский рынок: от «живого журнала» к Фейсбуку, Твиттеру и Тик-Току — с каждой итерацией базовый мес-

седж становится всё более маркетизируемым, а значит, массовым и в силу этого — всё более коротким и менее содержательным. Медаль имеет две стороны: рынок — это дорога с двусторонним движением, провести грань между потаканием вкусам и запросам аудитории и культивированием этих вкусов и запросов практически невозможно. Исследование Кембриджского и Нью-Йоркского университетов убедительно подтвердило, что сети подогревают раскол и усиливают поляризацию общества [Rathje, Bavel, Linden 2021]. В частности, анализ 2,7 млн твитов и сообщений в Фейсбуке показал, что прямые нападки на оппонента из-за его политических взглядов имеют принципиально больше шансов на репост, нежели простое выражение эмоций или морального негодования. С. Карелов в этой связи отмечает, что в новой сетевой реальности, кратно увеличившей своё присутствие в повседневности в связи с пандемией COVID-19, социальный статус обеспечивают не деньги и власть, а количество лайков и подписчиков¹. Завоеванию симпатий последних способствует не взвешенная и сдержанная, а радикальная позиция, вследствие чего обсуждение любой проблемы формирует непримиримые полюсы оппонентов. Понятной иллюстрацией этого процесса может служить описанный Дж. Свифтом раскол по поводу того, с какой стороны разбивать яйцо: в результате возникли радикальные партии «остроконечников» и «тупоконечников», но не сформировалось третьей, умеренной партии, которая, скажем, предлагала бы разбивать яйцо посередине — при том что с точки зрения кулинарной, то есть с позиций реальности, а не отвлечённых дискуссий, третий способ самый востребованный.

Положение тем серьёзнее, что сети решили проблему связи виртуального измере-

ния с реальностью, найдя способ конвертации виртуального капитала в реальный: количество подписчиков легко конвертируется в деньги, во влияние и во власть, этот принцип работает, идёт ли речь о блогере, молодёжном кумире или о политике. Из статуса медиатора те перешли в статус модератора, в силу чего логично предположить возникновение параллельной реальности виртуальной экосистемы, которая может оказывать на последнюю как минимум не меньшее воздействие, нежели реальная жизнь — чему примером может служить недавно запрещённая в России корпорация Meta (бывший Facebook). Если в реальности для обретения социального статуса требуются усилия, знания и умения, то в виртуальной экосистеме нужна исключительно способность регулярно «порождать хайп». Следовательно, виртуальная экосистема обязательно воспринимается её обитателями как идеальный инструмент для того, чтобы, «хакнув» реальность, самым коротким путём и в нарушение стандартных правил повысить свой статус. Виртуальность происходящего, по сути, его игровизация, легко обнуляет свойственный реальности кантовский моральный императив.

Обнаружив этот эффект соцсетей, сетевые корпорации немедленно открыли в нём эффективный инструмент маркетинга и кардинально усилили его. Об этом, в частности, свидетельствует расследование, опубликованное американской газетой *The Wall Street Journal*. Полученные журналистами внутренние документы компании Фейсбук свидетельствовали, что её менеджменту было известно, что приобретённая в 2012 г. платформа Instagram порождает комплекс неполноценности у каждой третьей девочки-подростка², но на дальнейшем формировании контента это обстоятельство не сказалось. Рыночные

¹ Карелов С. О больших переменах в обществах, государствах и личностях. И почему мы должны быть готовы к ещё большим переменам. URL: https://zen.yandex.ru/media/the_world_is_not_easy/obolshih-peremeh-v-obschestvah-gosudarstvakh-i-lichnostyah-60d8bde0c9d05740d85f35e0

² The Wall Street Journal. The Facebook files. Facebook Knows Instagram Is Toxic for Teen Girls, Company Documents Show. URL: https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739?mod=trending_now_news_1

резоны тут очевидны: отягощённая любого рода комплексами аудитория испытывает потребность от них избавиться, а значит, куда более благодарна с точки зрения маркетинговой проработки, нежели не отягощённая, а в Инстаграме только американские подростки проводят на 50% больше времени, чем в Фейсбуке, и посещают его в четыре с половиной раза чаще. В алгоритмы Фейсбука в декабре 2017 г. был внесён ряд изменений, в первую очередь в алгоритм выдачи наиболее посещаемого его продукта — новостной ленты. В основу был положен концепт MSI (meaningful social interactions), в соответствии с которым лайк стал оцениваться в 1 балл, реакция гнева (dislike) — в 5 баллов, а репост — в 15 или 30 баллов, в зависимости от наличия или отсутствия добавленного при репосте значимого комментария³.

Предсказуемым результатом описанной перемены стал рост конфликтности, а вместе с ней — посещаемости и маркетинга: чем шире расходится пост, тем больше людей вовлекается в спор, который превращается в бурно растущую виртуальную воронку: аргументация в пользу той либо иной позиции выливается в длинные комментарии и отличные от лайка кнопки реакций, а значит, и рост выдачи поста в новостной ленте всё новым и новым людям. Фейковые новости, подстрекательские посты и прямые атаки на конкурентов стали более эффективным инструментом продвижения интересов любого субъекта, включая и политические партии, нежели положительные и политические посты⁴. В контексте примата маркетинга неудивительно, что соцсеть Фейсбук с ведома его администрации самым широким образом использовала теневые и криминальные структуры для заведомо преступного биз-

неса в третьих странах, от торговли людьми до наркоторговли⁵.

Что примечательно: социальные сети выявили — или создали — ещё один феномен виртуальности — возможность расщепления эмоционального от рационального. На этом этапе модератор обнаружил у себя способности творца альтернативной реальности. Дело в том, что в сетевом измерении эмоции в полной мере сохраняют свою силу и значимость, невзирая на тот факт, что их переживание привязано к фиктивной реальности с альтернативной логикой раздражителей, стимулов и поощрений, то есть с альтернативными ценностной и мировоззренческой системами координат. Эта альтернатива оказывается привлекательнее и конкурентоспособнее действительности, поскольку сетевая реальность, *во-первых*, может обеспечить минимальный уровень фрустрации и страдания (если вслед за ницшеанской трактовкой Упанишад мы будем понимать под последним временной промежуток между появлением желания и его удовлетворением), а *во-вторых*, программно допустимую возможность позитивного результата и связанного с ним эмоционального вознаграждения в десяти случаях из десяти, чего в реальной жизни не происходит. Иными словами, в альтернативной экосистеме любой участник получает гарантированно более наполненную и яркую эмоциональную жизнь, нежели в настоящем мире; это значит, что более конкурентными и убедительными будут становиться и поддерживаемые виртуальностью ценности, и мировоззренческая система координат. Эта расщеплённость, или параллельное существование в двух измерениях, неизбежно ведёт к их сравнению и к нарастанию фрустрации, а следовательно, к появлению потребности от неё

³ The Wall Street Journal. The Facebook files. Facebook Tried to Make Its Platform a Healthier Place. It Got Angrier Instead. URL: https://www.wsj.com/articles/facebook-algorithm-change-zuckerberg-11631654215?mod=series_facebookfiles

⁴ Ibid.

⁵ The Wall Street Journal. The Facebook files. Facebook Employees Flag Drug Cartels and Human Traffickers. The Company's Response Is Weak, Documents Show. URL: https://www.wsj.com/articles/facebook-drug-cartels-human-traffickers-response-is-weak-documents-11631812953?mod=series_facebookfiles

избавиться, что, в общем-то, несложно: алгоритмы, создавая комплексы и потребности, тут же предлагают лёгкий способ их снятия на основе новой итерации того же когнитивного интегратора освобождения — либо копированием приносящих успех в сети действий, либо приобретением тех символов, которые являются атрибутами сетевого статуса, либо и тем и другим вместе. Разумеется, эти практики, а вместе с ними и установки будут автоматически переноситься и в настоящую реальность. Таким образом, мы можем констатировать появление альтернативной системы социализации, более мощной, нежели традиционная, и подконтрольной алгоритмам, то есть сетевым корпорациям, но не государствам.

Действие алгоритмов можно сравнить с эффектом наркотиков, освобождающих эмоциональное удовлетворение от связи с рациональной деятельностью, превращая его в самооценный и самодостаточный акт, достижению которого постепенно начинает подчиняться вся жизнь наркозависимого. В этом контексте эксцессы в виде стрельбы в учебных заведениях, ранее свойственные исключительно США как лидеру цифровизации, но теперь выплывшие за их пределы, логично объяснить как месть реальности за то, что её система статусного распределения разительно не соответствует виртуальной, и обрётённые в виртуальности заслуги не конвертируются в статус реальный. Едва ли не большей проблемой становится ситуация, когда они конвертируются и на роль кумиров молодёжи серьёзные корпорации продвигают такие фигуры, как Дания Милохин или Моргенштерн. С точки зрения бизнеса это логично: превращение в кумира человека без образования и прочих достоинств стимулирует желание повторить их успех, для чего, по идее, достаточно взять потребительский кредит для стартовой раскрутки. С точки зрения ущерба для

социального капитала урон от появления такого рода кумиров трудно посчитать.

Как мы видим, стимулируемое алгоритмами обретение свободы от порождённых ими же комплексов через потребление качественно меняет понятие рационального и разумного. М. Хоркхаймер в этой связи указывал, что рационализм возможен исключительно как оценка альтернатив достижения цели: «по своей сущности он связан с вопросом о целях и средствах, об адекватности операций для достижения целей, причём последние принимаются как само собой разумеющиеся и сами за себя говорящие. Вопросу же о разумности целей как таковых он не придаёт большого значения» [Хоркхаймер 2011: 8–9]. Имплицитная целеустановка на потребление логичным образом ведёт к качественной переоценке культуры, выполняющей функцию ценностной системы координат, в соответствии с которой ранжирован внешний для индивида мир. Как мы уже отмечали, осуществляемая алгоритмами подмена акта постижения актом обладания в новом, виртуальном (а потому иллюзорном вдвойне) измерении ведёт к следующей итерации упрощения ценностного восприятия реальности, упрощая и уплощая её, нивелируя даже символы до более простых и доступных. Прямым следствием этого процесса становится не только массовое понижение человеческого качества⁶, но и атомизация обществ: потребление индивидуально, а значит, каждый решает эту задачу самостоятельно. В этом контексте уместно вновь процитировать Хоркхаймера: «интеллектуальный империализм абстрактного принципа эгоизма, составляющего ядро официальной либералистской идеологии, указывал на усиливающийся раскол между этой идеологией и социальными условиями внутри индустриальных государств. А после того, как этот раскол внедрился в обыденное сознание, не остаётся никакого рационального принципа,

⁶ Под понижением человеческого качества следует понимать деградацию когнитивных способностей и размывание системы этических координат, деградацию культуры, поскольку последняя существует только в сознании их носителей.

сплывающего общество... Место истины теперь занимает вероятность или, точнее, возможность расчёта. Сама же истина постепенно превращается в пустую фразу» [Хоркхаймер 2011: 26–27, 54].

Надо признать, что алгоритмы качественно углубили эту проблему: речь идёт уже не об атомизации, а о расщеплении атомов, то есть человеческой личности, которая превращается во фрустрированную реальностью потребительскую единицу. Возможности, открываемые индивидуализированной коммуникацией с предоставлением дозированного персонального виртуального вознаграждения, можно сравнить разве что с практикой продажи индульгенций католической церковью накануне появления протестантизма: нивелируя процедуру отпущения грехов до доступного акта приобретения символа, в экономическом смысле те представляли собой товар с близкой к нулевой стоимостью мультипликации, которого будет ровно столько, сколько потребителей, при полной физической невозможности потребителя предъявить продавцу рекламацию [Коктыш 2016а]. В этом случае делом времени был вопрос, насколько быстро алгоритмы попробуют взять под прямой контроль расщепляемую ими личность человека: устойчивость любого рынка зависит от управления лояльностью покупателя. Если алгоритм преодоления фрустрации путём приобретения символов успеха и статуса маркетизируется достаточно легко, то с маркетизацией второго ведущего к виртуальному успеху алгоритма, а именно – подражания кумирам, до определённого момента не просматривалось внятного решения. Тем не менее нашёлся выход и тут.

Вопрос о том, готова ли фрустрированная реальностью личность делегировать свой суверенитет алгоритмам и в них искать своё дальнейшее «освобождение», получил экспериментально подтверждённый позитивный ответ. С. Карелов сообщил о сенсационных результатах пятилетнего эксперимента PEACH (PErsonality coACH)

университетов Цюриха, Санкт-Галлена, Брандейса, Иллинойса и Высшей технической школы Цюриха⁷. Доказана возможность в массовом порядке преднамеренно и быстро изменять личностные характеристики индивидов, вплоть до реализации самых смелых евгенических фантазий о выведении новых пород людей. Эксперимент состоял в разработке мобильного приложения для смартфона, в которое входят: 1) бот, имитирующий разговор с коучем в чате, 2) цифровой дневник движения к индивидуальным целям для саморефлексии и мониторинга прогресса, 3) система контролирующих и направляющих напоминаний. Программа адаптировалась под разные психологические типы. В итоге за три месяца личностные черты испытуемых изменились до неузнаваемости, что подтверждалось не только самооценкой добровольцев (их было 1523), но и внешней оценкой их родственников, друзей и партнёров [Stieger, Flückiger, Rüegger et al. 2021].

Таким образом, ящик Пандоры открыт: когнитивная уязвимость стала реальностью. Появление приложений для смартфона, способствующих выработке «лидерских качеств» и «личностному росту», и автоматизирующих многочисленные психологические тренинги, становится вопросом времени. Возможность прямого перепрограммирования значимых сегментов внешних обществ представляет непреодолимый соблазн для корпораций, которые смогут перевести задачу завоевания потребительской лояльности на новый уровень эффективности при кардинальном снижении рекламных затрат. В не меньшей степени открывшиеся перспективы соблазнительны и для крупных геополитических игроков: возможность контроля собственного избирателя и целенаправленного воздействия на чужого переводит глобальную политику в качественно новое измерение. По сути, речь идёт о создании алгоритма для совершения когнитивных диверсий в любой точке земного шара.

⁷ Карелов С. Малоизвестное интересное. URL: <https://t.me/theworldisnoteasy>

На первом этапе уязвимой для новых алгоритмов будет ограниченная часть общества — наиболее неудовлетворённые, те, кто ощущают себя фрустрированными и обделёнными реальностью. Поскольку такие люди формируют наиболее активную и мобилизуемую часть социума, значение угрозы внешнего манипулирования не стоит преуменьшать. Белорусские протесты, упомянутые в начале статьи, оказались столь затяжными именно в силу наличия относительно малочисленного ядра, которое управлялось главным образом одним Телеграм-каналом. Между тем теоретически новые алгоритмы могут кратно усилить любую протестную активность по той причине, что эмоциональное остывание протестующей толпы можно будет блокировать «программной прошивкой».

Алгокогнитивный софизм

Упомянутый выше британский футуролог и визионер Дж. Лавлок продвигает в отношении наступающей эпохи термин «новоцен», предполагая, что её главной движущей силой будет «технологическое освоение паттерна организации материи и энергии, называемое нами информацией» [Lavelock 2019]. Новая эпоха принципиально отличается от многого привычного. С. Карелов в этом контексте говорит о «тройном переломе культуры», то есть о появлении «культуры надзора», «культуры постправды» и «культуры отмены»⁸. Среди прочего, в новой реальности исчезает понятие приватности, человек становится транспарентным куда в большей степени, нежели, скорее всего, отдаёт себе в этом отчёт: благодаря смартфону теперь нет проблемы отследить его перемещения, все виды общения, включая переписку и интимные связи, установить круг знакомых, а исходя из этого определить миро-

воззрение, на основании информации электронной торговли выявить спектр предпочтений и интересы⁹.

Культура постправды стирает границы между истиной и ложью вследствие очевидной трудности проверить фейки. Критерии истинности размываются, абсолютное большинство пользователей воспринимает информационный поток поверхностно, выхватывая из общего шума лишь знаковые символы, которые становятся таковыми в первую очередь в силу количества повторений. Культура отмены, или новая этика, вытекающая из культуры постправды, позволяет подвергнуть остракизму тех, кто, «по мнению активистов этой культуры, преступили черту, очерченную самими же активистами; такой “выход за флажки” трактуется как нарушение моральных и этических норм общества или негласных догм науки»¹⁰. Наиболее известными примерами влияния культуры отмены выступили Харви Вайнштейн, Роман Полански и Кевин Спейси, а в университетской среде США она стала массовым явлением. Остракизм нового времени в мягкой форме выражается в информационной изоляции избранной публичной фигуры, а в радикальной — оборачивается её вычёркиванием из цифровой медиасреды, как это произошло, к примеру, с аккаунтами президента Д. Трампа.

Предсказуемой жертвой новой этики стала наука: вымарываются и объявляются ненаучными те исследования, которые ставят под сомнение провозглашённые ценности мейнстрима. Например, известный биолог-эволюционист Джерри Койн¹¹ пишет о вопиющем случае, когда сайт журнала *Science-Based Medicine* удалил рецензию известного врача и одного из пяти редакторов журнала Харриет Холл на книгу Эбигейл Шрайер «Необратимый ущерб:

⁸ Карелов С. Тройной перелом культуры. Кейс 4400%-ого роста числа девочек, стремящихся стать мужчинами. URL: <https://sergey-57776.medium.com>

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Coyne J. Ex-editor of Science-Based Medicine chews the site's tuchas for its treatment of Abigail Shrier's book. URL: <https://whyevolutionistrue.com/2021/09/26/ex-editor-of-science-based-medicine-chews-the-sites-tuchas-for-its-treatment-of-abigail-shriers-book/>

безумие трансгендеров соблазняет наших дочерей» [Shrier 2021] о феноменальном росте в Великобритании за десять лет, с 2008 по 2018 год, на 4400% количества девочек, пожелавших сменить пол. Рецензия была сочтена слишком комплиментарной, и была заменена тремя негативными отзывами, написанными «адвокатами гендерного утверждения»¹², где автора обвинили в трансфобии и в недостаточной обоснованности её труда.

Если прозрачность повседневной жизни человека выступает имманентной характеристикой новой эпохи и с этой реальностью предстоит жить, то культуры «постправды» и «отмены» в самом факте своего существования зависят от того, кем создаются алгоритмы и какие цели они призваны достигать. В западной цифровой культуре наблюдается возврат под новым названием хорошо знакомой архаики. В постулате об относительности добра и зла, координаты которых определяются потоками информации и возможностью их произвольно менять, можно распознать сформулированный Протагором основополагающий для софизма принцип о человеке как мере всех вещей. Платон устами Протагора описал, говоря в современных терминах, и базовые принципы управления информацией, сводящиеся к простой и безобидной на первый взгляд подмене имён. Например, Протагор в одноимённом диалоге порождает следующую логическую конструкцию: «...так как дело сводится к двум вещам, то и будем обозначать их двумя названиями — “благом” и “злом”. ... Человек, зная, что зло есть зло, всё-таки его совершает... А если кто нас спросит: “Почему же?” — мы ответим: “Потому что он побеждён”. — “Чем?” — спросят нас. А нам уже нельзя сказать, что удовольствием, потому что вместо удовольствия мы приняли другое название — “благо”» [Платон 1990: 468].

Насколько справедлива наша аналогия? Неужели социумы, поражённые алгорит-

мами [Wagner, Strohmaier, Olteanu et al. 2021], близки по своему качеству к обществу Древних Афин? Действительно, в эпохе расцвета софизма мы находим почти все признаки «культуры постправды», когда истина тонет под нагромождением субъективных — и отнюдь не бескорыстных — интерпретаций, где ключевым когнитивным интегратором оказывается освобождение индивида от сковывавших его норм и правил. У А.Ф. Лосева в этой связи говорится: «...субъективизм софистов, говоря вообще, не может быть оспариваем: что кажется одному, то и существует, а что кажется другому, то для него тоже существует... Горгий вообще брался любую вещь и восхвалять, и ниспровергать независимо от её объективных свойств; и на этом основании он считал, что “искусство убеждать много выше всех искусств, так как оно делает всех своими рабами по доброй воле, а не по принуждению, так что оратор может говорить обо всех вещах самым лучшим образом”» [Лосев 2000: 18–19]. Собственно, методологическая основа софизма — то самое расщепление слова и сущности, означаемого и означаемого, слова и вещи, о котором писал М. Фуко: означаемое обретает самостоятельное существование и начинает переопределять означаемое [Фуко 1994: 79]. Причём переопределять весьма произвольно, опровергая всё и вся и не оставляя от означаемого камня на камне, на основе осознанных логических подмен, классифицированных Аристотелем как «паралогизмы, а не опровержения», посвятившим разбору логики софистов 34 главы своего сочинения [Аристотель 1978a: 535].

Собственно, алгокогнитивная культура позволяет творить куда более яркую реальность, нежели вербальный театр софистов, к слову, прекрасно понимавших, что их искусство — это искусство обмана. В этой связи уместно привести ещё несколько красноречивых цитат Горгия: «...в трагедии и в живописи превосходит всех тот, кто

¹² Coyne J. Ex-editor of Science-Based Medicine chews the site's tuchas for its treatment of Abigail Shrier's book. URL: <https://whyevolutionistrue.com/2021/09/26/ex-editor-of-science-based-medicine-chews-the-sites-tuchas-for-its-treatment-of-abigail-shriers-book/>

лучше всех обманывает, создавая подобие истины. Искусство актёра обманывает зрителей, хотя они и знают, что это — обман; актёры одно говорят, другое думают; они входят на сцену и уходят со сцены теми же самыми и в то же время разными» [Лосев 2000: 44]. Велико влияние слова, но неизмеримо глубже влияние сетевой информационной культуры, воздействующей на большинство органов чувств, пробуждающих эмоции, — это и текст, и аудиовизуальная информация, и возможность мгновенной обратной связи с собеседником. Управление эмоциями становится на поток, превращается в критичный фактор социализации, о чём, собственно, предупреждал Маршалл Маклюэн: «...наши человеческие чувства, расширения которых являются все без исключения средства коммуникации, являются фиксированными налогами на наши личностные энергии и конфигурируют сознание и опыт каждого из нас» [Маклюэн 2003: 26]. Сетевая коммуникация в классификации Маклюэна относится к «горячим средствам», то есть к тем, которые воздействуют в первую очередь на эмоции, «расширяя одно-единственное чувство до степени “высокой определённости”» [Маклюэн 2003: 27]. Тем самым затрудняется когнитивная переработка входящей информации — «интенсивность, или высокая определённость, порождает как в жизни, так и в сфере развлечений специализм и фрагментацию, в то время как для “усвоения” и ассимиляции интенсивного переживания, оно должно “остыть”, стать “забытым”, “подвергнуться цензуре” и редуцироваться до весьма холодного состояния» [Маклюэн 2003: 29]. Когнитивная пауза в случае алкокогнитивной культуры не возникает вообще.

По Маклюэну, отсутствие перехода в «холодное» состояние рефлексии и осознания порождает «наркозис, или оцепенение»: критическая переработка потока информации становится невозможной в силу постоянной его интенсивности. Маклюэн иллюстрирует этот тезис известным мифом о юном Нарциссе, принявшем своё отражение за другого человека: «Это расшире-

ние его вовне, свершившееся с помощью зеркала, вызвало окаменение его восприятия, так что он стал, в конце концов, сервомеханизмом своего расширенного, или повторённого образа. Нимфа Эхо попыталась завоевать его любовь воспроизведением фрагментов его речи, но безуспешно. Он был глух и нем. Он приспособился к собственному расширению самого себя и превратился в закрытую систему ... Основная идея этого мифа в том, что люди мгновенно оказываются зачарованы любым расширением самих себя в любом материале, кроме них самих» [Маклюэн 2003: 50]. Любое средство коммуникации, «будучи расширением и ускорителем чувственной жизни, воздействует одновременно на всю область чувств [в силу чего] уже само созерцание идолов, или использование технологий, делает людей похожими на них ... Именно это непрерывное принятие внутрь себя нашей собственной технологии в ходе повседневного её использования помещает нас в роль Нарцисса, состоящую в подсознательном восприятии этих образов нас самих и оцепенении перед ними. Непрерывно заключая технологии в свои объятия, мы привязываем себя к ним как сервомеханизмы. Именно поэтому мы, чтобы вообще пользоваться этими объектами, должны служить им — этим расширениям нас самих — как богам или в некотором роде святыням» [Маклюэн 2003: 55–56].

Что существенно: при всей любви к своему искусству, «необычайной жажде испытывать и переживать всё новые и новые ощущения, исследовать жизнь во всей пестроте составляющих её явлений упиваться настоящим, зарываться в прошлое и с необычайной остротой ощущений стремиться к будущему» [Лосев 2000: 26], софисты преследовали вполне прагматичные цели. Становление афинского купеческого сословия в ходе бурного роста заморской торговли порождало запрос на его самосознание, а значит, и на интеллектуальную школу, определяющую и обеспечивающую его растущие амбиции. Софистика и взяла на себя роль такой школы, главным функционалом которой стала переоценка

ценностей: на место «опровергаемых» ценностей общества, сохранявшихся с прежней земледельческой эпохи, утверждались ценности индивида, легко находящего лазейки для обоснования приоритета собственных интересов. В овладении главным искусством софистов — спором, за что главным образом и платили им ученики, трудно не увидеть усвоение навыков торга и способности в любой ситуации выше всего ставить свою прибыль, что при фактическом исключении из аргументации критерия совести на самом деле становится возможным всегда и везде. Аристотель, иронизируя над прокладывавшим себе дорогу этическим релятивизмом софистов, приводил в пример их красноречивый тезис, размывающий рамки хорошего и плохого: «... хорошо ли изучение того, что знать хорошо? [Да]. Но знание плохого хорошо; стало быть, плохое есть хороший предмет изучения. Однако плохое есть и плохое, и предмет изучения, так что плохое есть плохой предмет изучения, (но знание плохого хорошо)» [Аристотель 1978а: 573].

Наряду с обучением купцов софисты самым фактом своей популярности трансформировали внутренний рынок; «раскрепощение жизненных инстинктов, оправдание всего человеческого, от величайших его форм и до мельчайших, часто просто даже бытовых и обывательских слабостей человека» [Лосев 2000: 55], по сути, создавало потребителя, ценящего свои слабости и готового платить за потакание им и их удовлетворение. Естественно, что препятствием росту индивидуального потребления в какой-то момент неизбежно становились социальные структуры и порядок, этого индивида и породившие; отрицание, изначально не категорическое, направлено на власть и базовые ценности, от которых и освобождается индивид. «По Антифону, природа — это свобода, а закон — насилие; а по Калликлу, свободная природа, состоящая в полной разнузданности страстей, находит в законе только своего противоположного тирана и законами люди защищаются от людей более сильных. Для Фрасимаха справедливость тоже есть нечто

выгодное для сильнейшего. Гиппий у Платона прямо говорит, что закон, будучи тираном людей, часто «оказывает насилие против природы» ... Антифону принадлежит обстоятельнейшее из всех софистов рассуждение об антагонизме естественно действующей природы и насильственно, противоестественно действующего закона. Критий усиливал этот антагонизм до теории происхождения религии в результате необходимости запугивать безнравственных людей, и, вероятнее всего, он был самым настоящим безбожником, о чём сохранились довольно обстоятельные сведения» [Лосев 2000: 24, 18–19].

Онтологический тупик софизма наметился довольно быстро: при постановке индивида в центр мировоззренческой системы невозможны никакие обобщения, относительным становится абсолютно всё. Софисты это признавали. В частности, тезис Протагора о природе материи по сути есть декларация агностицизма. «Материя текуча, и при течении её беспрерывно происходят прибавления взамен убавления её, и ощущения перестраиваются и изменяются в зависимости от возрастов и прочих телесных условий ... Причины всего того, что является, лежат в материи, так что материя, поскольку всё зависит от неё самой, может быть всем, что только является всем [нам]. Люди же в различное время воспринимают по-разному в зависимости от различий своих состояний. А именно, тот, кто живёт по природе, воспринимает то из заключающегося в материи, что может являться живущим по природе, живущий же противоестественно то, что [может являться] живущим противоестественно» [Лосев 2000: 19].

Исходя из вышесказанного неудивительно, что софисты «размыли» натурфилософию, доведя её до абсурда, но не создав взамен ничего своего: «... ведь если всё есть только одна сплошная текучесть, то, ввиду абсолютной новизны каждого наступающего момента, нельзя произвести ровно никакого обобщения в этом становящемся бытии, откуда сам собой вытекал релятивизм и даже нигилизм» [Лосев 2000:

21–22]. Ещё быстрее размывалась мифология: единственной последовательной позицией стала «проповедь произвольных и любых мифологических конструкций, софисты сколько угодно могли отрицать мифологию, критиковать её, смеяться над ней и отрицать её объективную реальность» [Лосев 2000: 52].

В этом контексте логичен и финальный пессимизм софистов: мир чувственных переживаний, возведённых в ранг абсолютной ценности, замыкается в себе, теряет смысл собственного существования, после чего (и в силу чего) обесценивается и сам. Если в начале своего пути Антифонт декларировал, что «настоящее добро для человека — это его победа над самим собой», то к концу он впал в пессимизм: «Жизнь похожа, так сказать, на однодневное заточение в темнице, и продолжительность жизни подобна [одному] дню. Лишь только мы вновь увидим свет дня, мы передаём его следующим поколениям ... Всякая жизнь, даже самая завидная, по мнению людей, заслуживает обвинения в том, что в ней нет ничего особенно значительного, ничего великого и высокого, но всё ничтожно, слабо, кратковременно и сопряжено с большими страданиями ... Жизнь нельзя переставить, как ход в шахечной игре» [Лосев 2000: 25]. Лосев оценивал софизм как расцвет декаданса, понимая под последним стремление всё и вся «перевести обязательно на язык чувственных ощущений» [Лосев 2000: 27]. Хотя софисты пользовались существенной поддержкой элит и опирались на устойчивый рыночный спрос, борьба против них Сократа, Платона и Аристотеля относительно легко увенчалась успехом: ведь софисты довольно быстро исчерпали себя. Вместе с тем предварительно они подвергли эрозии все без исключения сферы жизни афинского общества и поставили всё под сомнение, не породив взамен ничего, кроме гимна чувственному освобождению от всего и вся. В последнем видятся и сегодняшние тренды. Например, рассуждая о красоте, Критий утверждал, что «прекраснейшая форма у мужских существ — женственная, у женских же, на-

оборот, мужественная» [Лосев 2000: 30]. Афинское общество не могло не обнаружить нарастание угрожавшего ему эффекта десоциализации, в силу чего борьба с софистами трёх поколений великих философов, на месте софистического хаоса соорудивших стройную систему «систематически обработанных общих суждений» [Лосев 2000: 35], где существование единичного выводится из родовых понятий, породило значимых союзников. В итоге финальный приговор Аристотеля софистам — «а так как некоторые заботятся больше о том, чтобы слыть мудрыми, чем быть мудрыми и не слыть ими (ведь софистика — это мнимая мудрость, а не действительная, и софист — это тот, кто ищет корысти от мнимой, а не действительной мудрости), то ясно, что для них важно скорее казаться исполняющими дело мудрого, чем действительно исполнить его, но при этом не казаться исполняющими его» [Аристотель 1978а: 53] был воспринят афинским обществом с облегчением.

Интересно, что в ту же эпоху в правоприменительной практике остракизма мы обнаруживаем и второе порождение алгокогнитивной культуры — культуру отмены, или новую этику. В цифровой форме остракизм точно так же затрагивает людей наиболее известных и влиятельных, стоящих на пути переменчивого идеологического мейнстрима, и оказывается ничуть не менее смертоносным для репутации осуждённого, нежели в старые времена. Примечательно, что сама практика остракизма была возможной в силу сосуществования в рамках афинской демократии двух культов, хтонического и олимпийского: оформленные в пантеоны, оба они управлялись множеством богов с перекрещивающейся юрисдикцией [Сергеев 2013: 84–92]. Первый, хтонический, предназначался для простонародья, и движущей его силой был гнев богов стихий: поддержанию ритуальной чистоты во избежание их гнева была подчинена повседневность. Второй, возникший вместе с расцветом купеческого сословия, обеспечивал юрисдикцию олигархическим торговым элитам и управлял-

ся милостью новых олимпийских богов [Harrison 1913: 37–43]. Нормативный свод первого был застывшим, ригидным, тогда как второй бурно эволюционировал, постоянно переоценивая ценности в соответствии с конъюнктурой, что, собственно, изначально и создало нишу для софистов, профессионально специализировавшихся на переопределении координат добра и зла. Однако приговор к ostracism у древних греков был возможен только в рамках норм хтонического пантеона: олимпийский предполагал минимум порицаемых прегрешений. Поскольку жертвами его становились как раз представители элит, и зачастую интеллектуальных, мы можем предположить, что речь шла в первую очередь о сведениях счётов: не вписавшегося в мейнстрим и тем более — противостоявшего ему элиты сбрасывали на суд толпы.

В рамках сегодняшней алгокогнитивной культуры мейнстрим формируют американские глобальные информационные корпорации: именно они выступают заказчиком, в их интересах создаются, развиваются и совершенствуются алгоритмы. Если интеграция алгоритмов в повседневную жизнь индивиду увеличивает степень свободы — правда, не свободы вообще, а главным образом свободы покупательского выбора, — то у корпораций происходит увеличение продаж и закрепление лояльности потребительской аудитории. Как известно, увеличение продаж товара в условиях избыточного предложения возможно двумя способами. Первый расширяет рынок, распространяя метафору товарности на те сферы, которые товаром до этого не являлись, то есть их маркетизация. Второй позволяет делать любой рынок массовым, добавляя к товару социальную составляющую, когда человек, приобретая его, получает нечто большее — символ статуса, принадлежности к престижной страте, подра-

жание которой в его кругу нормативно. В обоих случаях, впрочем, на пути мейнстрима оказываются социальные структуры и нормы, то есть власть и доминирующие ценности, которые стали препятствием и для экспансии софистов.

Это препятствие вполне существенно. Оба способа расширения рынка размывают основы бытия, поскольку включение новой «нетоварной» ценности в товарный оборот с большой вероятностью ведёт к акерлофской трансформации вновь появившегося рынка в деградирующий [Акерлоф 1994: 95–104]. Например, экспансия метафоры товарности на социальные блага, как правило, не ведёт к повышению их качества, поскольку создаёт конфликт профессиональных мотиваций. К примеру, врач, оказывающий услугу, становится одновременно заинтересован и в выздоровлении пациента, и в превращении его в постоянного клиента, что на практике зачастую выливается в операциональный компромисс с попутной постановкой спекулятивных диагнозов [Сергеев 2009] и навязыванием дополнительных, в лучшем случае бесполезных, услуг [Тaleb 2014: 82]. Аналогичный конфликт возникает и в сфере образования — эффект постоянного клиента тут возможен при обучении быстро устаревающим «коротким» знаниям вместо фундаментальных, что создаёт пространство для западной концепции *lifelong learning*. Возникающие перекосы в обеих этих сферах могут быть уравновешены только регулирующей ролью государства, в итоге вынужденного взять на себя издержки установления и поддержания стандартов. Придание товару дополнительных символических характеристик может вести к деградации уже символического капитала: непростой процесс постижения чего-то сложного подменяется простым актом посещения, созерцания или приобретения¹³,

¹³ Анекдотичной иллюстрацией этому может послужить эпизод из личного опыта одного из авторов, когда после настоятельных просьб преуспевающего американского коллеги ему достали билеты на балет в Большой театр. С удовольствием выпив шампанского в буфете, во время спектакля тот мирно уснул и продремал его большую часть. На выраженное им недоумение автор получил исчерпывающий ответ: «мы живём в небольшом городе, но Большой у нас знают все. Поэтому, когда я скажу, что был в Большом, этого будет абсолютно достаточно».

что неизбежно ведёт к его выхолащиванию и упрощению как минимум в сознании воспринимающего. Возникает рынок подделки, который — в силу куда большей доступности — становится куда доходнее и успешнее, нежели рынок оригиналов.

В этом плане понятен бескомпромиссный напор культуры отмены: снос прежних символов, зачастую физический, открывает новые, прежде немыслимые высокодоходные рынки, ожидаемая норма прибыли которых и создаёт разницу давлений между «рыночной стихией» и подлежащими маркетизации сегментами социальной реальности. Впрочем, новые рынки тут же начинают деградировать, запуская описанный Н. Талебом процесс «приватизации прибыли и национализации убытков» [Taleb 2007]. При этом текущая система координат, созданная культурой постправды, позволяет поставить под удар практически любое обнаруживаемое на пути препятствие. Если досократовская реальность исходила из множества существовавших онтологий, равных количеству признаваемых богов, с вытекающей отсюда возможностью ценностного плюрализма, то алгокогнитивная культура может творить кумиров сама, вместе с утверждаемыми ими онтологиями и ценностями. Для этого вполне достаточно алгоритмов — сетевое поведение *algorithmically infused societies* [Wagner, Strohmaier et. 2021] обществ, поражённых алгоритмами, часто сравнивают с муравейником, где роль сахара, который задаёт маршруты прокладывания муравьиных троп, играет количество лайков и репостов.

Главной жертвой обоих подходов, как и у софистов, становятся сферы культуры и науки: активное вмешательство государства посредством установления в этих сферах стандартов всегда проблематично, сопряжено с издержками, которые правительство предпочитает на себя не брать. Из области внимания при этом обычно ускользает тот факт, о котором предупреждал ещё Х. Ортега-и-Гассет [Ортега-и-Гассет 2002]: именно культура и искусство — будь то элитная или массовая —

вырабатывают актуальные для общества жизненные смыслы, порождая привлекательные для подражания образцы. Как результат их поражения алгоритмами, растёт массовая когнитивная слепота [Ward 2021]: знание подменяется информированностью, а «собственными знаниями» люди всё чаще полагают информацию, получаемую из Интернета — при том что выдача последней может поменяться практически мгновенно, как в романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984». При этом пропорционально растёт уверенность масс если не в своих знаниях, то в своей осведомлённости, порождая тем самым «ложные зоны компетентности», известные как метакогнитивное искажение Даннинга–Крюгера [Kruger, Dunning 1999], когда уже массовый человек воспринимает сложную реальность как простую и понятную. Собственно, в этом контексте культура отмены — не что иное, как следующая итерация опрошения, где после культуры его объектом стала политика: уже не элиты, а человек массы с лёгкостью демонстрирует готовность включиться в активное продвижение предложенного ему извне понимания единственно правильного, что мы и наблюдаем в череде — удачных и неудачных — «цветных революций».

Ущерб, нанесённый культурой отмены науке, трудно поддаётся оценке. Боязнь заступить за рамки порождает конформизм, что вкупе с логикой алгоритмов индексирования научных публикаций приводит к выхолащиванию её когнитивной функции. В частности, недавнее исследование массива из 90 млн научных статей по 241 научной теме, имеющих 1,8 млрд цитирований, неожиданно — с точки зрения администрирования индустрии науки — показало практически полную остановку когнитивного прогресса: количество не переходит в качество [Chu, Evans 2021].

Китай: цифровая культурная революция

О политическом признании серьёзности цифровой угрозы свидетельствует инициированный Китаем в 2021 г. кардинальный

поворот в цифровой политике, получивший название «новой культурной революции». В этом есть свой символизм, в прошлом году как раз прошёл 55-летний юбилей культурной революции, запущенной Мао Цзедунем. Заявленные перемены не менее глубоки: по сути речь идёт о национализации алгоритмов. Отныне алгоритмическая культура в Китае контролируется и направляется Компартией и должна служить национальным интересам.

В частности, 27 августа 2021 г. Государственное информационное управление Интернета издало Правила управления рекомендациями по использованию алгоритмов информационных услуг в Интернете¹⁴, в соответствии с которыми Национальный департамент кибербезопасности и информатизации получил право надзора и контроля за соблюдением требований национальной службы рекомендаций по алгоритмам, а поставщики услуг «должны соблюдать законы и правила, уважать социальную этику, соблюдать деловую этику и профессиональную этику, а также следовать принципам справедливости, открытости, прозрачности, научной рациональности и честности ... придерживаться основной ценности ориентации, оптимизировать механизм предоставления рекомендаций по алгоритмам, активно распространять положительную энергию и способствовать применению алгоритмов к лучшему»¹⁵. Новая сетевая этика предполагает борьбу с фейковыми новостями, запрет контента, угрожающего общественному порядку, и защиту несовершеннолетних. Подростков нельзя побуждать к следованию рекомендациям алгоритмов, подталкивать к вредным привычкам, к имитации небезопасного поведения, нарушению социальной этики, они не должны получать информацию, кото-

рая может повлиять на их физическое и психическое здоровье.

Популяризации принятых решений послужила появившаяся на следующий день после постановления в личном блоге в Вичате статья малоизвестного до того бывшего главного редактора небольшой газеты Ли Гуанмана¹⁶, перепечатанная различными государственными СМИ, включая сайты «Жэньминь Жибао» и агентства Синьхуа. Её автор провозгласил *возврат к первоначальным намерениям КПК, к сути социализма, от группы капиталов к массам людей, и трансформацию капиталоориентированной модели в модель, ориентированную на народ*. Народ назван «главным органом этого изменения, а те, кто будет мешать реализовать это изменение в сторону народа, будет отброшен»¹⁷. 2 сентября руководство телерадиовещания обнародовало новую стратегию, которая состоит в ограничении телепрограмм и реалити-шоу, выращивающих молодёжных кумиров, установлении правильных стандартов красоты и изгнании трансгендеров, то есть женоподобных мужчин. Шоу-бизнесу предложили «сознательно отказаться от пошлости, безвкусицы, а также сознательно давать отпор декадентским идеям поклонения деньгам, гедонизму и крайнему индивидуализму»¹⁸.

Значимость этого поворота трудно переоценить. Речь идёт не просто о партийном заслоне на пути Биг Фармы, главного лоббиста трансгендерной культуры, но о кардинальной смене доминирующей идеи: от опоры на идею индивидуальной свободы, до сих пор двигавшей китайскую экономику за счёт максимизации потребления, Китай возвращается к идее социальной справедливости. Общество в этом контексте обретает правосубъектность: в отличие от идеи свободы, которая всегда

¹⁴ Cyberspace Administration of China. Office of the Central Cyberspace Affairs Commission. URL: http://www.cac.gov.cn/2021-08/27/c_1631652502874117.htm

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Акопов П. Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник. РИА «Новости». URL: <https://ria.ru/20210910/kitay-1749414761.html>

¹⁷ Там же.

¹⁸ Там же.

индивидуальна, идея справедливости всегда надиндивидуальна: нельзя быть справедливым самому по себе, справедливость, как отмечал ещё Аристотель, всегда мерило конкретной ситуации социального взаимодействия. В этом плане критичным и наиболее дальновидным решением представляется именно взятие под этический контроль всемогущих алгоритмов, то есть альтернативной системы социализации. Вопрос не в национализации цифровых олигархов, чья миссия, по алармистской оценке *Financial Times*, теперь состоит в «передаче компартии своих миллиардов»¹⁹, а об установлении полезных для общества этических рамок, которыми государство ограничивает деятельность этих компаний. И те восприняли сигнал: уже 11 сентября все крупные китайские платформы, включая мессенджеры *WeChat* и *Weibo*, видеохостинг *Tencent Video*, новостные агрегаторы *Jinri Toutiao* и *Douyin*, китайский оригинал *TikTok*, заявили о готовности следовать новым правилам, обязались ввести меры самодисциплины, воздерживаться от использования данных и трафика в качестве основного ориентира, и работать с позитивными ценностями в целях создания чистой и честной онлайн-культуры²⁰.

Китай не первым осознал правила новой эпохи, где цифровой суверенитет является центральной составляющей государственного суверенитета: после того как информационные корпорации США «запретили» Трампа, тогда президента великой страны, вопрос о том, где и у кого находится суверенитет, стал актуальным для всех государств, продвинувшихся по пути цифровизации. Свой вклад в осознание его актуальности внесли провалившиеся попытки «цветных революций» в Гонконге в 2019–2020 годах, где Китай напрямую столкнулся с всевластием алгоритмов, и события

в Белоруссии. Тем не менее именно Китай первым, притом чётко, сформулировал государственную политику цифровой эпохи, решительно приравняв сетевую информационную культуру к критически важной инфраструктуре, от защиты которой зависит устойчивость всей системы. В этом плане показательным заключительное утверждение статьи Ли Гуанмэна: «...если нам по-прежнему придётся полагаться на крупных капиталистов как на главную силу в борьбе против империализма и гегемонизма или мы всё ещё будем сотрудничать с американской отраслью “массовых развлечений”, наша молодёжь утратит свою сильную и мужественную энергию и мы потерпим такой же крах, как Советский Союз, даже ещё до того, как подвергнемся настоящей атаке»²¹.

Резонно задаться вопросом, каким образом последовательное и безраздельное доминирование идеи свободы, провозглашённое Фрэнсисом Фукуямой с распадом СССР *царство свободы*, которое, обеспечив *полное удовлетворение жажды признания*, закончило историю [Фукуяма 2015: 224], в итоге привело к состоянию муравейника, где интеллект свободного индивида подменяется инстинктами коллективного поведения? Если вслед за С. Жижекком мы будем понимать свободу как событие, разовый акт освобождения чего-то от чего-то, ему мешающего [Жижек 2008: 31–34], и соединим это рассмотрение с освобождающимся социальным субъектом, то обнаружим, что большинство вошедших в историю актов свободы были освобождением символической фигуры купца, в его торговой, производственной или финансовой ипотасии, от ограничений со стороны других социальных институтов — институтов власти и институтов влияния, реализующихся через законы, религию, мораль и идео-

¹⁹ Financial Times. Jack Ma and the Chinese tech titans' mission to give away billions. URL: <https://www.ft.com/content/c89594c1-1d85-4dda-9e67-55c775bd6c9a>

²⁰ Reuters. Chinese content platforms pledge self-discipline — industry group. URL: <https://www.reuters.com/world/china/chinese-content-platforms-pledge-self-discipline-industry-group-2021-09-11/>

²¹ Акопов Г. Китай начинает «трансформацию капитализма»: у него есть главный союзник // РИА «Новости». URL: <https://ria.ru/20210910/kitay-1749414761.html>

логию. К примеру, освобождение Голландии от Испанской империи было одновременно освобождением от католической морали и от представления об обществе как легитимном политическом субъекте — в протестантизме его заменила совокупность индивидов, что вкупе кратко снизило для Голландии издержки колониальной экспансии [Арриги 2006: 181–201]. В Англии *Великое дело короля* Генриха VIII стало началом отказа от католицизма, освободившего средства для инвестиций во флот, а случившаяся столетие спустя Английская революция избавила купца от власти короля; восстановленной позже королевской власти была вменена телеология защиты купца и собственности [Коктыш 2019: 48–65]. Великая французская революция стала одновременным освобождением и от католицизма, и от короля, и, что более существенно, от концепта божественного происхождения власти. Тогда и была создана ситуация относительности истины, в которой существует Современность: уже французские просветители не могли убедительно ответить на вопрос, каким образом в *наступившем царстве разума* возможна власть, то есть право одного человека повелевать и обязывать других подчиняться, поскольку разумность короля и слуги по определению будут одной и той же разумностью, явлением одного порядка [Коктыш 2016б: 6–24]. В итоге оставшаяся в качестве возможной процедурная форма легитимации власти экстраполировалась и на методы поиска обоснования истины со всеми вытекающими отсюда издержками, когда одной процедуре легко противопоставляется другая.

Представляется важным, что каждый разовый акт освобождения затем неизбежно обретал стабильные институциональные формы, отливаясь в устойчивый социальный порядок, который включённые в него полагали более или менее справедливым. Иными словами, идея свободы начинала процесс обрушения, а идея справедливости его завершала, создавая устойчивую конструкцию на последующий

исторический период. В терминах социальной физики можно сказать, что свобода рассыпала социальный субъект или его часть до молекулярного или даже атомного состояния, а справедливость соединяла рассыпанное в уже новые устойчивые и связанные формы как минимум надмолекулярного уровня [Коктыш 2021]. Последнее, заметим, в полной мере перекликается с ленинской классикой: «...прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определённо размежеваться» [Ленин 1967: 22].

* * *

Можно предположить, что распад СССР, представлявшего собой в системе международных отношений полюс справедливости, оказался сродни удалению угольных стержней из активной зоны ядерного реактора: предоставленная самой себе, идея свободы перешла в состояние неуправляемой термоядерной реакции, превратившись в перманентный процесс освобождения, существующий за счёт высвобождения энергии при дроблении любого социального объекта и противопоставлении его частей, ранее образовывавших единое целое, друг другу: от разделения государств на национальные страны до выделения из обществ меньшинств, расщепления семей на индивидов и расщепления личности на автономные в своём поведении эмоциональные и рациональные составляющие. В резонности этого предположения нас укрепляет тот факт, что при каждом очередном разделе возникал новый прибыльный рынок. В частности, раздел большой экономики на совокупность малых автоматически, в силу ёмкости рынка и уровня разделения труда [Григорьев 2014: 181–214], превращает их в технологических реципиентов крупных игроков, чей внутренний рынок позволяет им производить и окупать высокотехнологичную продукцию; структура затрат индивида, зачастую не предусматривающая инвестиции в детей, и качественно заметно отличается

ся от структуры затрат домохозяйства; ёмкие рынки создают меньшинства, как, например, трансгендеры — пожизненные потребители фармакологической продукции; суверенитет эмоциональной компоненты в условиях цифровой экономики предполагает спонтанные и высокие затраты на удовлетворение навязанных извне потребностей.

В этом контексте понятнее заявка Китая на создание альтернативного цифрового полюса справедливости: выбивание из-под культуры постправды и культуры отмены коммерческой составляющей на самом деле может лишить их энергии инвестиций, без которой их дальнейшая экспансия представляется проблематичной. Плюс при этом становится и возможность задаваемой КПК более или менее непротиворечивой системы мировоззренческих и ценностных координат. Такая система, будучи последние несколько десятилетий классической «спящей властью», то есть той, которая предоставляет повседневность ей самой, вмешиваясь только тогда, когда что-то пошло не так и это что-то нужно исправить, теперь в полной мере обнаруживает свою мощь.

Открываемый Китаем путь станет привлекательным для государств, полагающих свой суверенитет основополагающей ценностью. Отчасти Россия по нему уже пошла: так, в декабре 2021 г. за несоблюдение предъявленных Роскомнадзором требований мировой суд в Москве присудил корпорациям Гугл и Мета (Фейсбук) оборотные штрафы в размере 7,2 млрд рублей и 1,99 млрд рублей. Тем не менее стратегию Китая, при всей её ясности, трудно воспроизвести, даже не по причине высоких материальных и временных затрат. Имеют-

ся трудности технические — в частности, отсутствие у Европы своих социальных сетей, а также идеологические — либеральная парадигма не предполагает точки опоры, встав на которую можно было бы навязать в первую очередь американским информационным корпорациям альтернативные правила игры. Несколько лучше обстоят дела в России: есть своя социальная сеть, в которую вовлечено большинство несовершеннолетних; есть формально российский мессенджер Телеграм; на идеологическом уровне есть задел в виде недавно внесённых поправок в Конституцию о защите традиционных ценностей. Вместе с тем первоочередная задача заключается в выработке концептуального ответа на открывшиеся вызовы, техническое решение должно следовать за концептуальным, а не наоборот. Единственной концептуальной альтернативой алгокогнитивной культуре видится опора на идею справедливости, которая, как отметил ещё Аристотель [Аристотель 1978б: 72–86], может быть очень разной: справедливостью по происхождению, по уровню достатка, по равенству возможностей или, как мы знаем из недавней истории, по равенству дохода, но при этом всегда основанной на надындивидуальной идентичности. Как мы помним из Евклидовой геометрии, через одну точку можно провести неограниченное количество прямых — в таком варианте «перепрограммирование» базовых установок человека отнюдь не выглядит неподъёмной задачей. Но через две точки возможно провести только одну прямую — и в случае, если человек исходит из социальной идентичности, привязывающей его к социальной стране в качестве базовой, его «перепрошивка» становится проблематичной.

Список литературы

- Абельсон Р. Структуры убеждений // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 317–380.
- Акерлоф Дж. Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм // Thesis. 1994. № 5. С. 91–104.
- Аристотель (а). О софистических опровержениях // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 535–593.

- Аристотель (6)*. Категории. // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 53–90.
- Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006. 472 с.
- Григорьев О.* Эпоха роста. М.: Карьера Пресс, 2014. 448 с.
- Жижек С.* Устройство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа, 2008. 516 с.
- Коктыш К.Е.* Английский концепт свободы: опыт деконструкции // *Полития*. 2019. № 2 (93). С. 48–65. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-93-2-48-65.
- Коктыш К.Е.* Белоруссия: новая геополитическая реальность? // *Полис*. Политические исследования. 2021. № 3. С. 91–110. <https://doi.org/10.17976/jpps/2021.03.07>.
- Коктыш К.Е.* Дискурс рационализма, свободы и демократии. М.: МГИМО-Университет, 2021. 320 с.
- Коктыш К.Е.* Онтология рационального (II) // *Полития*. 2016а. № 3 (82). С. 6–30. DOI: 10.30570/2078-5089-2016-82-3-6-30.
- Коктыш К.Е.* Онтология рационального (III). // *Полития*. 2016б. № 4 (83). С. 6–24. DOI: 10.30570/2078-5089-2016-83-4-6-24.
- Коктыш К.Е.* Событие свободы: опыт деконструкции // *Полис*. Политические исследования. 2020. № 2. С. 21–36. DOI: 10.17976/jpps/2020.02.03.
- Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живём. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Ленин В.И.* Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. Т. 6. М.: Издательство политической литературы, 1967. 619 с.
- Ортега-и-Гассет Х.* Восстание масс. М.: АСТ, 2002. 509 с.
- Платон*. Протагор // *Платон*. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 418–476.
- Сергеев В.М.* Народовластие на службе элит. М.: МГИМО-Университет, 2013. 265 с.
- Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е., Кузьмин А.С., Сергеев К.В.* Прологомены к антропологии нашего времени. М., 2009. 261 с.
- Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е., Орлова А.С., Петров К.Е., Чимириис Е.С.* Новое пространство мировой политики: взгляд из США: Аналитический доклад. М.: МГИМО-Университет, 2011. 134 с.
- Тaleb Н.* Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри, Азбука Аттикус, 2014. 768 с.
- Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2015. 259 с.
- Хоркхаймер М.* Затмение разума. К критике инструментального разума. М.: Канон+, 2011. 224 с.
- Chu J., Evans J.* Slowed canonical progress in large fields of science. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Oct 2021, 118 (41) e2021636118; DOI: 10.1073/pnas.2021636118.
- Cognitive Dynamics in International Politics* / ed. by C. Jonsson. London, 1982. 210 p.
- Harrison J.E.* The religion of ancient Greece. London, 1913. 66 p.
- Kruger J., Dunning D.* Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1999. Vol. 77. No. 6. P. 1121–1134. doi:10.1037/0022-3514.77.6.1121. PMID 10626367.
- Lavelock J.* (with Appleyard B.) *Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence*. Allen Line, 2019. 160 p.
- Leites N.* Operational code of the politburo. N.Y.: McGraw-Hill, 1951. 118 p.
- Rathje S., Van Bavel J., Van der Linden S.* Out-group animosity drives engagement on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Jun 2021, 118 (26) e2024292118; DOI: 10.1073/pnas.2024292118
- Shrier A.* Irreversible Damage. The Transgender Craze Seducing Our Daughters. Regnery Publishing, 2021. 276 p.
- Stieger M., Flückiger Ch., Dominik R., Kowatsch T., Roberts B., Allemand M.* Changing personality traits with the help of a digital personality change intervention. 2021. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Feb 2021, 118 (8) e2017548118; DOI: 10.1073/pnas.2017548118. URL: <https://www.pnas.org/content/118/8/e2017548118> (проверено 17.05.2021).
- Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites* / ed. by R. Axelrod. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976. 404 p.
- Taleb N.* The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, London, 2007. 366 p.
- Thought and Action in Foreign Policy* / ed. by G.M. Bonham, M.J. Shapiro. Basel: Birkhauser Verlag, 1977. 189 p.
- Wagner C., Strohmaier M., Olteanu A.* et al. Measuring algorithmically infused societies. *Nature*. 2021. No. 595. P. 197–204. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03666-1>.
- Ward A.* People mistake the internet's knowledge for their own. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Oct 2021, 118 (43) e2105061118; DOI: 10.1073/pnas.2105061118.

COGNITIVE DIMENSION OF SECURITY

KIRILL KOKTYSH

ANNA RENARD-KOKTYSH

MGIMO–University, Moscow, 119454, Russia

Abstract

The article is devoted to the analysis of the algocognitive culture, the new reality that humanity has already entered, but remains far from being understood. Today we can speak about dissolution of the concept of privacy: almost all actions of a person, including his daily trips, his social circle and values it shares, his correspondence and purchases are automatically observed, and completely transparent to information corporations. The problem of fake news has become insurmountable: their appearance into the information cascade converts in an event immediately, making later investigations and refutations almost obsolete. A «culture of cancellation» has emerged, within which a priori there is no criteria for good and evil, where it has become possible to «delete» from the information circulation any arrays of knowledge that do not meet the requirements of the self-proclaimed «new ethics», and to ostracize people associated with them. The author compares the current state of affairs with the era of the dominance of sophists in ancient Greece, when the truth was determined depending on the conjuncture, and finds relevant parallels. In this context, the author formulates the concept of «cognitive vulnerability»: the new reality makes possible control of the masses of people, setting not only their consumer, but also political behavior. The author defines network reality as an alternative system of socialization, where the «network» ontology and values turn out to be more competitive than real ones, and therefore de facto displace them. The latter becomes possible due to a kind of «splitting» of the personality, when the emotional reaction is de facto separated from the real goal-oriented activity, and connected with the virtual reality. Ruling algorithms in social networks are aimed at achieving this goal: for an example author turns to recent investigation by The Wall Street Journal regarding Facebook: the MSI algorithm used by the latter provokes disputes and splits on every occasion. De facto, this leads to a situation where American information corporations are moving towards the new quality of the actual owner of sovereignty over the consciousness of the external societies. This challenge has already been met by China: since September 1, 2021, Beijing had nationalized algorithms, and handed control over them to the Communist Party. The author analyzes the steps taken by China and comes to the conclusion that in case of success China will become not only an economic, but also an ideological alternative to America, thereby making a bid to restore a bipolar world political system.

Keywords:

algocognitive culture; cognitive security; social networks; cancel culture; post truth; color revolutions.

References

- Abelson R. (1987). *Struktury ubezhdenij* [Structures of Persuasion]. In: Sergeev V.M., Parshin P.B. (eds.) *Yazyk i modelirovanie social'nogo vzaimodejstviya*. Moscow. P. 317–380.
- Akerlof G. (1994). *Rynok limonov: neopredelyennost' kachestva i rynochnyj mekhanizm* [The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism]. *Thesis*. No. 5. P. 91–104.
- Aristotle. (1978a). *O sofisticheskikh oproverzheniyakh* [On sophistic refutations]. In: Aristotle. *Sobranie sochinenij v 4 tomakh. Tom 2*. Moscow: Mysl. P. 535–593.
- Aristotle. (1978b). *Kategorii* [The Categories]. In: Aristotle. *Sobranie sochinenij v 4 tomakh. Tom 2*. Moscow: Mysl. P. 53–90.
- Arrighi G. (2006). *The long twentieth century: money, power, and the origins of our times*. Moscow: Territoriya budushchego. 472 p.
- Axelrod R. (ed.) (1976). *Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites*. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 404 p.
- Bonham G.M., Shapiro M.J. (eds.) (1977). *Thought and Action in Foreign Policy*. Basel: Birkhauser Verlag. 189 p.

- Chu J., Evans J. (2021). Slowed canonical progress in large fields of science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 118 (41) e2021636118; DOI: 10.1073/pnas.2021636118. URL: <https://www.pnas.org/content/118/41/e2021636118> (accessed: 05.04.2022).
- Fukuyama F. (2015). *Konets istorii i poslednij chelovek* [The End of History and the Last Man]. Moscow: AST: 259 p.
- Grigor'ev O. (2014). *Epokha rosta* [The Epoch of Growth]. Moscow: Kar'era Press. 448 p.
- Harrison J.E. (1913). *The religion of ancient Greece*. London. 66 p.
- Horkheimer M. (2011). *Zatmenie razuma* [The Eclipse of Reason]. Kanon+. 224 p.
- Jonsson C. (ed). (1982). *Cognitive Dynamics in International Politics*. London. 210 p.
- Koktysh K.E. (2019). Anglijskii kontsept svobody: opyt dekonstruktsii [The English concept of freedom: experience of deconstruction]. *Politiya*. No. 2 (93). P. 48–65. DOI: 10.30570/2078-5089-2019-93-2-48-65.
- Koktysh K.E. (2021a). Belorussiya: novaya geopoliticheskaya real'nost'? [Belarus: is it a new geopolitical reality?]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. No. 3. P. 91–110. DOI: 10.17976/jpps/2021.03.07.
- Koktysh K.E. (2021b). *Diskurs racionalizma, svobody i demokratii* [The discourse of rationalism, freedom and democracy]. Moscow: MGIMO-University. 320 p.
- Koktysh K.E. (2016a). Ontologiya ratsional'nogo (II) [Ontology of rationality (II)]. *Politiya*. No. 3 (82), 2016. P. 6–30. DOI: 10.30570/2078-5089-2016-82-3-6-30.
- Koktysh K.E. (2016b). Ontologiya ratsional'nogo (III). [Ontology of rationality (III)]. *Politiya*. No. 4 (83). P. 6–24. DOI: 10.30570/2078-5089-2016-83-4-6-24.
- Koktysh K.E. (2020). Sobytie svobody: opyt dekonstrukcii. [The event of liberty: experience of deconstruction]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*. No. 2. P. 21–36. DOI: 10.17976/jpps/2020.02.03
- Kruger J., Dunning D. (1999). Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 77. No. 6. P. 1121–1134. Doi:10.1037/0022-3514.77.6.1121. PMID 10626367.
- Lakoff G., Johnson M. (2004). *Metafori, kotorymi my zhivym* [Metaphors we live by]. Moscow: Editorial URSS. 256 p.
- Lavelock J. (with Appleyard B.) (2019). *Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence*. Allen Line. 160 p.
- Leites N. (1951). *Operational code of the politburo*. N.Y.: McGraw-Hill. 118 p.
- Lenin V.I. (1967). *Sobranie sochinenij v 55 tomakh. Tom 6* [Collection of works in 55 vol. Vol. 6]. Moscow. 619 p.
- Ortega y Gasset J. (2002). *Vostanie mass* [La rebelión de las masas]. Moscow: AST. 509 p.
- Plato. (1990). Protogor. In Plato. *Sochineniya v 4 tomakh. Tom 1*. Moscow: Mysl'. P. 418–476.
- Rathje S., Van Bavel J., Van der Linden S. (2021). Out-group animosity drives engagement on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 118 (26) e2024292118; DOI: 10.1073/pnas.2024292118.
- Sergeev V.M. (2013). *Narodovlastie na sluzhbe elit* [Democracy in the service of the elites]. Moscow: MGIMO-University. 265 p.
- Sergeev V.M., Alekseenkova E.S., Koktysh K.E., Kuz'min A.S., Sergeev K.V. (2009). *Prolegomeny k antropologii nashego vremeni* [Prolegomena to the anthropology crisis of our time] Moscow. 261 p.
- Sergeev V.M., Alekseenkova E.S., Koktysh K.E., Orlova A.S., Petrov K.E., Chimiris E.S. (2011). *Novoe prostranstvo mirovoj politiki: vzglyad iz SSHA* [The new dimension of world politics: a view from the USA]. Moscow: MGIMO-University. 134 p.
- Shrier A. (2021). *Irreversible Damage. The Transgender Craze Seducing Our Daughters*. Regnery Publishing. 276 p.
- Stieger M., Flückiger Ch., Dominik R., Kowatsch T., Roberts B., Allemand M. (2021). Changing personality traits with the help of a digital personality change intervention. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 118 (8). e2017548118. DOI: 10.1073/pnas.2017548118.
- Taleb N. (2014). *Antikhrupkost'. Kak izvlech vygodu iz khaosa* [Antifragility. How to benefit from chaos]. Moscow. 768 p.
- Taleb N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House: London: 366 p.
- Wagner C., Strohmaier M., Olteanu A. et al. (2021). Measuring algorithmically infused societies. *Nature*. Vol. 595. P. 197–204 DOI 10.1038/s41586-021-03666-1.
- Ward A. (2021). People mistake the internet's knowledge for their own. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 118 (43). DOI: 10.1073/pnas.2105061118.
- Žižek S. (2008). *Ustrojstvo razryva. Parallaxnoe videnie* [The Parallax View]. Moscow: Europe. 516 p.

КАТЕГОРИЯ «ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА» В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

ОЛЬГА РЕБРО
АНАСТАСИЯ ГЛАДЫШЕВА
МАКСИМ СУЧКОВ
АНДРЕЙ СУШЕНЦОВ
МГИМО МИД России, Москва, Россия

Резюме

Глобальная цифровая революция привела к трансформации технологического и экономического укладов, общественных отношений и самой философии жизни человека. Трансграничный характер цифровой среды обусловил возникновение новых, глобальных угроз и вывел на повестку дня вопросы функционирования государств в условиях новой цифровой реальности, границ между национальным и международным, правил взаимодействия в Интернете и понимания «суверенитета» государства в цифровую эпоху. Настоящее исследование направлено на концептуализацию понятия «цифровой суверенитет». Кроме того, в статье мы рассматриваем эволюцию двух конкурирующих взглядов на интернет-пространство и обозначаем пути обеспечения суверенитета в условиях тотальной цифровизации. «Цифровая вседозволенность» последних трёх десятилетий существенным образом стимулировала инновации, экономическое освоение новой среды и улучшение качества жизни населения. Вместе с тем она привела к размыванию регулирующей роли государства и усложнила выполнение такой ключевой функции, как обеспечение безопасности граждан. Сегодня перед государствами стоит непростая задача: найти эффективные механизмы обеспечения суверенитета в цифровом пространстве без ущерба для положительных аспектов цифровой революции, а также выработать оптимальную глобальную архитектуру, в рамках которой будет гарантировано равноправие и безопасность всех вовлечённых сторон. В современном мире сформировались несколько подходов к определению понятия «кибербезопасность» и вариантов интерпретации категории «суверенитета», что лишь усугубляет набирающее обороты межгосударственное противостояние. Таким образом, рассматриваемая в этой работе проблема актуальна как с теоретической, так и с практической точки зрения. Цифровой технологический суверенитет государства представляет собой не только основу «цифрового лидерства», но является также необходимым условием суверенитета политического и его национальной независимости. Выбор модели организации и управления киберпространством

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЗИСИ в рамках научного проекта №21-011-31278 «Компоненты лидерства в цифровой среде и стратегические приоритеты России».

Дата поступления рукописи в редакцию: 29.09.2021

Дата принятия к публикации: 29.11.2021

Для связи с авторами / Corresponding author:

Email: max.suchkov@gmail.com

в будущем будет оказывать существенное влияние на облик всей международной системы. В этой работе рассматриваются основные теоретические подходы к явлению «цифрового суверенитета»; анализируется эмпирический опыт ключевых государств и международных институтов, занятых разработкой этой проблематики, а также обосновывается необходимость создания двухуровневой системы управления глобальным киберпространством как оптимального для текущего этапа развития информационных технологий механизма разрешения проблемы цифрового суверенитета.

Ключевые слова:

цифровая среда; цифровой суверенитет; глобальное управление; цифровая конкуренция; стратегия; кибербезопасность; Россия; США; коллегиальное управление Интернетом.

Вступление мира в новый технологический уклад приводит к кардинальным трансформациям во всех сферах человеческой жизни. В то время как практическое проявление данных трансформаций мы наблюдаем в повседневности, их теоретическое осмысление пока значительно отстаёт. Сложность концептуализации происходящих изменений связана с их фундаментальным характером, отражающимся в таких наблюдениях, как «мир перестал быть человекомерным»¹ или «четырёхмерный человек» [Scott 2015]. Появление «нового измерения» или «новой реальности» обуславливает актуальность изучения меняющейся в условиях нарастающей цифровизации [Kissinger 2014; Hanelt et al. 2021; Verhoef et al. 2021] роли государства в международных отношениях, начальным прин-

ципом которых на протяжении веков выступал суверенитет.

Формирование нового технологического уклада, запущенное с появлением Интернета, до сих пор происходило под влиянием доминировавших в мире процессов глобализации². Если до середины 2010-х годов они представлялись безальтернативными, то в последующие годы динамика изменилась, что повлекло за собой переосмысление подходов к концептуализации цифрового пространства. Отсутствие государственного контроля стимулировало экономическое освоение новой среды и инновации, которые легли в основу технологий, качественно изменивших современную жизнь [Naughton 2016]. Вместе с тем она также привела к размыванию роли государства и осложнила выполнение такой ключевой

¹ «Мир перестал быть человекомерным». Татьяна Черниговская о проблемах развития искусственного интеллекта // Snob.ru. 26 февраля 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://snob.ru/entry/189353/> (дата обращения: 20.09.2021).

² Научное объяснение концепции технологических укладов как общественно-экономической формации происходило одновременно сразу в нескольких предметных областях, преимущественно в экономике и технологии производства (см.: Perez C. (2010). *Technological revolutions and technoeconomic paradigms*. Cambridge journal of economics, 34(1), 185–202; *Потеев А.Т.* Технологический уклад: методология оценки уровня технологического уклада отрасли / А.Т. Потеев, Т.С. Мешкова // Предприятия, отрасли и регионы: генезис, формирование, развитие и прогнозирование: Сб. научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции. Пермь, 31 марта 2017 года. Пермь: Научная общественная организация «Профессиональная наука», 2017. С. 161–169; *Ковальчук М.В.* Природоподобные технологии: новые возможности и новые вызовы / М.В. Ковальчук, О.С. Нарайкин, Е. Б. Яцишина // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 5. С. 455–465; *Косакян Н.Л.* Аддитивная технологическая совокупность 6-го технологического уклада / Н.Л. Косакян // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 1. № 2(110). С. 4–8; *Усков В.С.* Научно-технологическое развитие российской экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу / В.С. Усков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 1. С. 70–86 и др.), но также и в гуманитарной сфере (см.: *Золотарёва О.А.* Гуманитарно-технологическая революция: оценка состояния готовности перехода в новый технологический уклад / О.А. Золотарёва, Е.С. Дарда, А.В. Тихомирова // Вестник НГУЭУ. 2021. № 4. С. 55–66; *Harmakorpi V., Haikonen A., & Kauranen I.* (2003). *The Shift of Techno-Economic Paradigm and Its Effects on Regional Disparities*).

функции, как обеспечение безопасности граждан³ [Bierwisch et al. 2015; Rainie et al. 2017]. Сегодня перед государствами стоит непростая задача: найти эффективные механизмы обеспечения суверенитета в цифровом пространстве без ущерба для положительных аспектов цифровой революции. Решением этой задачи могло бы стать сочетание принципа коллегиальности, предполагающего привлечение национальных экспертов, общественных организаций и бизнеса при разработке национального законодательства и запуск равноправного межгосударственного диалога для определения универсальных принципов взаимодействия «суверенных интернет-пространств». Формирование нового технологического уклада, запущенное с появлением Интернета, привело к утверждению тезиса об отсутствии границ в цифровом пространстве, воспринимавшемуся как аксиома. В работе данная догма переформулирована в гипотезу, состоятельность которой авторы предлагают проверить через анализ национальных подходов к использованию понятия «цифровой суверенитет», трансформаций бытовых практик использования цифровых технологий, геополитического контекста распространения Интернета и дискуссий в международных институтах о выработке общих правил межгосударственного взаимодействия в цифровом пространстве.

Настоящая статья опирается на проведённый авторами анализ научной литературы и программных документов; при этом источники структурированы в соответствии со смысловым наполнением четырёх основ-

ных блоков. В первом даётся краткая характеристика современных подходов к определению цифрового суверенитета и выявляются препятствия на пути выработки единого определения. Второй и третий разделы рассматривают два конкурирующих подхода к осмыслению Интернета и киберпространства⁴. С одной стороны, выход за рамки осязаемой реальности и глубина происходящих в результате этого социально-политических изменений породили тезис об исключительности киберпространства, которая требует кардинально новых подходов к межгосударственному взаимодействию (раздел 2). С другой — по мере повсеместного распространения Интернета, под влиянием бытовых практик жизнедеятельности человека, в большинстве своём имеющих географическую привязку, изменились и механизмы его использования, что привело к естественному появлению границ в цифровом пространстве (раздел 3). В завершающей части статьи разбираются вызовы суверенитету, характерные для цифрового пространства, с учётом двойственной природы категории «суверенитета»: как независимости государства от внешнего вмешательства и как монопольной власти на определение принципов внутреннего устройства [Jackson 1990].

Фундаментальность поставленной проблемы предполагает использование широкого набора методов. Понятие «цифровой суверенитет» рассматривается через призму конструктивистских подходов и фокусируется на различии существующих интерпретаций в зависимости от культурно-исторических традиций. Рассмотрение

³ Проблема обеспечения безопасности граждан в новую технологическую эру заботит не только исследователей и самих граждан, но также и правительства ведущих государств мира. Спектр угроз приводимых последними при этом широкий, как и само понятие «безопасность»: от расширения возможностей террористов проводить вербовку и координировать свою деятельность через социальные сети и финансирования нелегальных организаций через криптовалютные механизмы до похищения хакерами денег с личных счетов граждан и «зловредного» (malign) — в разных смыслах — контента в Интернете, доступ к которому, в частности, у детей теперь свободнее, чем прежде. Подробнее см.: (National Security Through Technology: Technology, Equipment, and Support for UK Defence and Security // UK Ministry of Defence. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27390/cm8278.pdf (дата обращения: 20.09.2021)).

⁴ В настоящей работе понятия «цифровая среда», «киберпространство» и «интернет-пространство» используются как взаимозаменяемые.

каждого из двух подходов к осмыслению цифрового пространства построено по хронологическому принципу. Методология исследования включает использование методов сравнения на основе логико-интуитивного подхода с опорой на ряд страновых доктринальных документов и документов, затрагивающих вопросы правоприменительной практики в цифровой среде. Для достижения поставленной цели был дополнительно применён метод экспертных оценок⁵, который позволил определить степень адекватности и применимости первичных гипотез авторов исследования. Последняя часть также опирается на изучение отдельных случаев (case study) для иллюстрации вызовов, стоящих перед государствами, и содержит анализ практик, используемых правительствами и уполномоченными властными органами ряда стран для разрешения проблемы регулирования цифровой среды.

Понятие «суверенитет» в цифровом пространстве

Понятие «цифровой суверенитет» прочно вошло в современный политический лексикон. Несмотря на широкое признание значимости цифрового суверенитета для функционирования современного государства, не сформировано единого подхода к определению его содержания [Никонов и др. 2021], а сам термин обладает свойством «риторической перформативности»⁶ [Кутюр, Тоупин 2020]. С одной стороны, трудности выработки единого подхода связаны с невозможностью применения традиционных инструментов, использовавшихся до сих пор для определения суверенитета: цифровое пространство не имеет географических характеристик и

в нём одновременно «соприкасаются» все государства, то есть в нём происходит бесконечная коллизия всех национальных правовых пространств одновременно. С другой — они обусловлены возрастающим влиянием цифровизации на все сферы социально-политической и экономической жизни государства. В отсутствие универсального подхода термин «цифровой суверенитет» наполняется смыслом, наиболее соответствующим традициям и национальным приоритетам различных государств. В этой связи обеспечение независимости в научных разработках, определении стандартов, безопасности физической инфраструктуры связи относится к понятию «технологический суверенитет», привлёкшему внимание исследователей ещё до распространения Интернета [Globerman 1978, Grant 1983]. Столь же повсеместно интерес исследователей привлекает силовой компонент или защита государств в информационной среде — кибербезопасность [Tikk, Kerttunen 2020].

При этом вычлениются различные акценты в понимании цифрового суверенитета в зависимости от культурно-исторических традиций отдельных регионов. Право на защиту персональных данных, собираемых и обрабатываемых с помощью цифровых технологий, определяется как «суверенитет личности в цифровом пространстве» и особенно часто упоминается применительно к дискурсу Европейского Союза [Floridi 2020; Pohle, Thiel 2020]. С подачи Пекина в оборот было введено понятие «интернет-суверенитет» — права государства устанавливать собственные правила функционирования интернет-пространства, отвечающие национальным интересам и традициям [Jiang 2010; Shen 2016].

⁵ Экспертный опрос проводился для целей настоящего исследования через Интернет в период с 15 июля до 20 августа. Участие в опросе приняли представители 5 ведущих профильных школ (преимущественно специализированные консалтинговые агентства и исследовательские университеты), которым было предложено ответить на 6 тематических вопросов о категории «цифрового суверенитета» и практиках регулирования цифровой среды.

⁶ То есть его использование обусловлено не объективным содержанием понятия, но субъективными задачами говорящего: если стратегическая задача государства — защита прав человека, то термин интерпретируется через призму «суверенитета личности», если защита от внешнего нападения — через призму кибербезопасности и суверенитета технологий и др.

В российских исследованиях значительное внимание уделяется «информационно-му суверенитету» [Ромашкина 2019; Виноградова, Полякова 2021]. При этом отличительной особенностью подхода России в международной дискуссии о цифровой среде является более широкое, чем у её контрагентов, восприятие цифровых угроз и рисков. Наряду с постулированием информационного суверенитета Россия предпочитает термин «информационная безопасность» (information security) устоявшемуся в англоязычном дискурсе понятию «кибербезопасность» (cybersecurity). Принципиальное отличие заключается в том, что информационная безопасность включает в себя не только практику защиты соответствующей инфраструктуры, технологий и данных, но также и регулирование международных информационных потоков и интернет-контента [Батуева 2014; Шариков 2018; Макарычева 2015]. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 г. определяет, среди прочего, в качестве угроз «информационное воздействие, направленное на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «применение информационных технологий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, политической и социальной стабильности» государства⁷. Аналогичный подход Россия использует при отстаивании своего видения проблемы цифровой безопасности на международной арене. Пример тому даёт выдвинутый в рамках ООН про-

ект Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности⁸. Столь широкий подход Москвы к определению явления «цифровой безопасности» и «цифрового суверенитета» вызывает опасения других участников международного диалога⁹. Концептуальные различия между понятиями «кибербезопасность» и «информационная безопасность», с учётом различий в интерпретации, объясняют критику ряда государств по отношению к российским инициативам и действиям российского правительства по регулированию внутренней цифровой среды [Kozzak 2021].

На фоне сохраняющегося многообразия взглядов выделяются подходы, представляющие цифровой суверенитет не как статичный конструкт, но как продукт постоянного переосмысления в ходе взаимодействия государства и цифрового общества. В России, например, группа исследователей Московского государственного университета определила цифровой суверенитет как «эмерджентное свойство современного государства как сложной системы», возникающее в результате «сочетания технологических возможностей государства (цифровые технологии и цифровая инфраструктура) и цифровых компетенций, способностей и навыков его граждан, организаций, институтов в сфере использования цифровых ресурсов» [Володенков и др. 2021]. Эксперты из Германии отрицают возможность строгой детерминации понятия «цифровой суверенитет» с последующим законодательным закреплением норм и правил его реализа-

⁷ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612060002.pdf> (дата обращения: 20.09.2021).

⁸ Convention on International Information Security. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2011. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCkBBZ29/content/id/191666 (дата обращения: 20.09.2021).

⁹ В качестве примера можно привести принятие ГА ООН российской резолюции «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», в ходе голосования по которой против высказались США и страны ЕС. Российская резолюция стала альтернативой продвигавшейся до этого момента западными странами Будапештской конвенции Совета Европы в качестве ключевого инструмента противодействия преступности с использованием информационных технологий. Россия не присоединилась к Будапештской конвенции, так как согласно статье 32 данного документа в целях противодействия киберпреступности государства-участники получают возможность «трансграничного доступа к компьютерным данным», что с российской точки зрения противоречит принципу государственного суверенитета.

ции, равно как и необходимость подобного закрепления, и в этой связи руководствуются тезисом о необходимости выработки адекватных моделей взаимодействия государств и акторов в цифровой среде — удобной и приемлемой для всех вовлечённых сторон [Pohle, Thiel 2020].

Сложности в выработке единого подхода при осмыслении государства в цифровом пространстве связаны с характеристиками самой среды.

Во-первых, впервые новое пространство межгосударственных взаимодействий появилось не в результате получения человеком возможностей по его освоению, а было создано самим человеком [Касенова, Демидов 2013]. В отличие от морской, воздушной и космической среды цифровое пространство не статично, но развивается вместе с технологическим прогрессом и под влиянием социально-экономических и политических процессов.

Во-вторых, привычные социально-политические процессы происходят в нём по другим законам [Choucri 2012]. В киберпространстве информация распространяется мгновенно, географические и физические преграды отсутствуют, равно как не существуют такие политические конструкторы, как юрисдикции и государственные границы. Субъектами в нём выступают не физические люди, а их «цифровые аналоги» или «цифровые личности» [Vesali Naesh 2016], логика взаимодействия которых, в условиях сложности атрибуции действий и привлечения к ответственности за совершённое, отличается от реального мира. Это, в свою очередь, снижает барьеры для политического участия, а также ломает привычную иерархию, уравнивая индивидов, компа-

нии, общественные организации, неформальные группы и государственные институты. Если предыдущее освоение новых сред сопровождалось адаптацией существующих принципов взаимодействия под новые условия, то создание кардинально нового пространства увеличило соблазн переосмысления данных принципов.

В-третьих, цифровая среда — это относительно новое явление. Появившаяся и получившая широкое распространение только в последние тридцать лет, она развивалась в регулятивной среде, где доминировали идеи экономического либерализма и глобализации, а правила устанавливала единственная сверхдержава — Соединённые Штаты. В этом плане показательным, что в США понятие «цифровой суверенитет» зачастую имеет негативную коннотацию [Кутюр, Тоупин 2020] и ассоциируется с авторитаризмом¹⁰, даже несмотря на то, что необходимость регулирования цифрового пространства начали осознавать и американские законодатели¹¹. С этой точки зрения подходы к осмыслению проблематики цифрового суверенитета нельзя рассматривать в отрыве от процессов мирового развития, где попытки стран заявить о своей независимости в интернет-среде выражают отказ от легитимизации американской гегемонии [Mainwaring 2020].

От киберисключительности к коллегиальному управлению Интернетом

Трансформации социальных взаимодействий, вызванных появлением Интернета, стимулировали спекуляции о появлении качественно новой среды, существующей по особым законам. Наиболее ярко тезис киберисключительности¹² был заявлен

¹⁰ Knake R.K. The Beginning of the End of the Open Internet Era // Council on Foreign Relations. January 6, 2020. URL: <https://www.cfr.org/blog/2019-beginning-end-open-internet-era> (дата обращения: 20.09.2021).

¹¹ Bartz D. Breaking up Big Tech in focus as new U.S. antitrust bills introduced // Reuters. June 11, 2021. URL: <https://www.reuters.com/technology/us-house-lawmakers-introduce-bipartisan-bills-target-big-tech-2021-06-11/> (дата обращения: 20.09.2021).

¹² Термин «киберисключительность» широко используется в научной литературе и исследованиях по тематике киберпространства. В данной статье авторы рассматривают его в увязке с проблемой цифрового суверенитета. Соответственно, под киберисключительностью подразумевается подход, отрицающий право государств на установление порядка в цифровом пространстве.

в Декларации независимости киберпространства, выдвинутой Джоном Барлоу в 1996 году. Документ призвал лидеров индустриального мира «оставить в покое» новое «глобальное социальное пространство», в котором нет суверенитета и авторитетов, а у государств «нет ни морального права, ни методов для принуждения»¹³. Эта идея получила широкое распространение среди теоретиков международного права, указавших, что применение национального законодательства к «внегеографическим» действиям либо не имеет смысла, либо ведёт к бесконечному количеству правовых коллизий [Hardy 1994; Johnson and Post 1996]. Исследователями-международниками новая среда трактовалась как ещё одно проявление процессов глобализации, ускоряющее уже наметившееся размывание суверенитета, укрепление неправительственных институтов и актуализацию запроса на межгосударственное взаимодействие [Perritt 1998; Scholte 2000].

Постепенно идея киберисключительности, отказывавшая государствам в праве установления порядков в цифровом пространстве, трансформировалась в менее конфронтационный подход коллегиального управления Интернетом (multi-stakeholder internet governance). Он предполагал развитие регулирования на базе международного форума, где «государства, частный сектор и гражданское общество» выступали бы на равных¹⁴. При этом концепция коллегиального управления Интернетом

основывалась на тезисе об особом характере цифрового пространства, в котором ни один игрок не обладает монополией на установление правил [Doria 2013]. Тем не менее история становления основных институтов, воплощающих эту коллегиальность — Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), Инженерного совета Интернета (IETF) и Форума по управлению Интернетом (IGF) — представляет собой скорее «медленную и молчаливую капитуляцию международного режима» перед «глобальным управлением», правила которого устанавливались единственной на тот момент сверхдержавой [Hill 2014].

По мере коммерциализации Интернета в первой половине 1990-х годов контроль над реестром доменных адресов, прежде реализуемый разработчиками-сотрудниками Стэнфордского исследовательского института, консолидировался в руках субподрядчика Пентагона и перешел к Networks Solution (NSI), позже приобретенной Science Application International Corporation [Mueller 2009]¹⁵.

Не желая допускать превращение Интернета из общественного блага в инструмент государственной власти и способ обогащения корпораций, техническая элита сформировала движение за независимое управление Интернетом с планами создания соответствующего международного органа со штаб-квартирой в Швейцарии¹⁶. Администрация Уильяма Клинтона опасалась,

¹³ Barlow J.P. A Declaration of the Independence of Cyberspace // Duke Law & Technology Review. 2019. No. 5(7). URL: <https://www EFF.org/cyberspace-independence> (accessed: 20.09.2021).

¹⁴ Report of the Working Group on Internet Governance. Château de Bossey: Working Group on Internet Governance. 2005. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf> (accessed: 20.09.2021).

¹⁵ 'The cooperative agreement between the National Science Foundation and Network Solutions (NSI) for registration services was concluded just months before the Web's sudden transformation of domain names. Neither party to the transaction had any idea of what was in store for them... NSF held consultative discussions on charging for domain names, and an expert advisory panel brought in to evaluate the performance of the InterNIC contractors concluded in a December 1994 report that Network Solutions should "begin charging for .COM domain name registrations, and later charge for name registrations in all domains". Shortly after the decision to charge was made, a multibillion-dollar Washington-area defense contractor, Science Applications International Corporation (SAIC), purchased Network Solutions'.

¹⁶ В 1997 г. по инициативе Общества Интернета была создана международная рабочая группа Международный чрезвычайный комитет (International Ad Hoc Committee — IAHC), куда была приглашена технологическая элита (ключевая фигура — Джон Постел), заинтересованные международные

что привлечённые к этому процессу международные организации, такие как Международный союз электросвязи, пойдут по пути ограничения свободы экономической деятельности, и в 1997–1998 годах Вашингтон фактически пресёк такие попытки, в том числе посредством прямых угроз лишения финансирования и уголовного преследования лидеру движения — Джону Постелу [Goldsmith, Wu 2006]. Подавив мятеж Дж. Постела в январе 1998 года, американская администрация пошла на создание ICANN. Формально коллегиальная и неправительственная корпорация по сей день находится в Калифорнии и подчиняется законодательству США. Хотя правительство Соединённых Штатов подчёркивает независимость организации, Вашингтон «имеет многочисленные каналы доступа и давления» и «выступает посредником между разрозненными интересами» участников управления Интернетом с целью «сокращения политических противоречий и недопущения передачи слишком большого контроля международным органам» [Mueller 2002].

Таким образом, чтобы закрепить либерально-экономические принципы при регулировании Интернета — что предполагает минимальный контроль со стороны государства, — власти США взяли на себя роль «гаранта свободы» цифрового пространства, фактически превратив коллегиальное управление Интернетом в один из институтов собственного мирового лидерства.

Впоследствии предпринимались неоднократные попытки вернуться к по-настоящему международному коллегиальному управлению. Например, в ходе тунисского этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного обще-

ства (WSIS) в 2005 г. ряд государств выступили с инициативой увеличения интернационализации на межправительственной основе посредством создания международной платформы для разработки общих принципов, обязательных для ICANN. Эта инициатива не получила широкой поддержки из-за оппозиции США. В результате созданный по результатам тунисского процесса в рамках ООН Форум по управлению Интернетом (IGF) не получил мандата на принятие обязательных к исполнению документов [Касенова, Демидов 2013].

Следующая серьёзная попытка реформы коллегиального управления была предпринята после разоблачений Эдварда Сноудена. Выступая на созванной по этому поводу конференции NETmundial в апреле 2014 года, президент принимающей страны Бразилии Дилма Русефф призвала уравнять все государства с тем, чтобы «ни одна страна не имела большего влияния по сравнению с другими»¹⁷. Хотя существенных реформ не последовало, этот призыв дал толчок для множественных национальных инициатив по регулированию Интернета.

Коллегиальное управление Интернетом по-прежнему является центральным принципом международных инициатив. Запущенный в 2019 г. процесс ООН по реформе текущей архитектуры управления Интернетом учитывает распространённую в экспертной среде критику [Carr 2015] и предлагает три варианта реформы: (a) IGF Plus: совершенствование Форума по управлению Интернетом за счёт увеличения представительства и большей интеграции в систему ООН; (b) распределённая архитектура управления: при централизации выработки единых норм их практическая реализация

организации (Всемирная организация интеллектуальной собственности, Международная ассоциация товарных знаков, а позже присоединился Международный союз электросвязи), представители американского правительства (им стал Джордж Строн из Национального научного фонда США) с целью разработки меморандума об управлении доменными адресами, который бы ограничил закрепившуюся к тому времени монополию Network Solutions.

¹⁷ Dilma Rouseff, Speech opening the NETmundial meeting in Brazil on 23 April 2014, pp. 7–8. [Электронный ресурс]. URL: <https://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETMundial-23April2014-Dilma-Rousseff-Opening-Speech-en.pdf> (accessed: 20.09.2021).

и надзорные функции передаются национальным правительствам; и (с) архитектура общего цифрового пространства: распределение цифровой повестки между существующими организациями ООН и координация их деятельности на регулярной основе¹⁸.

Ориентация на привлечение экспертов, частных компаний и общественных организаций для определения правил функционирования цифрового пространства небезосновательна, учитывая техническую сложность и тотальное влияние цифровизации на все сферы человеческой жизни [Kello 2017]. Тем не менее делегирование отдельных направлений управления этой средой негосударственным игрокам должно быть осознанным решением правительств, в противном случае происходит ошибочное пренебрежение ролью государства. Это стимулирует обратный процесс: для реализации стратегических интересов государство начинает использовать имеющиеся у него инструменты национального регулирования и искать наиболее удобные форматы международного взаимодействия, что в итоге ведёт к дроблению единого интернет-пространства [Drezner 2004].

От киберобыденности к национальному регулированию¹⁹

Хотя идея киберисключительности по-прежнему обладает существенным весом в экспертной литературе [Mueller 2019; Bremmer 2021], с конца 1990-х годов последовательно утверждается альтернативный взгляд на цифровое пространство как очередной этап развития информационно-коммуникационных технологий: «подобно телефону, телеграфу, дымовым сигналам, Интернет является инструментом, с помощью которого реальные люди в определённом правовом пространстве общаются

с другими реальными людьми в другом правовом пространстве» [Goldsmith 1998]. При этом кибероружие, принуждая государства к изменению тактики войны и поиску ответа на новые вызовы, не привело к перераспределению баланса сил в мире и дополнило, но не заменило традиционную военную мощь [Kello 2017; Suchkov 2021]. Анархия цифровой среды в первой половине 1990-х годов в рамках этого подхода воспринимается как временное явление, вызванное инерционным характером государственного управления, которое только во второй половине десятилетия всерьёз озабочилось регулированием цифрового пространства [Wu 1997].

Со временем аргументы в пользу второй точки зрения добавила сама логика трансформации интернет-практик: частные компании-лидеры цифровой индустрии сами, без государственного вмешательства, пришли к необходимости локализации своей деятельности [Goldsmith, Wu 2006].

На ранних этапах развития Интернет использовал ограниченный круг людей по всему миру для коммуникации друг с другом. Он действительно стирал государственные границы и сокращал расстояния внутри этой узкой группы. По мере превращения глобальной сети в объект обыденной жизни и роста числа пользователей, бытовые нужды которых имеют географическую привязку, начала происходить и локализация интернет-услуг. На сайтах появились опции выбора языка, а указав географическое место, пользователь получал возможность посмотреть актуальный прогноз погоды, курсы обмена валюты его страны, адаптированные под конкретный регион новостные ленты. Эта тенденция проявилась и в языковой диверсификации Интернета. Если в конце 1990-х годов 80% размещённых материалов были на англий-

¹⁸ The Age of Digital Interdependence. Report of the UN Secretary-General's High-level Panel on Digital Cooperation. 2019. P. 24–26. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for%20web.pdf> (accessed: 20.09.2020).

¹⁹ Термин «киберобыденность» в данном контексте используется как антоним концепции «киберисключительности». Если последняя предполагает отсутствие у государств права установления порядка в цифровом пространстве ввиду «исключительного» характера данного пространства, то «киберобыденность» рассматривает цифровую среду как сферу, подверженную регулированию.

ском²⁰, то в 2002 г. этот показатель опустился ниже 50% [Crystal 2004]. В 2020 г. английский был родным только для 25,9% пользователей, а по распространённости его почти догнал китайский (19,4%)²¹. К тому же исследования географии интернет-трафика ещё в начале 2000-х показывали обратную зависимость плотности информационных обменов от расстояния, а также их концентрацию вокруг урбанистических центров [Goodchild 2001].

Аналогичная динамика наблюдается во всех новых отраслях цифровой экономики. Интернет-торговля, позиционируемая как возможность покупать товары у производителя в любой части света, эволюционировала в сторону размещения складов вблизи потребителей, что отчётливо демонстрирует эволюция стратегии компании Amazon²². Бизнес-логика телекоммуникационных компаний стимулирует инвестиции в регионы с большей концентрацией потребителей, что, в свою очередь, привлекает в мегаполисы предприятия, функционирование которых напрямую зависит от стабильности подключения и скорости передачи данных. То есть качество подключения также имеет географическую привязку. Рост таргетированной рекламы как способа монетизации интернет-платформ стимулировал развитие технологии определения геолокации, и современные интернет-сайты автоматически выдают контент в зависимости от расположения пользователя.

Такая нормализация и географическая привязанность Интернета позволяет использовать уже разработанные принципы международного регулирования экономи-

ческой деятельности и борьбы с преступностью в цифровом пространстве. Например, отталкиваясь от опыта борьбы национальных государств с контрафактной продукцией, Дж. Голдсмит и Т. Ву отмечают, что, подобно цепочке сбыта такого товара, состоящей из производителя подделки, продавца и потребителя, использование Интернета также можно разделить на «источник» (функционирующий в соответствии с международными нормами, а значит, наднациональный), «посредника» (компании, предоставляющие услуги связи, а также транснациональные интернет-платформы и технологические гиганты) и «потребителя» (конкретных людей, привязанных к территории и правовому полю конкретного государства). В то время как государство может в теории таргетировать все три элемента, на практике борьба с производителем (источником) и потребителем, с одной стороны, слишком ресурсоёмка, с другой — юридически спорна. В таких условиях наиболее эффективным методом является ограничение деятельности посредников [Goldsmith, Wu 2006].

В случае с Интернетом посредников можно разделить на два типа: глобальные и национальные. Последние уже вынуждены подчиняться национальному регулированию. В частности, именно на это был направлен так называемый закон «о суверенном Интернете» 2019 г. в России, предписывающий операторам связи установить специальные устройства для маршрутизации интернет-трафика²³. С первыми ситуация обстоит несколько сложнее. Учитывая трансграничный характер интернет-среды, цифровой продукт транснациональной

²⁰ Wallraff B. What Global Language? // The Atlantic. November 2000. URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2000/11/what-global-language/378425/> (accessed: 20.09.2021).

²¹ Internet World Users by Language. Internet World Stats. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.internetworldstats.com/stats7.htm> (accessed: 20.09.2021).

²² Leonard M. 5 Charts Show Amazon's Growing Logistics Network as It Puts Inventory Closer to Consumers // Supply Chain Dive. August 2, 2021. URL: <https://www.supplychaindive.com/news/amazon-ecommerce-warehouse-fulfillment-capital-investment/603731/> (accessed: 20.09.2021).

²³ Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2019/05/07/fz90-dok.html> (дата обращения: 20.09.2021).

компания становится объектом регулирования всех стран одновременно. Чтобы избежать возможных юридических осложнений, у корпорации есть два варианта действий: либо выполнять все требования — что отразится на качестве продукта, — либо использовать технологии геолокализации и диверсифицировать выпускаемый продукт, исходя из норм конкретного рынка.

Последние пятнадцать лет показали практическое развитие Интернета именно во втором направлении. Twitter в Пакистане модерирует контент в соответствии с местными обычаями, а Microsoft, имеющий офис в Марокко, в своих местных материалах и продуктах отмечает территорию Западной Сахары в соответствии с нормами Рабата, в то время как Google, не имеющий такого офиса, — как спорную²⁴. Западные интернет-компании, голливудские продюсеры и даже Национальная баскетбольная лига оказались перед выбором: потерять доступ к прибыльному китайскому рынку или выполнять устанавливаемые государством требования²⁵.

Хотя каждый из этих случаев вызывает критику на Западе, а любые новые попытки обязать интернет-платформы действовать по национальным законам получают клеймо «авторитарных», практическая логика превращения Интернета в инструмент повседневной жизни предопределяет и трансформацию ИТ-гигантов из определителей правил Интернета в обычные ТНК, тщательно соблюдающие национальные нормы и традиции. Таким образом, Интернет и цифровые технологии действительно создают новое пространство, обладающее специфическими характеристиками. Вместе с тем оно естественным образом адаптируется под бытовые нужды человека, имеющие локаль-

ную привязку. В таких условиях речь идёт не столько об «умирании» государственного суверенитета, сколько о необходимости поиска инструментов обеспечения суверенитета в новых — цифровых — условиях.

Два уровня цифрового суверенитета

При всём многообразии подходов к концептуализации понятия «суверенитет», в его основе лежит необходимость определения правил поведения на международной арене, для чего происходит отделение «внешнего» от «внутреннего». Подобно правилам общественного поведения, согласно которым свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого, суверенитет государства можно разделить на «негативный» (свобода *от* внешнего вмешательства) и «позитивный» (свобода *на* самостоятельное определение внутреннего устройства) [Jackson 1990].

По мере того как повседневное использование Интернета увеличивает географическую обусловленность процессов в цифровом пространстве, фундаментальные особенности этой среды формируют комплекс новых проблем для обеспечения государственного суверенитета в обоих аспектах. Сложность обеспечения «негативного» суверенитета в цифровой среде связана с появлением новых киберинструментов внешнего вмешательства, расширением каналов проникновения и сложностью атрибуции вредоносных действий.

Наиболее уязвима для внешнего вмешательства критическая информационная инфраструктура, что отражено в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, ставящей обеспечение бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры на второе

²⁴ York J.C. The Myth of a Borderless Internet // The Atlantic. June 3, 2015. URL: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/06/the-myth-of-a-borderless-internet/394670/> (accessed: 20.09.2021).

²⁵ См.: McMahon R. Bennett I. U.S. Internet Providers and the 'Great Firewall of China'. URL: <https://www.cfr.org/background/us-internet-providers-and-great-firewall-china> (accessed: 20.09.2021); Davis D.W. Modern Chinese Literature and Culture. Vol. 26. No. 1 (Spring, 2014). P. 191–241 (51 pages); Perper R. China and the NBA are coming to blows over a pro-Hong Kong tweet. Here's why. URL: <https://www.businessinsider.com/nba-china-feud-timeline-daryl-morey-tweet-hong-kong-protests-2019-10> (accessed: 20.09.2021).

место в перечне интересов²⁶. Повсеместное проникновение в повседневную жизнь цифровых технологий, с одной стороны, повышает важность информационной системы для всех аспектов государственного развития, с другой — делает объектами информационной инфраструктуры практически всё. В результате увеличивается число точек входа в системы, обеспечивающие безопасность, экономическую деятельность и обмен информацией в цифровом пространстве, а следовательно, её уязвимость.

Сегодня в мире насчитывается более 21 млрд подключённых к Интернету устройств. Ожидается увеличение данного показателя к 2025 г. в два раза. В то время как только в 2019 г. количество киберпреступлений с помощью таких устройств выросло на 300%, их раскрываемость в США остаётся на уровне 0,05%, а, по прогнозам компании Cybersecurity Ventures, потери от киберпреступлений в 2021 г. должны были достичь 6 трлн долларов, что сопоставимо с размерами третьей экономики мира²⁷.

Рост числа субъектов цифрового пространства увеличивает многообразие мотивов их поведения. Если киберпреступники не только не скрывают, но иногда, как, например, в случае с кибератакой на американский трубопровод *Colonial Pipeline*, специально подчёркивают цель незаконного обогащения²⁸, то цифровизация социально-экономических отношений и подмена физических субъектов их цифровыми аналогами создаёт серую зону для манипуляции как в политических целях, так и для получения выгоды. Ярким примером является вопрос так называемого российского

вмешательства в американские выборы. В то время как с 2016 г. различные политические силы в США эксплуатировали тему предполагаемого подрыва Россией американской демократии, отдельные исследования указывали, что использование горячих информационных поводов выступает типичным способом заработка на количестве «переходов по ссылке» (clickbait capitalism) [Howard 2018].

Данный пример иллюстрирует важность вопроса атрибуции для межгосударственных отношений. Современные технологии пока не позволяют точно определить источник киберинцидента: даже в случае уверенности в местоположении конкретного исполнителя невозможно сказать, действовал ли он самостоятельно или по заданию государственных служб, преследовал ли цель незаконного обогащения или проводил научный эксперимент, или вовсе инцидент был устроен специально таким образом, чтобы подставить какую-либо страну и спровоцировать эскалацию конфликта в отношениях.

В мировой практике имеется опыт предотвращения подобных ситуаций посредством создания компетентных экспертных институтов, способных проводить беспристрастное расследование и устанавливать факты произошедшего. Однако технологии цифровой судебной экспертизы не дают гарантии беспристрастности оценки полученных улик, а сами международные организации, занимающиеся расследованиями и установлением фактов, как показывает пример Организации по запрещению химического оружия²⁹, могут подвергаться политическому давлению.

²⁶ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612060002.pdf> (дата обращения: 20.09.2021).

²⁷ The Global Risks Report 2020. World Economic Forum. P. 63. [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf (accessed: 20.09.2021).

²⁸ Menn J., Satter R. Pipeline hackers say their aim is cash, not chaos // Reuters. May 10, 2021. URL: <https://www.reuters.com/business/energy/statement-suspected-us-pipeline-hackers-say-they-dont-want-cause-problems-2021-05-10/> (accessed: 20.09.2021).

²⁹ См.: Постпред РФ: ОЗХО превращается в инструмент политического давления на неугодные страны // ТАСС. URL: <https://tass.ru/politika/11223473> (дата обращения 20.09.2021); Chemical weapons watchdog defends Syria report after leaks // The Guardian. URL: <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/chemical-weapons-watchdog-opcw-defends-syria-report-after-leaks> (accessed: 20.09.2021).

Не меньше проблем возникает в установлении «позитивного» цифрового суверенитета при определении правил регулирования киберпространства внутри страны. Возрастающая цифровизация ведёт к росту накапливаемых данных, которые можно разделить на две категории: персональные данные и большие данные [Nadkarni, Prügl 2021]. В то время как не существует единых международных стандартов в области обращения с такими сведениями, страны идут опытным путём, опираясь на устоявшиеся культурные и экономические практики. Например, в США и личные данные, и большие данные активно используются в коммерческих и политических целях, а компании фактически вынуждают пользователей под угрозой непредоставления услуг давать на это разрешение. Не в коммерческих, но в политических целях массовый сбор персональных данных происходит в Китае, где существуют строгие нормы деанонимизации пользователей в Интернете. В ЕС, напротив, был создан крайне рестриктивный режим. Действующий с 2018 года «Общий регламент защиты персональных данных»³⁰ ограничивает возможности компаний по сбору информации, запрещает длительное хранение данных, а также предполагает «право на забвение».

Увеличение объёмов данных, предоставляемых сознательно или в виде так называемого цифрового следа³¹, и сокращение свободы в Интернете в результате регулирования цифровой среды неизбежны. В условиях повсеместной цифровизации избежать предоставления данных можно только при отказе от использования новых технологий и цифровых продуктов, а значит, и от получаемого благодаря им повышения производительности

труда и удобств быта. При этом поддерживать безопасность населения (одна из ключевых функций государства) невозможно без ограничения «цифровой вседозволенности»³². Как металлоискатели в аэропортах и при входе на массовые мероприятия стали привычной практикой во многих странах, так же общество будет вынуждено принять новую реальность. Вместе с тем государства стоят перед необходимостью поиска правильного баланса между обеспечением безопасности, защитой прав граждан и эффективным использованием цифровых технологий для экономического развития. Ключом к такому балансу может стать создание атмосферы доверия в цифровой среде.

Показательным в этом плане может быть пример Эстонии, где в систему электронного правительства встроен принцип деанонимизации факта использования данных. Доступ к персональным данным открыт для компетентных государственных служб и компаний, но каждый факт обращения к реестрам фиксируется, и гражданин может проверить, кто и для каких целей использовал его персональную информацию. Эта система гарантирует прозрачность и саморегулирование цифровой среды без ущерба для экономики: граждане, имея возможность контролировать использование своих данных, более склонны их предоставлять, а государственные учреждения и компании более осмотрительны в их использовании [Priisalu, Ottis 2017].

Таким образом, обеспечение цифрового суверенитета должно быть направлено на решение одновременно двух задач: обеспечение безопасности от внешнего вмешательства при создании сбалансированной системы регулирования социально-экономических отношений в киберпространстве.

³⁰ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> (accessed: 20.09.2021).

³¹ Цифровой след — это уникальный набор действий в Интернете или на цифровых устройствах.

³² Под «цифровой вседозволенностью» подразумевается отсутствие государственного контроля в цифровом пространстве.

Последнее невозможно обеспечить без участия неправительственных субъектов, то есть коллегиального управления Интернетом. При этом привлечение иностранных игроков фактически означает передачу части суверенитета. В то время как в мире имеются примеры успешного функционирования государств в условиях частичного отказа от самостоятельности (Япония, Германия), в России под влиянием богатого опыта международных конфликтов сложилось устойчивое и, на наш взгляд, небезосновательное убеждение³³, что передача даже части элементов суверенитета может подорвать выживаемость страны. В этом плане можно ожидать, что дорожащие суверенитетом державы предпочтут разделять коллегиальное управление с национальными негосударственными субъектами, а значит, может сложиться двухуровневая структура: коллегиальное управление внутри страны и взаимодействие суверенных цифровых пространств на международной арене.

Подчёркнуто самостоятельная внешняя политика России вызывает неприятие у большинства западных стран, но в целом укрепила позиции страны в качестве ответственного и надёжного участника мировой политики. Эта репутация может служить заделом для лидерства Москвы в вопросах формирования международной архитектуры управления цифровым пространством. Россия в последние годы активно участвует в работе ряда международных структур, где происходит выработка новых моделей регулирования цифровой среды. Российский вклад в этой области связан с тремя ключевыми направлениями: инициированием Конвенции об обеспечении между-

народной информационной безопасности³⁴, обновлённый вариант которой был представлен в июне 2021 года; участием в Форуме по управлению Интернетом (IGF) на уровне национальных инициатив при поддержке ICANN³⁵; деятельностью в рамках Первого и Третьего комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе в Рабочей группе открытого состава (Open-ended Working Group) и Группе правительственных экспертов (Group of Governmental Experts), учреждённой в соответствии с резолюцией ГА ООН 73/266 с целью поощрения ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности.

Помимо страновой специфики, категории «цифрового суверенитета» на позицию России при выстраивании международного диалога влияет и свойственное российской стратегической культуре понимание безопасности. Цифровая (информационная) безопасность в видении России предполагает автономность от внешних субъектов не только в части технической составляющей, но и в части содержания потребляемого контента. Угрозы цифровой безопасности отождествляются с угрозами суверенитету страны. С одной стороны, такое широкое понимание проблемы, укрупнившееся в национальном дискурсе и лоббируемое на международной арене, отражает стратегическое видение Москвы, заключающееся в поступательном продвижении на мировой арене идей суверенности в том числе в цифровом пространстве. С другой стороны, оно служит препятствием в деле наращивания международной кооперации.

³³ Путин заявил, что глобальные цифровые платформы – эфемерность // Газета.Ру. URL: https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/10/21/n_16728661.shtml (дата обращения: 20.09.2021); Подписаны соглашения о намерениях между Правительством и крупнейшими компаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/60971> (дата обращения: 20.09.2021).

³⁴ Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security // UN Office for Disarmament Affairs. [Электронный ресурс] URL: <https://www.un.org/disarmament/ict-security/> (accessed: 20.09.2021).

³⁵ Одиннадцатый российский форум по управлению Интернетом (RIGF 2021) пройдёт 7–9 апреля 2021 г. // Russian Internet Governance Forum. [Электронный ресурс] URL: <https://rigf.ru/about/> (дата обращения: 20.09.2021).

Ввиду отсутствия у российских высокотехнологичных компаний опыта создания комплексных платформенных решений [Bezrukov et al. 2021], России по-прежнему необходимо более широко интегрироваться в процесс глобального диалога по проблематике регулирования Интернета и цифровых технологий как по линии ООН, так и другим релевантным каналам. Инициативы за рамками ООН могут обсуждаться при участии либо широкого круга государств (в форме дискуссионной площадки, с целью повышения транспарентности российской цифровой политики), либо в более узком кругу участников, которые разделяют ценность цифрового суверенитета. В случае реализации второго варианта — вовлечения узкого круга государств в переговорный процесс — его полезность могла бы быть вызвана соображениями обмена технологиями и опытом существования в условиях нарастающей цифровой американо-китайской дуополии в цифровой среде.

В России с конца 2000-х годов активно создаются правовые и технологические основы суверенного цифрового пространства. Была создана национальная система доменных имён и национальная система маршрутизации интернет-трафика, операторам связи было предписано устанавливать государственное оборудование на точках обмена трафиком для его анализа и фильтрации при законодательном регулировании подобных мер³⁶, предприятия государственного сектора переводятся на российское программное обеспечение. Эти меры были предприняты не столько в целях создания конкурентоспособной с западными аналогами цифровой среды, сколько для гарантий национальной безопасности. В то же время одно только законодотворчество не способствует созданию атмосферы доверия. Оптимальным механизмом для реализации данной задачи могло бы стать привлечение к процессу внутреннего регу-

лирования цифровой среды национальных лидеров отрасли (создание института коллегиального управления на национальном уровне), с одной стороны, и выработка проекта международной архитектуры управления Интернетом, который мог бы гарантировать равноправие всех сторон на международном уровне, с другой стороны.

* * *

Пробуждение национального цифрового самосознания, происходящее в начале 2020-х годов, отражает естественный процесс определения государствами своей роли в условиях, заданных технологической революцией. Этот поиск далёк от завершения, но уже на современном этапе отчётливо наблюдается различие национальных подходов к определению принципов функционирования цифрового пространства (что показывают множественные интерпретации самого понятия «цифровой суверенитет»), а также готовность, казалось бы, растворившихся в глобальном мире государств отстаивать право на самостоятельное определение данных принципов.

Интернет, которому было суждено появиться на свет в условиях расцвета либеральной модели, долгое время сохранял иллюзию внегеографического пространства. В реальности он подпитывался интересами США, у которых была — и отчасти остаётся — монополия на определение правил киберсреды. Тем не менее по мере сокращения американского влияния, укрепления незападных центров силы, а также всё более чёткого проявления негативных сторон глобализации начался процесс государственного огораживания отдельных сегментов цифрового пространства при одновременной выработке общих принципов его функционирования.

Такие особенности нового пространства, как тотальность цифровизации, накопление объёмов данных и оптимизация мето-

³⁶ Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”». [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2019/05/07/fz90-dok.html> (дата обращения: 20.09.2021).

дов их обработки, растущая привязка цифрового аналога объекта к его физическому оригиналу являются общими для всех государств и скорее подталкивают их к диалогу о поиске механизмов институционализации цифровых отношений. Эти процессы сочетаются с необходимостью сокращать влияние иностранных негосударственных игроков на внутригосударственные процессы, что и предусмотрено в современной модели коллегиального управления Интернетом. Впрочем, её инклюзивный характер проявил себя в качестве весьма действенного механизма по эффективному

использованию экономического потенциала и выстраиванию доверительной атмосферы между всеми участниками цифрового пространства.

В таких условиях оптимальной архитектурой для обеспечения цифрового суверенитета может стать двухуровневая система, в рамках которой в международной среде будет вестись диалог суверенных пространств, а внутри стран будет выстроена система коллегиального управления, в рамках которого роль государства будет зависеть от сложившихся социально-культурных традиций.

Список литературы

- Батуева Е.В. Информационные войны США: к определению национальной киберстратегии // Международные процессы. 2014. Т. 12. № 1–2. С. 117–127.
- Виноградова Е.В., Полякова Т.А. О месте информационного суверенитета в конституционно-правовом пространстве современной России // Правовое государство: теория и практика. 2021. Т. 17. №1. С. 32–49.
- Володенков С.В., Воронов А.С., Леонтьева Л.С., Сухарева М. Цифровой суверенитет современного государства в условиях технологических трансформаций: содержание и особенности // Полилог/ Polylogos. 2021. № 5(1). URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110014073-2-1/> (дата обращения: 20.09.2021).
- Золотарёва О.А. Гуманитарно-технологическая революция: оценка состояния готовности перехода в новый технологический уклад / О.А. Золотарёва, Е.С. Дарда, А.В. Тихомирова // Вестник НГУЭУ. 2021. № 4. С. 55–66.
- Касенова М.Б., Демидов О.В. Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов. М.: Статут, 2013. 465 с.
- Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Природоподобные технологии: новые возможности и новые вызовы // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. №5. С. 455–465.
- Косаян Н.Л. Аддитивная технологическая совокупность 6-го технологического уклада // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 1. №2. С. 4–8.
- Кутюр С., Тоупин С. Что означает понятие «суверенитет» в цифровом мире? // Вестник международных организаций. 2020. № 15(4). С. 48–69.
- Макарычева А.В. Цифровой и безопасный? // Международные процессы. Апрель–июнь 2015. Т. 13. № 2 (41). С. 141–145.
- Никонов В.А., Воронов А.С., Сажина В.А., Володенков С.В., Рыбакова М.В. Цифровой суверенитет современного государства: содержание и структурные компоненты (по материалам экспертного исследования) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 60. С. 206–216.
- Потеев А.Т. Технологический уклад: методология оценки уровня технологического уклада отрасли / А.Т. Потеев, Т.С. Мешкова // Предприятия, отрасли и регионы: генезис, формирование, развитие и прогнозирование: Сб. научных трудов по материалам III Международной научно-практической конференции, Пермь, 31 марта 2017 года. Пермь: Научная общественная организация «Профессиональная наука», 2017. С. 161–169.
- Ромашкина Н.П. Информационный суверенитет в современную эпоху стратегического противоборства // Информационные войны. 2019. № 4(52). С. 14–19.
- Усков В.С. Научно-технологическое развитие российской экономики в условиях перехода к новому технологическому укладу // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. №1. С. 70–86.
- Шариков П. Информационный суверенитет и вмешательство во внутренние дела в российско-американских отношениях // Международные процессы. 2018. Т. 16. № 3 (54). С. 170–188.
- Bezrukov A.O., Mamonov M.V., Suchkov M.A., & Sushentsov A.A. Russia in the Digital world: international Competition and leadership // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. No. 2. P. 64–85.

- Bierwisch A., Kayser V., & Shala E.* Emerging technologies in civil security – A scenario-based analysis // *Technological Forecasting and Social Change*. 2015. Vol. 101. P. 226–237.
- Bremmer I.* The Technopolar Moment // *Foreign Affairs*. 2021. No. 6. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-10-19/ian-bremmer-big-tech-global-order> (accessed: 16.11.2021).
- Carr M.* Power Plays in Global Internet Governance // *Millennium*. 2015. Vol. 43. No. 2. P. 640–659.
- Choucri N.* Cyberpolitics in International Relations. Cambridge: The MIT Press, 2012. 320 p.
- Crystal D.* The Language Revolution. Cambridge: Polity, 2004. 152 p.
- Doria A.* Use [and Abuse] of Multistakeholderism in the Internet // *The Evolution of Global Internet Governance: Principles and Policies in the Making* / ed. by R. Radu, J.-M. Chenou, R.H. Weber. New York: Springer, 2013. P. 115–138.
- Drezner D.W.* The Global Governance of the Internet: Bringing the State Back // *Political Science Quarterly*. 2004. Vol. 119. No. 3. P. 477–498.
- Floridi L.* The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU // *Philosophy and Technology*. 2020. Vol. 33. P. 369–378.
- Globerman S.* Canadian science policy and technological sovereignty // *Canadian Public Policy/Analyse De Politiques*. 1978. Vol. 4. No. 1. P. 34–45.
- Goldsmith J.* The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty // *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 1998. Vol. 5. No. 2. URL: <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgl/vol5/iss2/6> (accessed: 20.09.2021).
- Goldsmith J., Wu T.* Who controls the internet? Illusions of a borderless world. Oxford: Oxford University Press, 2006. 238 p.
- Goodchild M.F.* Towards a location theory of distributed computing and e-commerce // *Worlds of E-Commerce: Economic, Geographical and Social Dimensions* / ed. by T.R. Leinbach, S.D. Brunn. New York: Wiley, 2001. P. 67–86.
- Grant P.* Technological sovereignty: Forgotten factor in the 'hi-tech' razzamatazz" // *Prometheus*. 1983. Vol. 1. No. 2. P. 239–270.
- Hanelt A., Bohnsack R., Marz D., & Antunes Marante C.* A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change // *Journal of Management Studies*. Vol. 58. No. 5. P. 1159–1197.
- Hardy I.T.* The Proper Legal Regime for 'Cyberspace' // *University of Pittsburgh Law Review*. 1994. Vol. 55. P. 993–1055.
- Harmaakorpi V., Haikonen A., Kauranen I.* The Shift of Techno-Economic Paradigm and Its Effects on Regional Disparities // *The 43rd Conference of European Regional Sciences Association (ERSA)*, 27–31 Aug. Lahti Center, Jyväskylä, Finland: Helsinki University of Technology. 2003. 226 p.
- Hill R.* Internet Governance: The Last Gasp of Colonialism, or Imperialism by Other Means? // *The Evolution of Global Internet Governance: Principles and Policies in the Making* / ed. by R. Radu, J.-M. Chenou, R.H. Weber. New York: Springer, 2013. P. 79–94.
- Howard P.N., Ganesh B., Liotsiou D.* The IRA, Social Media and Political Polarization in the United States, 2012–2018. Computational Propaganda Research Project. University of Oxford, 2012. 47 p.
- Jackson R.* Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 181 p.
- Jiang M.* Authoritarian Informalism: China's Approach to Internet Sovereignty // *SAIS Review of International Affairs*. 2010. Vol. 30. No. 2. P. 71–89.
- Johnson D.R., Post D.* Law and Borders – The rise of law in Cyberspace // *First Monday*. 1996. Vol. 1. No. 1. P. 1–25.
- Kello L.* The Virtual Weapon and International Order. New Haven: Yale University Press, 2017. 320 p.
- Kissinger H.* World Order. Penguin, 2014. 432 p.
- Korzak E.* Russia's Cyber Policy Efforts in the United Nations // *Tallinn Papers*. 2021. No. 11. P. 4–20.
- Laurence S.* The Four-Dimensional Human: Ways of Being in the Digital World. London: Penguin Random House, 2015. 272 p.
- Mainwaring S.* Always in control? Sovereign states in cyberspace // *European Journal of International Security*. 2020. Vol. 5. No. 2. P. 215–232.
- Mueller M.L.* Against Sovereignty in Cyberspace // *International Studies Review*. 2020. Vol. 22. No. 4. P. 779–801.
- Mueller M.L.* Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace. Cambridge.: The MIT Press, 2002. 328 p.
- Nadkarni S., & Prügl R.* Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research // *Management Review Quarterly*. 2021. Vol. 71(2). P. 233–341.
- Naughton J.* The evolution of the Internet: from military experiment to General Purpose Technology // *Journal of Cyber Policy*. 2016. Vol. 1. No. 1. P. 5–28.

- Perritt H.* The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet's Role in Strengthening National and Global Governance // *Indiana Journal of Global Legal Studies*. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 423–442.
- Priisalu J., Ottis R.* Personal control of privacy and data: Estonian Experience // *Health and Technology*. 2017. Vol. 7. P. 441–451.
- Pohle J., Thiel T.* Digital sovereignty // *Internet Policy Review*. 2020. Vol. 9. No. 4. P. 1–19.
- Perez C.* Technological revolutions and techno-economic paradigms // *Cambridge journal of economics*. 2010. Vol. 34 (1). P. 185–202.
- Rainie L., Anderson J.* Whether or not people disconnect, the dangers are real. Security and civil liberties issues are being magnified by the rapid rise of the Internet of Things // *Pew Research Center*. 2017. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2017/06/06/theme-7-whether-or-not-people-disconnect-the-dangers-are-real-security-and-civil-liberties-issues-are-being-magnified-by-the-rapid-rise-of-the-internet-of-things/> (дата обращения: 20.09.2021).
- Shen Y.* Cyber Sovereignty and the Governance of Global Cyberspace // *Chinese Political Science Review*. 2016. Vol. 1. P. 81–93.
- Scholte J.A.* Globalization: A Critical Introduction. New York: St. Martin's Press, 2000. 519 p.
- Suchkov M.A.* Whose hybrid warfare? How 'the hybrid warfare' concept shapes Russian discourse, military, and political practice // *Small Wars & Insurgencies*. 2021. Vol. 32. No. 3. P. 415–440.
- Tikk E., Kerttunen M.* Routledge Jandbook of International Cybersecurity. Routledge, 2020. 416 p.
- Vesali Naesh M.* Person and Personality in Cyber Space: A Legal Analysis of Virtual Identity // *Masaryk University Journal of Law and Technology*. 2016. Vol. 10. No 1. P. 1–21.
- Verhoef P.C., Broekhuizen T., Bart Y., Bhattacharya A., Dong J.Q., Fabian N., & Haenlein M.* Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda // *Journal of Business Research*. 2021. Vol. 122. P. 889–901.
- Wu T.* Cyberspace Sovereignty? – The Internet and the International System // *Harvard Journal of Law & Technology*. 1997. Vol. 10. No. 3. P. 647–666.

THE NOTION OF “DIGITAL SOVEREIGNTY” IN MODERN WORLD POLITICS

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR RUSSIA*

OLGA REBRO
ANASTASIA GLADYSHEVA
MAXIM SUCHKOV
ANDREY SUSHENTSOV
MGIMO University, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract

The global digital revolution transforms technological and economic structures, social relations and the very philosophy of human life. Along with that, it has a dramatic impact on states as key actors in international relations. For many centuries sovereignty has been a fundamental principle of a functioning state and has been mainly defined in physical and geographical terms. However, the transboundary nature of the digital environment has brought new issues to the agenda: how actors, including states, should function in a new digital reality; where the borders between the ‘national’ and the ‘transnational’ should

* The study was funded by RFBR and EISR, project number №21-011-31278.

lie and by which rules the new environment should be regulated. The key question summarizing all the above-stated is: 'What does "state sovereignty" mean in the digital era?'. To answer this question, the article identifies key characteristics of digital space vis-à-vis sovereignty, studies the evolution of two approaches to the internet – as a new exceptional environment or as the next stage of telecommunications' development – and points out challenges to maintaining digital sovereignty along with ways to mitigate them. Noting that the digital space is a unique environment for intergovernmental interaction which continuously evolves due to technological progress and the socio-economic practices, the authors observe the organic emergence of cyber-borders which brings seemingly obsolete idea of state sovereignty back into play. Modern states face a difficult challenge: how to find effective mechanisms to ensure sovereignty in the digital space without losing the benefits of the digital revolution while guaranteeing the equality and security of all parties involved. The absence of unified methodology and generally accepted conceptual terms in the previous scientific studies and political practice underpins the academic novelty of the research. At the same time, the study is practically oriented, since it is the digital technological sovereignty of the state that serves as a basis of its leadership in the new era and as a necessary condition for establishing and maintaining political independence and national coherence.

Keywords:

digital environment; digital sovereignty; global governance; digital competition; strategy; cybersecurity; Russia; USA; multi-stakeholder internet governance.

References

- Batueva E. (2014) Informacionnye voyny SSHA: k opredeleniyu nacional'noy kiberstrategii [The US Information Wars: Towards Defining a National Cyber Strategy. *Mezhdunarodnye Processy*. Vol. 12. No. 1–2. P. 117–127.
- Bezrukov A.O., Mamonov M.V., Suchkov M.A., & Sushentsov A.A. (2021). Russia in the Digital world: international Competition and leadership. *Russia in Global Affairs*. Vol. 19. No. 2. P. 64–85.
- Bremmer I. (2021). The Technopolar Moment. *Foreign Affairs*. November/December 2021. URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-10-19/ian-bremmer-big-tech-global-order> (accessed: 16.11.2021)
- Bierwisch A., Kayser V., & Shala E. (2015). Emerging technologies in civil security – A scenario-based analysis. *Technological Forecasting and Social Change*. Vol. 101. P. 226–237.
- Carr M. (2015). Power Plays in Global Internet Governance. *Millennium*. Vol. 43. No. 2. P. 640–659.
- Choucri N. (2012). *Cyberpolitics in International Relations*. Cambridge: The MIT Press. 320 p.
- Couture S., Toupin S. (2020). Chto oznachaet ponyatie «suverenitet» v cifrovom mire? [What does the notion of "sovereignty" mean when referring to the digital?]. *Vestnik mezhdunarodnykh organizatsij*. Vol. 15. No. 4. P. 48–69.
- Crystal D. (2004). *The Language Revolution*. Cambridge: Polity. 152 p.
- Doria A. (2013). Use [and Abuse] of Multistakeholderism in the Internet. In: Radu R., Chenou J.-M., Weber R.H. (eds.) *The Evolution of Global Internet Governance: Principles and Policies in the Making*. New York: Springer. P.115–138.
- Drezner D.W. (2004). The Global Governance of the Internet: Bringing the State Back. *Political Science Quarterly*. Vol. 119. No. 3. P. 477–498.
- Floridi L. (2020). The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy and Technology*. Vol. 33. P. 369–378.
- Globerman S. (1978). Canadian science policy and technological sovereignty. *Canadian Public Policy/Analyse De Politiques*. Vol. 4. No. 1. P. 34–45.
- Goldsmith J. (1998). The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol. 5. No. 2. URL: <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol5/iss2/6> (accessed: 20.09.2021).
- Goldsmith J., Wu T. (2006). *Who controls the internet? Illusions of a borderless world*. Oxford: Oxford University Press. 238 p.
- Goodchild M.F. (2001). Towards a location theory of distributed computing and e-commerce. In: Leibach T.R., Brunn S.D. (eds.) *Worlds of E-Commerce: Economic, Geographical and Social Dimensions*. New York: Wiley. P. 67–86.
- Grant P. (1983). Technological sovereignty: Forgotten factor in the 'hi-tech' razzamatazz". *Prometheus*. Vol. 1. No. 2. P. 239–270.

- Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change. *Journal of Management Studies*. Vol. 58 (5). P. 1159–1197.
- Hardy I.T. (1994). The Proper Legal Regime for 'Cyberspace'. *University of Pittsburgh Law Review*. Vol. 55. P. 993–1055.
- Harmaakorpi V., Haikonen A., Kauranen I. (2003). The Shift of Techno-Economic Paradigm and Its Effects on Regional Disparities. *The 43rd Conference of European Regional Sciences Association (ERSA)*, 27–31 Aug. Lahti Center, Jyväskylä, Finland: Helsinki University of Technology.
- Hill R. (2013). Internet Governance: The Last Gasp of Colonialism, or Imperialism by Other Means? In: Radu R., Chenou J.-M., Weber R.H. (eds.) *The Evolution of Global Internet Governance: Principles and Policies in the Making*. New York: Springer. P. 79–94.
- Howard P. N., Ganesh B., Liotsiou D. (2012). *The IRA, Social Media and Political Polarization in the United States, 2012–2018. Computational Propaganda Research Project*. University of Oxford. 47 p.
- Jackson R. (1990). *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press. 181 p.
- Jiang M. (2010). Authoritarian Informationalism: China's Approach to Internet Sovereignty. *SAIS Review of International Affairs*. Vol. 30. No. 2. P. 71–89.
- Johnson D.R., Post D. (1996). Law and Borders – The rise of law in Cyberspace. *First Monday*. Vol. 1. No. 1. P. 1–25.
- Kasenova M.B., Demidov O.V. (2013). *Kiberbezopasnost' i upravlenie internetom: Dokumenty i materialy dlya rossijskikh reguljatorov i ekspertov* [Cybersecurity and Internet Governance: Documents and Materials for Russian Regulators and Experts]. Moscow: Statut. 465 p.
- Kello L. (2017). *The Virtual Weapon and International Order*. New Haven: Yale University Press. 320 p.
- Kissinger H. (2014). *World Order*. Penguin. 432 p.
- Korzak E. (2021). Russia's Cyber Policy Efforts in the United Nations. *Tallinn Papers*. No. 11. P. 4–20.
- Kosakian N.L. (2021). Additivnaya tehnologicheskaja sovokupnost' 6-go tehnologicheskogo uklada [Additive Technological Network of the 6th Technological Setup]. *Ekonomika i upravlenie: problem i resheniya*. Vol. 1. No. 2. P. 4–8.
- Kovalchuk M.V., Naraikin O.S., Yatsishina E.B. Prirodopodobnye tehnologii: novye vozmozhnosti i novye vyzovy [Nature-like technologies: new opportunities and new challenges] // *Vestnik Rossijskoj akademii nauk*. 2019. Vol. 89. No. 5. P. 455–465.
- Laurence S. (2015). *The Four-Dimensional Human: Ways of Being in the Digital World*. London: Penguin Random House. 272 p.
- Mainwaring S. (2020). Always in control? Sovereign states in cyberspace. *European Journal of International Security*. Vol. 5. No. 2. P. 215–232.
- Makarycheva A.V. Cifrovoy i bezopasnyj? [Digital and secure?] *Mezhdunarodnye process*. 2015. Vol. 13. No. 2 (41). P. 141–145.
- Mueller M.L. (2020). Against Sovereignty in Cyberspace. *International Studies Review*. Vol. 22. No. 4. P. 779–801.
- Mueller M.L. (2002). *Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace*. Cambridge: The MIT Press. 328 p.
- Nadkarni S., & Prügl R. (2021). Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. *Management Review Quarterly*. Vol. 71(2). P. 233–341.
- Naughton J. (2016). The evolution of the Internet: from military experiment to General Purpose Technology. *Journal of Cyber Policy*. Vol. 1. No. 1. P. 5–28.
- Nikonov V.A., Voronov A.S., Sazhina V.A., Volodenkov S.V., Rybakova M.V. (2021). Tsifrovoy suverenitet sovremennogo gosudarstva: soderzhanie i strukturnye komponenty (po materialam ekspertnogo issledovaniya) [Digital Sovereignty of a Modern State: Content and Structural Components (Based on Expert Research)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya*. No. 60. P. 206–221.
- Perez C. (2010). Technological revolutions and techno-economic paradigms. *Cambridge journal of economics*. Vol. 34 (1). P. 185–202.
- Perritt H. (1998). The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet's Role in Strengthening National and Global Governance. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol. 5. No. 2. P. 423–442.
- Poteev A.T. (2017). *Tekhnologicheskij uklad: metodologiya ocenki urovnya tekhnologicheskogo uklada otrasli* [Technological mode: methodology for assessing the level of the technological mode of the industry]. In: *Predpriyatiya, otrasli i regiony: genezis, formirovanie, razvitie i prognozirovaniye: Sbornik nauchnykh trudov po materialam III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Nauchnaya obshchestvennaya organizaciya "Professional'naya nauka"*. P. 161–169.

- Priisalu J., Ottis R. (2017). Personal control of privacy and data: Estonian Experience. *Health and Technology*. Vol. 7. P. 441–451.
- Pohle J., Thiel T. (2020). Digital sovereignty. *Internet Policy Review*. Vol. 9. No. 4. P. 1–19.
- Rainie L., Anderson J. (2017). Whether or not people disconnect, the dangers are real. Security and civil liberties issues are being magnified by the rapid rise of the Internet of Things // Pew Research Center. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2017/06/06/theme-7-whether-or-not-people-disconnect-the-dangers-are-real-security-and-civil-liberties-issues-are-being-magnified-by-the-rapid-rise-of-the-internet-of-things/> (accessed: 20.09.2021).
- Romashkina N.P. (2019). *Informatsionnyj suverenitet v sovremennuyu epohu strategicheskogo protivoborstva* [Information Sovereignty in the Modern Era of Strategic Warfare]. *Informatsionnye voyny*. Vol. 4. No. 52. P. 14–19.
- Sharikov P. (2018). Infomacionnyj suverenitet i vmeshatel'stvo vo vnutrennie dela v rossijsko-amerikanskij otnoshenijah [Information sovereignty and interference in internal affairs in Russian-American relations]. *Mezhdunarodnye Processy*. Vol. 16. No. 3(54). P. 170–188.
- Shen Y. (2016). Cyber Sovereignty and the Governance of Global Cyberspace. *Chinese Political Science Review*. Vol. 1. P. 81–93.
- Scholte J.A. (2000). *Globalization: A Critical Introduction*. New York: St. Martin's Press. 519 p.
- Suchkov M.A. (2021). Whose hybrid warfare? How 'the hybrid warfare' concept shapes Russian discourse, military, and political practice. *Small Wars & Insurgencies*. Vol. 32. No. 3. P. 415–440.
- Tikk E., Kerttunen M. (2020) *Routledge Jandbook of International Cybersecurity*. Routledge. 416 p.
- Uskov V.S. (2020) Nauchno-tehnologicheskoe razvitiye rossijskoy ekonomiki v usloviyah perehoda k novomu tehnologicheskomu ukladu [Scientific and Technological Development of the Russian Economy in the Transition to a New Technological Order]. *Ekonomicheskie i social'nye peremeny: facty, tendencii, prognoz*. Vol. 13. No.1. P. 70–86.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*. Vol. 122. P. 889–901.
- Vesali Naesh M. (2016). Person and Personality in Cyber Space: A Legal Analysis of Virtual Identity. *Masaryk University Journal of Law and Technology*. Vol. 10. No 1. P. 1–21.
- Vinogradova E.V., Polyakova T.A. (2021). O meste informacionnogo suvereniteta v konstitucionno-pravovom prostranstve sovremennoj Rossii [On the Place of Information Sovereignty in the Constitutional Legal sphere in Modern Russia]. *Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika*. Vol. 17. No. 1. P. 32–49.
- Volodenkov S.V., Voronov A.S., Leont'eva L.S., Suhareva M. (2021). Tsifrovoy suverenitet sovremennogo gosudarstva v usloviyah tehnologicheskij transformatsij: soderzhanie i osobennosti [Digital sovereignty of a modern state in the context of technological transformations: content and features]. *Polylogos*. Vol. 5. No. 1. URL: <https://polylogos-journal.ru/s258770110014073-2-1/> (accessed: 20.09.2021).
- Wu T. (1997). Cyberspace Sovereignty? – The Internet and the International System. *Harvard Journal of Law & Technology*. Vol. 10. No. 3. P. 647–666.
- Zolotareva, O. A. (2021). Gumanitarno-tehnologicheskaya revolyuciya: ocenka sostoyaniya gotovnosti perekhoda v novyj tehnologicheskij uklad [Humanitarian and technological revolution: assessment of the state of readiness for the transition to a new technological order]. *Vestnik NGUEU*. Vol. 4. P. 55–66.

ФИКСИРУЕМ ТЕНДЕНЦИЮ

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС–ИНДИЯ ПАРАМЕТРЫ И ПОТЕНЦИАЛ

ЕКАТЕРИНА АРАПОВА

МГИМО МИД России, Москва, Россия

Резюме

В 2017 г. между странами–участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индией начались переговоры о создании зоны свободной торговли, в ходе которых обсуждаются в первую очередь вопросы либерализации торговли, в том числе снижение и обнуление ставок таможенных пошлин, а также устранение нетарифных ограничений. Цель настоящего исследования заключается в количественной оценке потенциального влияния взаимной тарифной либерализации на динамику двусторонней торговли России и Индии, позволяющей выработать ключевые принципы переговорной позиции России (в составе ЕАЭС) с учётом её стратегических интересов. Методология исследования основана на модели частичного равновесия SMART и качественном анализе тенденций импортного спроса и степени торгового протекционизма со стороны Индии в отношении поставок из стран–участниц ЕАЭС. В рамках исследования было установлено, что в случае симметричной тарифной либерализации потенциальный рост российского экспорта в Индию может оказаться выше соответствующих эффектов по импорту, что позволит увеличить положительное сальдо двусторонней торговли. Это отвечает интересам России, однако в условиях хронического торгового дефицита вряд ли соответствует приоритетам Индии. Реализация интеграционного сценария может способствовать диверсификации сырьевого компонента российского экспорта за счёт роста поставок угля, в меньшей степени – металлов (алюминия, меди и изделий из них), тогда как возможности нарастить экспорт высокотехнологичной продукции ограничены. Зона свободной торговли может стать важным инструментом укрепления на индийском рынке позиций российских экспортёров удобрений и отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, спрос на которые в Индии стремительно увеличивается. Индия, в свою очередь, может укрепиться на российском рынке лекарственных средств, а также нарастить экспорт текстильной продукции, украшений и отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова:

ЕАЭС; Россия; Индия; зона свободной торговли; SMART-модель; эконометрический анализ; эффекты тарифной либерализации; экономическая интеграция; таможенные пошлины; внешне-торговая политика.

Статья подготовлена при финансовой поддержке МГИМО МИД России в рамках проекта №1923-03-03.

Дата поступления рукописи в редакцию: 20.05.2021

Дата принятия к публикации: 20.10.2021

Для связи с автором / Corresponding author:

Email: e.arapova@my.mgimo.ru

На Петербургском экономическом форуме 2017 г. было официально положено начало переговорному процессу о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией. В 2017 г. был опубликован Совместный отчёт о реализуемости интеграционного сценария.

Зона свободной торговли может объединить страны с общим ВВП в размере почти 4,5 трлн долларов США (в текущих ценах) при численности населения более 1,5 млрд человек и послужить важным инструментом увеличения взаимного товарооборота. По оценкам Евразийской экономической комиссии, «взаимная либерализация торгового режима приведёт к росту ВВП всех стран ЕАЭС и Индии уже в краткосрочной перспективе. Кроме того, при переходе на режим свободной торговли товарооборот может вырасти до 30–40% от текущего уровня в зависимости от глубины тарифной либерализации, которая будет достигнута по итогам переговоров»¹.

Последствия формирования интеграционного режима напрямую определяются договорённостями, достигнутыми сторонами, в первую очередь относительно графика снижения ставок таможенных пошлин.

Задачи настоящей статьи – количественно оценить вероятные торговые эффекты для России на основе SMART-модели в случае взаимного линейного 1%-го снижения ставок таможенных пошлин Индией и странами ЕАЭС для выявления эластичности торговых потоков по ставкам таможенных пошлин; сформулировать выводы о влиянии тарифной либерализации на динамику и отраслевую структуру взаимной торговли России и Индии, а также рекомендации относительно переговорной позиции Москвы (в составе ЕАЭС) с учётом динамики взаимной торговли, тенденций импортного спроса и степени торгового протекционизма со стороны Дели.

Эффекты тарифной либерализации: влияние на внешнюю торговлю

Вопрос о влиянии тарифной либерализации на интенсивность внешней торговли на протяжении последних десятилетий стал предметом ожесточённых споров между различными теоретическими школами. Протекционистская доктрина противопоставляется доктрине свободной торговли. Приверженцы последней поддерживают идею о положительном влиянии либерализации, в том числе тарифной, на объёмы и темпы прироста внешнеторговых потоков, как импорта, так и экспорта [Trefler 1993; Leamer, Levinsohn 1995; Wang 2001; Helpman 2011; Sequeira 2016] и, соответственно, об обратном влиянии усиления тарифного протекционизма ввиду удорожания импортной продукции и снижения её ценовой конкурентоспособности [Feenstra 1995].

В то же время ряд экспертов эмпирически доказали отсутствие или неоднозначность влияния тарифной либерализации на интенсивность внешней торговли [Cline et al. 1978; Baldwin, Lewis and Richardson 1980; Bhagwati 1988; Ostry 1991]. Особенно скептически они настроены в отношении возможностей наращивания экспорта за счёт тарифной либерализации [Ostry 1991; Greenaway, Sapsford 1994; Rose 2002].

Большинство исследователей признаёт значительные различия по интенсивности влияния тарифного регулирования в зависимости от стартовых условий торгующих стран и уровня конкурентоспособности отдельных отраслей. В частности, А. Крюгер доказала, что импортные потоки значительно быстрее реагируют на снижение ставок таможенных пошлин, хотя эффект по экспорту в более длительной перспективе также положителен [Krueger 1998].

М. Портер в рамках теории конкурентоспособности страны пришёл к выводу о том, что эффекты внешнеторговой политики во многом определяются степенью конкурентоспособности (на уровне отдель-

¹ ЕАЭС и Индия начали официальные переговоры по заключению соглашения о свободной торговле. Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/3-06-2017.aspx> (дата обращения: 08.12.2020).

ных отраслей и экономики в целом), характером конкуренции и государственными мерами, направленными на повышение конкурентоспособности [Porter 1985]. Эффекты тарифной либерализации определяются также степенью монополизации рынка [Krugman 1979; Feenstra 1995] и взаимодополняемости отечественных и импортных товаров [Houthakker, Magee 1969; Goldstein, Kahn 1978].

Эмпирически доказано, что эффект тарифной либерализации тем сильнее, чем выше вовлечённость страны в международную торговлю или чем активнее она торгует с региональными партнёрами, в отношении которых снижены ставки таможенных пошлин (в рамках интеграционных объединений) [Nenci 2011; Feenstra 2003; Peters 2002; Salvatore 2013].

На характер и интенсивность внешней торговли при снижении ставок таможенных пошлин оказывает влияние и последовательность внешнеторговой политики страны [Francois, Martin 2004]. Если снижение ставок таможенных пошлин обусловлено их связыванием в рамках обязательств перед ВТО или заключением региональных торговых соглашений, положительный эффект тарифной либерализации может оказаться выше, нежели без обязательств сохранения курса на либерализацию.

Пример потенциальной зоны свободной торговли ЕАЭС–Индия интересен в части поиска новых эмпирических аргументов для развития академической дискуссии относительно факторов, предопределяющих величину торговых эффектов. Страны обладают высокой отраслевой взаимодополняемостью внешнеторговых потоков при низком объёме взаимной торговли Индии с её крупнейшим торговым партнёром в ЕАЭС – Россией. При этом внешнеторговая политика Индии характеризуется нестабильностью, высокими разрывами ставок таможенных пошлин в зависимости от степени переработки товаров и усилением протекционистского курса. Сопоставление стартовых условий либерализации с полученными результатами в рамках данного специфического кейса будет способ-

ствовать более глубокому пониманию эффектов тарифной либерализации.

Научный дискурс в области двустороннего торгового и экономического сотрудничества России и Индии

Вопросы торгового взаимодействия Индии со странами ЕАЭС находятся в фокусе внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей.

В центре академического дискурса – дискуссия о потенциале расширения российско-индийского экономического партнёрства и факторах, предопределяющих возможности и интенсивность его реализации. Индии присущи непредсказуемость торговой политики, противоречивость многосторонней дипломатии, парадоксальное сочетание стремления к поддержанию многосторонних контактов на фоне высокого внешнеторгового протекционизма и неоднозначного, «циклического» отношения к глобализации. Вступление в ВТО и нацеленные на ускоренное развитие инфраструктуры реформы в электроэнергетике, сфере телекоммуникаций и текстильной промышленности [Маляров 2007; Sinha 2019; Захаров 2020] способствовали расширению экспортного потенциала, некоторому открытию внутреннего рынка и большей вовлечённости Индии в глобальную торговлю. В курсе правительства Н. Моди ставка на привлечение иностранных инвестиций как ключевой драйвер экономического роста парадоксальным образом сочетается с высоким уровнем торгового протекционизма – как тарифного, так и нетарифного [Брагина 2015; Захаров 2020]. Заметное влияние на торговое взаимодействие с Россией оказывают и политические факторы: обеспечение индийской стороны укреплением российско-китайских и российско-пакистанских связей [Захаров 2018], отношения с США и санкционная политика [Zakharov 2019; Лунев 2020; Denisov, Safranchuk, Bochkon 2020; Галищева, Небольсина 2021].

Эксперты отмечают высокий потенциал сотрудничества России и Индии в энергетике [Shikin, Bhandari 2017] и в сфере информационных технологий [Pant 2017], пер-

спективу наращивания торговли фармацевтической, химической и сельскохозяйственной продукцией. Новыми драйверами двустороннего взаимодействия могут выступить технологическое сотрудничество в оборонной промышленности, космическом и энергетическом секторах, информационных технологиях и вопросах кибербезопасности [Zakharov 2017; Коновалова 2017; Валуева, Коновалова 2018]. По оценкам индийских исследователей, торговая интеграция Индии и ЕАЭС позволит нарастить объёмы взаимной торговли и инвестиций, расширит доступ индийской промышленности на рынки стран–участниц ЕАЭС [India EAEU FTA Survey Report 2016]. Тарифная либерализация в рамках ЗСТ может оказать благоприятный эффект на динамику многосторонней торговли, в первую очередь промышленной и сельскохозяйственной продукцией; при этом подчёркивается необходимость учитывать разность уровней развития отдельных отраслей Индии и стран–участниц ЕАЭС [Singh, Sharma 2017].

Большинство предшествующих исследований были основаны на качественном анализе тенденций взаимной торговли и заключённых внешнеторговых контрактов, а также результатах опросов участников внешнеэкономической деятельности в Индии и странах–участницах ЕАЭС. Вследствие новизны объекта исследования оценка эффектов интеграции ЕАЭС с Индией, опирающаяся на результаты эконометрического анализа, слабо разработана в научной литературе [Лихачева, Калачигин 2018]. Настоящая статья стремится восполнить существующий пробел, количественно оценить потенциальные эффекты тарифной либерализации и степень её влияния на характер двусторонней торговли, сопоставить полученные оценки со стартовыми условиями взаимной торговли и особенностями проводимой внешнеторговой политики вовлечённых стран.

Структура взаимной торговли и стратегические приоритеты

Отношения между Россией и Индией носят статус привилегированных и имеют

давнюю историю. СССР стал первым государством, которое ещё до получения Индией независимости в 1947 г. объявил об открытии в стране дипломатической миссии. Льготные кредиты, а также сырьё и материалы, предоставленные Советским Союзом на условиях бартера, направлялись на реализацию программ индустриализации, развитие военно-космического комплекса и атомной энергетики. Некоторые государственные индийские компании, конкурентоспособные на мировом рынке, такие как *BHEL*, *Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)* и *Hindustan Aeronautics Limited (HAL)*, а также вся сталелитейная промышленность были созданы в сотрудничестве с СССР [Ниведита Дас Кунду 2016].

Сегодня доля взаимной торговли во внешнеторговом обороте двух стран мала: на Россию приходится лишь 0,54% индийской внешней торговли, доля последней составляет 0,61% в товарообороте России. Наиболее высокими темпами торговля России и Индии росла в 2017 и 2018 годах (21,4 и 17,3% соответственно), достигнув в 2019 г. 11,23 млрд долларов в торговле товарами и 1,34 млрд долларов в торговле услугами (табл. 1).

Российская торговля с Индией традиционно сводится к профицитом. При этом в торговле товарами он сократился за счёт опережения темпов прироста импорта в 2019 г. и относительно меньшего его снижения по сравнению с объёмами российского экспорта в период пандемии, в то время как двусторонний профицит торговли услугами устойчиво рос.

Первое место в структуре отечественного экспорта занимают минеральные продукты, доля которых устойчиво росла вплоть до начала пандемии COVID-19, тогда как доля машин и оборудования за 10 лет сократилась с 39,2% в 2009 г. до 20,8% в 2019 г. (табл. 2). Диверсифицировать сырьевой компонент экспорта не удаётся: российские металлурги существенно проигрывают в конкурентной борьбе поставщикам из Китая, Японии, Южной Кореи и США, а доля металлов в структуре российского экспорта постепенно снижается.

Таблица 1
Тенденции взаимной торговли России и Индии товарами и услугами, 2009–2020

	2009	2012	2014	2017	2018	2019	2020
Торговля товарами							
Экспорт России в Индию, млн долл. США	5937	7566,693	4395,697	6455,535	7752,309	7308,101	5798,193
Импорт России из Индии, млн долл. США	1524,455	3041,318	3170,707	2902,422	3224,629	3921,794	3457,947
Общий товарооборот, млн долл. США	7461,455	10608,011	7566,404	9357,957	10976,938	11229,895	9256,14
Торговый баланс России, млн долл. США	4412,545	4525,375	1224,99	3553,113	4527,68	3386,307	2340,246
Торговый баланс России, % к экспорту	74,32	59,81	27,87	55,04	58,40	46,34	40,36
Доля России в торговом обороте Индии, %	0,34	0,39	0,41	0,39	0,39	0,49	0,54
Доля Индии в торговом обороте России, %	0,32	0,36	0,4	0,5	0,47	0,59	0,61
Торговля услугами							
Экспорт России в Индию, млн долл. США	422,8	865,6	643,5	663,3	593,9	924,914	752,894
Импорт России из Индии, млн долл. США	217,9	335,1	437,7	432,1	407,546	416,276	220,751
Общий оборот услуг, млн долл. США	640,7	1200,7	1081,2	1095,4	1001,446	1341,19	973,645
Баланс услуг России, млн долл. США	204,9	530,5	205,8	231,2	186,354	508,638	532,143
Баланс услуг России, % к экспорту	48,46	61,29	31,98	34,86	31,38	54,99	70,68

Источник: Trade Map. International Trade Centre Database. URL: <https://www.trademap.org/>

Таблица 2
Отраслевая структура товарного экспорта России в Индию, 2009–2020, %

	2009	2012	2014	2017	2018	2019	2020
Продовольственные товары (01-24)	0,83	1,86	1,45	2,44	0,86	3,19	6,86
Минеральные продукты (25-27)	7,46	4,06	7,86	24,71	24,81	31,27	19,45
Продукция химической промышленности (28-38)	15,02	16,98	13,86	7,49	7,53	7,63	13,30
Пластмассы и изделия из них (39-40)	0,98	0,98	2,98	3,75	4,06	4,04	4,05
Необработанные шкуры, кожа, мех (41-43)	0,01	0,00	0,10	0,18	0,12	0,11	0,06
Древесина и древесная масса (44-49)	2,45	2,69	5,75	5,95	5,12	6,10	4,21
Текстильные изделия и материалы (50-63)	0,22	0,21	0,50	0,26	0,28	0,21	0,09
Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, серебро...(71)	2,17	9,91	25,34	16,01	13,88	10,48	15,14
Недрагоценные металлы и изделия из них (72-83)	11,04	9,66	7,34	4,41	4,08	4,14	6,09
Машины и оборудование (84-90)	39,22	45,98	34,34	18,69	24,29	20,81	19,10
Прочие товары	20,6	7,67	0,5	16,10	14,97	12,02	11,66

Источник: расчёты автора по данным Trade Map. International Trade Centre Database. URL: <https://www.trademap.org/>

Таблица 3
Отраслевая структура товарного импорта России из Индии, 2009–2020, %

	2009	2012	2014	2017	2018	2019	2020
Продовольственные товары (01-24)	23,65	18,61	21,03	23,02	21,50	18,28	18,20
Минеральные продукты (25-27)	0,44	0,60	0,61	0,39	0,36	0,59	0,50
Продукция химической промышленности (28-38)	36,33	31,13	27,77	31,06	27,37	27,56	30,01
Пластмассы и изделия из них (39-40)	2,41	3,15	2,90	3,10	3,27	2,98	3,29
Необработанные шкуры, кожа, мех (41-43)	1,01	1,24	1,39	1,65	1,82	1,55	1,40
Древесина и древесная масса (44-49)	0,39	0,21	0,29	0,15	0,18	0,35	0,36
Текстильные изделия и материалы (50-63)	10,31	8,91	12,07	10,63	9,22	6,80	6,54
Обувь (64)	0,82	1,47	1,67	2,38	1,95	1,63	1,51
Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, серебро...(71)	0,66	0,91	4,75	0,49	0,94	1,15	1,10
Недрагоценные металлы и изделия из них (72-83)	4,21	8,02	6,60	6,20	5,88	5,77	6,96
Машины и оборудование (84-90)	17,59	23,92	18,77	18,20	25,26	31,51	27,48
Прочие товары	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник: расчёты автора по данным Trade Map. International Trade Centre Database. URL: <https://www.trademap.org/>

В структуре российского импорта из Индии первую позицию занимает продукция химической промышленности, на неё приходится более 30% всего товаропотока. На втором месте – машины, оборудование и транспортные средства – 27,5% в 2020 г. при рекордных 31,5% в 2019 году, на третьем – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (табл. 3). На Индию приходится большая доля российского импорта изделий из кожи, чая, табака, полудрагоценных камней, бриллиантов, лекарственных препаратов, органических химикатов (по отдельным позициям до 70%).

Двусторонняя торговля России и Индии характеризуется относительно высокой взаимодополняемостью. Индия традиционно выступает крупным поставщиком жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, сырья, а также продукции химической отрасли (фармацевтических препаратов и органических химических соединений) и зависит от поставок товаров первичного сектора – угля и сырой нефти, а также стратегически важной продукции оборонного комплекса и энергетического машиностроения. В свою очередь,

Россия более чем на 60% зависит от экспорта минерального топлива, при этом выступает одним из крупнейших поставщиков вооружений и активно реализует проекты по строительству ядерных реакторов за рубежом.

Привлекательность индийского рынка определяется его высокой ёмкостью при значительной численности населения, высоких темпах экономического роста и стремительном укреплении среднего класса [Arapova 2018].

В рамках стратегического и привилегированного характера двустороннего партнёрства Россия наращивает поставки в Индию минерального топлива (угля, нефти и природного газа) и стремится к диверсификации сырьевого компонента экспорта за счёт потенциального увеличения поставок чёрных металлов, меди и алюминия; расширяется сотрудничество в атомной энергетике; растёт экспорт вооружений, продукции космического и энергетического машиностроения, есть потенциал для углубления взаимодействия в судостроении.

В структуре российского экспорта доминируют минеральные продукты. При этом

на фоне отрицательных темпов прироста мирового предложения минерального топлива спрос Индии на него растёт. Россия поставляет в Индию сжиженный природный газ в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», прорабатываются возможности продления газопровода «Сила Сибири» из России через Китай в Южную Азию, а российские компании «Росгеология», «Севморнефтегеофизика» (СМНГ) совместно с индийским нефтегазовым концерном ONGC проводят морские сейсморазведочные работы на континентальном шельфе Индии.

Дели нацелен на ускоренную индустриализацию и развитие высокотехнологичных производств: удвоение темпов прироста промышленного сектора к 2022 г. и внедрение передовых технологий в рамках программы *Industry 4.0* [Strategy for New India 2018], что потребует значительного увеличения поставок топлива и металлов.

Индия обогнала и Россию, и США, и Японию по объёмам производства чёрных металлов, поднявшись на вторую позицию – после Китая. Тем не менее стремительно растущий спрос в условиях нехватки инвестиций и сравнительно низкой производительности труда вынуждает наращивать импорт металлов. Аналогичные проблемы в сочетании с нехваткой технологий и относительно низким качеством инфраструктуры обуславливают высокую стоимость и более длительные сроки производства стали, что может сделать импортные закупки значительно более выгодными.

Другая проблема промышленного развития Индии – нехватка угля, превратившегося в одну из ключевых импортных позиций. Хотя Индия занимает 2-е место в мире по добыче угля, высокое потребление превратило страну во второго по величине импортёра угля после Японии к 2019 году. Даже в условиях резкого сокращения потребления и импорта угля на фоне панде-

мии и высокой выработки гидроэлектроэнергии Индия сохраняет позиции в тройке лидеров по объёмам импорта, уступая место лишь Японии и Китаю [IEA 2020]. Основными поставщиками являются Австралия, Индонезия и ЮАР, но при условии более либерального торгового режима Россия имеет хорошие шансы нарастить экспорт угля в Индию и расширить инвестиционное партнёрство в этой области.

Россия и Индия активно сотрудничают по линии атомной энергетики. В 2014 г. стороны подписали дорожную карту «Стратегическое видение российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии». На основе этого документа было осуществлено строительство АЭС «Куданкулам», в рамках которого в июне 2021 г. началась постройка 5-го энергоблока. К 2024 г. Индия планирует увеличить свой ядерный потенциал в 3 раза, чтобы снизить зависимость от ископаемых энергоносителей.

Оборонная промышленность остаётся одним из ключевых движителей российского экспорта в Индию. По последним данным Стокгольмского института исследования проблем мира, на Индию приходится 23% российских экспортных поставок вооружений и военной техники, что составляет 49% индийского импорта вооружений. В то же время за последние годы этот показатель сократился с 70% за счёт падения закупок на фоне сохранения положительных темпов прироста импорта вооружений из Израиля, Германии и США [SIPRI 2021]. Рекордным по поставкам российских вооружений в Индию стал 2015 год, когда Москва продала Нью-Дели оружия на 4 млрд долл. (чуть менее 25% от общей суммы оружейного экспорта), заключила контракты на поставку вертолётов Ми-18, бронетранспортёров БМП-2К и прочей военной техники². В 2018 г. были подписаны контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356 и партии бое-

² Совместное российско-индийское заявление по итогам официального визита в Российскую Федерацию Премьер-министра Республики Индии Н. Моды «Через доверительные отношения к новым горизонтам сотрудничества». 24 декабря 2015 года. URL: <http://kremlin.ru/supplement/5050>

припасов на общую сумму около 14,5 млрд долл.; идут переговоры о поставке истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

В последние годы на фоне санкционного давления со стороны США торговые отношения двух стран заметно усложнились. После того как главная российская компания в сфере торговли оружием, «Рособоронэкспорт», оказалась под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), индийские банки заморозили кредитные линии российских оборонных предприятий, в результате чего все сделки были приостановлены (это коснулось платежей по соглашениям о поставке вооружений между двумя странами в размере 2 млрд долл. США).

Тем не менее обоюдная заинтересованность в расширении торгового сотрудничества подталкивает стороны к поиску способов минимизировать риски и обеспечить выполнение заключённых контрактов. Правительства ведут переговоры с банками, готовыми осуществлять транзакции по заключённым внешнеторговым контрактам (с индийской стороны потенциальными контрагентами выступают *Indian Bank* и банк *Vijaya*, с российской – Сбер).

В 2018 г. Россия и Индия подписали первый и крупнейший рублёвый контракт на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» на общую сумму около 5 млрд долл. США, или свыше 330 млрд рублей. Кроме того, в рамках международной авиационно-космической выставки *AeroIndia-2019* «Рособоронэкспорт» подписал серию контрактов в области военно-технического сотрудничества. Портфель заказов Индии на российскую военную технику составляет 10 млрд долл. США.

Стратегические приоритеты индийской повестки промышленного развития, заинтересованность России в увеличении профицита двустороннего баланса и наращивании технологического экспорта могут стать движущими пружинами переговорного процесса о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Дели. В то же время потенциальные условия соглаше-

ния во многом определяются вероятными эффектами тарифной либерализации. В условиях хронически отрицательного торгового баланса Индия, как и Россия, заинтересована в опережающем наращивании экспорта, соответственно при реализации интеграционного сценария страна будет делать упор на расширение собственных экспортных возможностей при максимальном сохранении входных барьеров на свой рынок.

Тарифный протекционизм в Индии

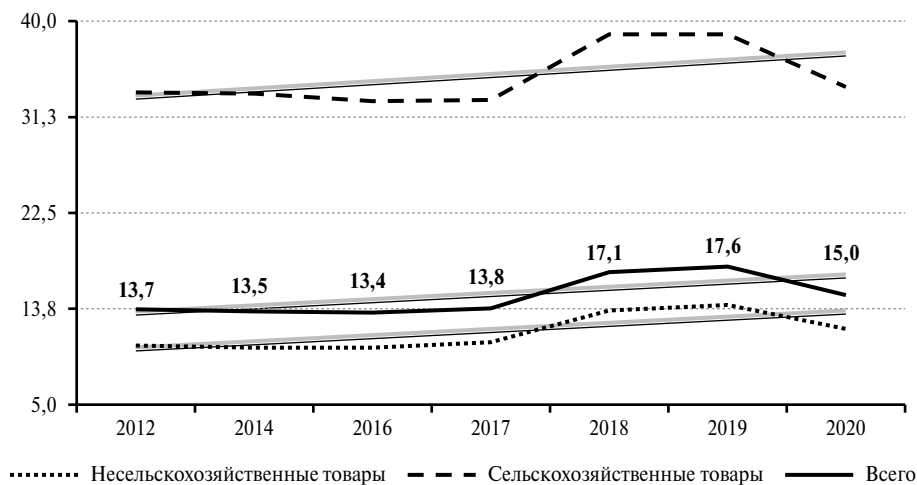
В группе развивающихся стран Азии Индия сохраняет один из самых высоких уровней тарифного протекционизма и устойчиво наращивает его. Средний уровень ставок таможенных пошлин в рамках режима наибольшего благоприятствования (РНБ) к 2019 г. достиг 17,6% против 13,4% в 2016 г. (диаграмма 1).

Самые высокие ставки таможенных пошлин действуют в отношении сельскохозяйственной продукции: напитки (в том числе чай и кофе), сахар и злаковые культуры, растительные масла и молочная продукция (табл. 4). Средний уровень таможенных пошлин на продовольствие составляет более 100%, на овощи – около 33, продукцию животноводства – 30%. Это товарные категории с максимальной эластичностью индийского импорта по ставкам таможенных пошлин.

2018–2019 годы ознаменовались резким повышением ставок ввозных пошлин на транспортные средства и комплектующие, а также минеральные продукты и металлы, в том числе нефтепродукты, выступающие ключевой статьёй российского экспорта в Индию. В 2020 г. Индия несколько снизила ставки таможенных пошлин, однако этот шаг имеет скорее краткосрочный характер и нацелен на стимулирование внешнеторгового оборота в условиях пандемии COVID-19, нежели закрепляет общий курс на либерализацию внешнеторгового режима страны.

В условиях нарастающего тарифного протекционизма заключение соглашения о свободной торговле может стать важ-

Диаграмма 1
Тенденции тарифного протекционизма в Индии, 2012–2020, %



Источник: *WTO World Tariff Profiles, 2013–2021*.

Таблица 4
Динамика среднего уровня ставок таможенных пошлин Индии в рамках РНБ по товарным позициям, %

	2012	2014	2016	2018	2019	2020
Продукция животного происхождения	31,1	31,1	31,1	32,5	32,5	30,8
Молочные продукты	33,5	33,5	33,5	34,8	35,7	35,7
Фрукты, овощи	31	30,8	29,4	32,4	33,2	30,2
Чай, кофе	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
Злаки	31,3	31,3	31,3	37,1	37,1	32,9
Жиры и масла	37,4	37	35,1	54,1	52	33,9
Сахар	35,9	35,9	35,9	51,5	51,5	50,9
Напитки и табак	69,1	69,1	68,6	74,7	74,7	75,8
Хлопок	6	6	6	26	26	6,0
Прочие сельскохозяйственные товары	22,5	22,4	22,3	29	29	22,8
Рыба и морепродукты	29,9	29,9	29,9	30	30	29,9
Минеральные продукты и металлы	7,6	7,6	8,2	11	11,2	8,9
Нефть	4,9	4,9	4,2	9,2	9,2	3,7
Продукция химической промышленности	7,8	7,9	7,9	10,1	10,2	8,1
Древесина	9	9	9	10	10	10,2
Текстиль	13,5	12	11,7	20,7	22,3	13,9
Одежда	14,1	12,5	12,3	20,5	23,9	21,5
Обувь, кожа...	10,2	10,1	10,1	12,1	13,1	13,7
Продукция неэлектрического машиностроения	7,3	7,1	7,1	7,8	8,1	7,8
Продукция электрического машиностроения	7,3	7,3	7,3	8,8	9,1	9,3
Транспортные средства	21,2	21,7	19,3	31,1	31,2	25,3
Промышленные товары	8,8	8,8	8,8	11,1	11,1	11,4

Источник: составлено автором по данным *WTO World Tariff Profiles 2013–2021*.

ным рычагом стимулирования экспорта в Индию из стран ЕАЭС, в первую очередь из России, и наращивания присутствия российских экспортёров на индийском рынке, в том числе за счёт вытеснения конкурентов, на которых будет распространяться действие торгового режима в рамках РНБ.

Методология исследования и данные

Настоящее исследование основано на модели частичного равновесия – SMART, разработанной в 1980-х годах экспертами ЮНКТАД и Всемирного банка для количественной оценки эффективности Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Выбранная модель позволяет дать количественную оценку изменения импортных потоков в ответ на шоки торговой политики через влияние на индекс цен на товары и относительных цен на товары-субституты [Plummer, Cheong, Hamanaka 2010]. Модель частичного равновесия идентифицирует прямые эффекты торгового шока на одном рынке, а косвенные эффекты на других рынках, и побочные эффекты игнорируются. Тем не менее для оценки эффектов тарифной либерализации в рамках интеграционных блоков, в особенности в Азии и Африке, SMART-модель широко применяется экспертами ВТО [Piermartini, Teh 2005], Азиатского банка развития [Cheong 2010], Экономической комиссии ООН по Африке (ЭКА) [Lang 2006] и национальными исследовательскими центрами, в частности Центром исследований ВТО Индийского института внешней торговли [Choudhry, Kallummal, Varma 2013] и Африканским центром торговой политики [Karingi, Oulmane, Lang 2005].

Преимущество модели состоит в доступности набора данных, которые требуются для расчёта (торговые потоки, ставки импортных пошлин, эластичность импортного спроса и эластичность замещения), а результаты получаются на высоком дезагрегированном уровне [Plummer, Cheong, Hamanaka 2010]. Кроме того, SMART-модель, будучи частью системы

World Integrated Trade Solution, позволяет рассчитать два типа торговых эффектов тарифной либерализации в соответствии с общепринятой классификацией эффектов Всемирного банка и ЮНКТАД [Amjadi et al. 2011], основанной на терминологии, введённой в научный оборот Я. Вайнером [Viner 1961]:

1. эффект создания торговли – увеличение спроса на импорт из страны-партнёра благодаря более низким тарифным ставкам;
2. эффект отклонения торговли – перенаправление потоков импорта от традиционных торговых партнёров в пользу стран с более низкими таможенными пошлинами.

Модель позволяет оценить не только эффекты в странах–объектах тарифной либерализации, но и в третьих государствах, спрогнозировать возможные изменения структуры рынка, потенциальные выгоды и издержки всех участников международной торговли.

Основные допущения модели WITS-SMART таковы:

1. Допущение Армингтона [Armington 1969] об оптимизации потребителем собственного спроса и замещения национальных товаров на импортные в условиях изменения их качества и цены.

2. Эластичность экспортных поставок принята на уровне 99 (т.е. чувствительность предложения экспорта к изменениям экспортной цены максимальна).

3. Эластичность импортозамещения принята равной 1,5, подразумевающей, что аналогичные товары из разных стран являются несовершенными заменителями.

В качестве базового года (точки отсчёта для расчётов эффектов тарифной либерализации) принят 2019 год.

Эффект создания торговли рассчитывается по формуле

$$TCE_{ijn} = \frac{M_{ijn} * \pi * \Delta T_{ijn}}{((1 + T_{ijn}) * (\pi/\omega))}, \text{ где}$$

TCE_{ijn} – эффект создания торговли в отношении товара n , импортируемого страной i из страны j ;

M_{ijn} – объём импорта товара n страны i из страны j ;

π — эластичность импортозамещения в стране-импортере;

T_{ijn} — значение импортного тарифа на товар n , взимаемого страной i при ввозе из страны j ;

ω — эластичность экспортных поставок.

Эффект отклонения торговли для стран, на которых не распространяется торговый шок (изменение тарифной политики), рассчитывается по формуле

$$TDE_{ikn} = \frac{M_j * M_{row} \left(\left(\frac{1 + T_{new}}{1 + T_{base}} \right) - 1 \right) * \lambda}{M_j + M_{row} + M_{row} \left(\left(\frac{1 + T_{new}}{1 + T_{base}} \right) - 1 \right) * \lambda}, \text{ где}$$

TDE_{ikn} — эффект отклонения торговли в отношении товара n , импортируемого страной i из страны k ;

M_j — объём импорта из страны-интеграционного партнёра j ;

M_{row} — суммарный объём импорта из остальных стран;

T_{new} — новый уровень ставок таможенных пошлин;

T_{base} — базовый уровень ставок таможенных пошлин;

λ — эластичность замещения.

Общий торговый эффект от реализации интеграционного сценария представляет собой сумму эффектов создания и отклонения торговли.

На основе расчётов с использованием модели SMART в рамках данного исследования оценивается потенциальный прирост двусторонних торговых потоков в случае взаимного 1%-го линейного снижения ставок таможенных пошлин между Россией (в составе ЕАЭС) и Индией. В отличие от исследований, опирающихся на модель частичного равновесия, но основанных на оценке торговых эффектов при взаимном обнулении ставок таможенных пошлин [Кофнер 2020], подобный подход позволяет моделировать сценарии либерализации различной глубины, оценивать как общие, так и ежегодные эффекты тарифной либе-

рализации, а также сформировать основу для переговорной позиции и последующей оценки эффектов по результатам достигнутых договорённостей.

Расчёты выполнены на базе данных UNCTAD TRAINS³, которая содержит информацию об объёмах внешнеторговых потоков, а также о таможенных ставках по различным товарным категориям, применяемых в отношении отдельных внешне-торговых партнёров.

Оценка потенциальных торговых эффектов

Полученные результаты подтверждают выводы ряда авторов [Nenci 2011; Feenstra 2003; Peters 2002; Salvatore 2013; Ebrill et al. 1999] о том, что эффекты тарифной либерализации зависят от (1) интенсивности двусторонней торговли, (2) текущего уровня тарифного регулирования и (3) уровня отраслевой конкурентоспособности.

В условиях низкой доли двусторонней торговли России и Индии средняя эластичность российского экспорта по ставкам таможенных пошлин, применяемых Индией, относительно невысока: их симметричное 1%-е снижение приведёт к росту экспорта лишь на 0,16%. В абсолютном выражении в наибольшей степени вырастут поставки алмазов, каменного угля и подсолнечного масла (табл. 5).

Алмазы традиционно составляют одну из ключевых экспортных позиций России: в 2019 г. на них пришлось более 8% (третья по размеру экспортная категория). Потенциальный прирост экспортных доходов будет обеспечен в числе прочего вытеснением с индийского рынка производителей из Бельгии и Объединённых Арабских Эмиратов. Каменный уголь — на второй позиции (почти 14%). В настоящее время на Россию приходится почти половина импортных поставок, но спрос на уголь в Индии будет расти (см. выше), и реализация интеграционного сценария укрепит

³ UNCTAD. Trade Analysis Information System (TRAIS). [Electronic source]. URL: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=UNCTAD-Trade-Analysis-Information-System-%28TRAIS%29> (accessed: 08.08.2021).

Таблица 5
Торговые эффекты для российского экспорта при 1%-м снижении Индией ставок импортных пошлин

	Общий торговый эффект, тыс. долл. США	Эффект создания торговли, тыс. долл. США	Эффект отклонения торговли, тыс. долл. США	Базовый средневзвешенный уровень ставок таможенных пошлин, %	Новый уровень ставок таможенных пошлин, %	Российский экспорт в 2019 г., тыс. долл. США	Процентный прирост, %
Всего	11391,4	7362,13	4029,21	27,906	27,627	7 308 101	0,16
Продукты животного происхождения (01-05)	9,041	7,781	1,26	30	29,7	288	3,14
Продукты растительного происхождения (06-14)	489,699	206,999	282,701	43,08	42,64	69 141	0,71
Масло подсолнечное (1512)	2245,47	1164,99	1080,47	100	99	163 325	1,37
Готовые пищевые продукты (16-24)	15,668	11,622	4,045	139,33	137,94	538	2,91
Минеральные продукты (25-27), в т.ч.	1487,97	1068,96	419,007	3,80	3,76	2 284 917	0,07
Асбест (2524)	169,533	137,797	31,735	10	9,9	86 845	0,20
Каменный уголь (2701)	871,429	608,733	262,695	2,5	2,47	641 297	0,14
Продукция химической промышленности (28-38), в т.ч.	1953,69	1558,2	395,497	6,2661	6,2058	557 312	0,35
Фосфинаты, фосфонаты и фосфаты (2835)	458,768	447,216	11,552	7,5	7,43	20 880	2,20
Удобрения азотные (3102)	278,685	216,689	61,996	5	4,95	65 656	0,42
Удобрения калийные (3104)	195,642	96,1	99,543	7,5	7,43	103 976	0,19
Удобрения (3105)	712,461	643,828	68,633	5	4,95	174 862	0,41
Пластмассы и изделия из них (39-40), в т.ч.	516,682	242,703	273,978	8,9707	8,8831	295 345	0,17
Полимеры винилхлорида (3904)	207,366	106,357	101,009	7,5	7,43	80 330	0,26
Полиамиды (3908)	138,524	58,413	80,11	10	9,9	61 187	0,23
Синтетический каучук (4002)	155,817	71,802	84,015	10	9,9	127 388	0,12
Необработанные шкуры, кожа, мех (41-43)	110,413	99,058	11,354	10	9,9	7751	1,42
Древесина и древесная масса (44-49), в т.ч.	1190,76	867,729	323,027	9,83	9,73	446 149	0,27
Пиломатериалы (4409)	146,895	142,57	4,324	10	9,9	4730	3,11
Газетная бумага (4801)	543,132	305,911	237,221	10	9,9	247 454	0,22
Крафт-бумага (4804)	157,774	149,038	8,736	10	9,9	4634	3,40
Печатная продукция (4911)	242,251	207,886	34,365	10	9,9	1753	13,82
Текстильные изделия и материалы (50-63)	43,241	16,731	26,507	18,74	18,55	15 436	0,28
Алмазы обработанные или необработанные (7102)	1723,5	1061,43	662,07	10	9,9	593 071	0,29
Серебро (7106)	568,825	356,441	212,384	12,5	12,38	172 579	0,33

Окончание табл. 5

	Общий торговый эффект, тыс. долл. США	Эффект создания торговли, тыс. долл. США	Эффект отклонения торговли, тыс. долл. США	Базовый средневзвешенный уровень ставок таможенных пошлин, %	Новый уровень ставок таможенных пошлин, %	Российский экспорт в 2019 г., тыс. долл. США	Процентный прирост, %
Недрагоценные металлы и изделия из них (72-83), в т.ч.	587,14	399,247	187,889	8,83	8,74	302 765	0,19
Полуфабрикаты из железа и стали (7207)	120,27	105,63	14,64	10	9,9	0	
Прокат плоский (7225)	83,275	36,4	46,875	8,75	8,66	54 463	0,15
Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий (колумбий), рений, таллий и изделия из них (8112)	101,159	97,232	3,927	7,5	7,42	3726	2,71
Машины и оборудование (84-90), в т.ч.	413,741	275,921	137,813	8,71	8,62	1520 600	0,03
Турбореактивные двигатели (8411)	2,98	2,617	0,363	7,5	7,43	281 167	0,00
Машины и промышленное оборудование (8419)	0,198	0,091	0,107	8,44	8,35	165 504	0,00
Краны, клапаны, вентили (8481)	5,193	2,433	2,76	7,5	7,43	38 822	0,01
Измерительные приборы (9031)	4,746	2,131	2,615	7,5	7,43	148 189	0,00
Прочие товары	35,501	24,309	11,193				

Источник: расчёты автора на основе WITS Simulation Tool SMART. URL: <https://wits.worldbank.org/simulationtool.html>

позиции на индийском рынке российских экспортёров и нарастит экспортные доходы как благодаря расширению спроса на российский уголь, так и по мере вытеснения с рынка конкурентов из Австралии, Индонезии и ЮАР.

Полученные результаты подтверждают зависимость эффектов либерализации от базовых ставок таможенных пошлин [Ebrill et al. 1999; Ahmad et al. 2018]. Чем выше текущий уровень ставок таможенных пошлин, тем сильнее эффекты тарифной либерализации.

В относительном выражении от реализации интеграционного сценария в наибольшей степени выиграют российские экспортёры отдельных сельскохозяйственных продуктов, в первую очередь подсолнечного масла, экспорт которого при 1%-м снижении ставок ввозных пошлин будет еже-

годно расти на 1,37%. Причём этот эффект будет в равной мере обеспечен как ростом спроса на фоне сокращения цены, так и вытеснением конкурентов, в первую очередь из Украины и Аргентины. За счёт высоких базовых ставок таможенных пошлин и относительно более высокой ценовой эластичности спроса ускоренными темпами может расти и экспорт других видов сельскохозяйственных товаров и готовой продукции, но в абсолютном выражении потенциальные выгоды экспортёров незначительны, поскольку доля этих категорий в структуре российского экспорта невысока.

В результате создания зоны свободной торговли существенно выиграют российские экспортёры отдельных категорий химических соединений (фосфинатов, фосфонатов и фосфатов – на 2,2%) и удобрений. На 0,33% при линейной тарифной ли-

берализации вырастет экспорт российского серебра. Нарастить экспортные поставки смогут производители пиломатериалов (на 3,11%) и печатной продукции (на 13,82%).

Между тем роста поставок нефтепродуктов ожидать не приходится: относительно низкие ставки импортных пошлин (от 5 до 10%) при устойчиво низкой доле рынка, занятой российскими экспортёрами (не более 1%), сводят потенциальные эффекты к нулю. То же касается и высокотехнологичной продукции машиностроения: ценовая эластичность технологического экспорта фактически стремится к нулю, а конкурентоспособность продукции определяют преимущественно неценовые факторы.

Как следует из вышесказанного, создание зоны свободной торговли будет способствовать укреплению сырьевой низкотехнологичной направленности российского экспорта в Индию на фоне отсутствия стимулирующего эффекта в отношении продукции машиностроения и крайне низкой вероятности снижения Дели ставок ввозных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.

Потенциальный прирост российского импорта в ответ на создание зоны свободной торговли будет существенно ниже. 1%-е снижение пошлин странами ЕАЭС позволит нарастить объёмы индийского экспорта не более чем на 0,1%. При этом наибольший абсолютный прирост импорта придётся на лекарственные средства, занимающие первую строку и 15% в структуре российского импорта из Индии (табл. 6). Индийские экспортёры лекарственных средств смогут укрепить позиции в отдельном сегменте российского рынка, потеснив производителей Германии, США, Венгрии, Швейцарии, Франции и Нидерландов.

Снижение ввозных пошлин может расширить спрос на индийские изделия из камня, гипса, цемента и проч., в том числе за счёт сокращения закупок из Китая. Одновременно может вырасти спрос на изделия из кожи, одежду и текстиль, а также ювелирные изделия, ценовая эластичность которых относительно выше. От создания зоны свободной торговли выиграют индий-

ские производители чая и кофе: 1%-е снижение ставок ввозных пошлин странами ЕАЭС расширит поставки на российский рынок в среднем на 0,16%. Несмотря на относительно низкую эластичность российского импортного спроса на машины и оборудование из Индии, относительно более высокая их доля в структуре отечественного импорта обеспечит сравнительно высокий абсолютный прирост.

Потенциальная эффективность зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Индией обусловлена относительно высоким уровнем протекционизма со стороны Индии в отношении импорта из стран-участниц интеграционного объединения. В случае, если в результате многосторонних переговоров удастся достичь договорённостей об относительно высоком качестве интеграции, в том числе интенсивных графиках тарифной либерализации, эффект от создания ЗСТ может быть выше.

Эффекты тарифной либерализации во многом зависят от базового уровня тарифного регулирования. Пример потенциальной зоны свободной торговли ЕАЭС–Индия подтверждает, что низкие ставки пошлин, с одной стороны, ограничивают возможности их дальнейшего снижения, а следовательно, и потенциал тарифной либерализации. С другой стороны, более низкие ставки применяются в большинстве случаев в отношении сырьевых и низкотехнологичных товаров с малой добавленной стоимостью и низкой ценовой эластичностью. При этом относительно более высокие таможенные пошлины до реализации интеграционного сценария предопределяют относительно более значимые эффекты тарифной либерализации и более высокую эластичность импортного спроса по цене.

Зона свободной торговли может стать важным инструментом укрепления на индийском рынке российских экспортёров удобрений и отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, спрос на которые в Индии стремительно растёт. Индия, в свою очередь, может укрепиться на российском рынке лекарственных средств, а также нарастить долю текстильной про-

дукции, украшений и отдельных категорий сельскохозяйственной продукции.

Эластичность различных категорий минерального топлива (в том числе каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов), которые составляют на текущий момент значительную долю российского экспорта, существенно ниже прочих товарных категорий — отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции, удобрений, некоторых металлов (никеля, серебра). Соответственно, в случае линейного сбалансированного снижения Индией ставок таможенных пошлин на большинство российских экспортных позиций, и тем более при относительно более интенсивной тарифной либерализации в отношении сельскохозяйственной продукции, металлов и

Таблица 6
Торговые эффекты для российского импорта при 1%-м снижении ставок импортных пошлин в отношении импорта из Индии

	Общий торговый эффект, тыс. долл. США	Эффект создания торговли, тыс. долл. США	Эффект отклонения торговли, тыс. долл. США	Базовый средневзвешенный уровень ставок таможенных пошлин, %	Новый уровень ставок таможенных пошлин, %	Российский экспорт в 2019 г., тыс. долл. США	Процентный прирост, %
Всего	3822,65	2219,727	1602,909	6,57	6,50	3 921 794	0,10
Продукты животного происхождения (01-05)	240,55	127,145	113,404	8,33	8,25	163 828	0,15
Продукты растительного происхождения (06-14)	187,42	133,347	54,069	5,40	5,34	358 204	0,05
Готовые пищевые продукты (16-24)	249,633	113,823	135,808	8,48	8,39	182 275	0,14
Минеральные продукты (25-27)	10,296	5,286	5,01	3,44	3,40	23 066	0,04
Продукция химической промышленности (28-38), в т.ч.	746,487	320,753	425,737	4,17	4,13	1 080 865	0,07
Лекарственные средства (3004)	426,941	146,85	280,091	4,13	4,09	585 149	0,07
Пластмассы и изделия из них (39-40)	121,72	51,708	70,014	6,48	6,41	116 976	0,10
Необработанные шкуры, кожа, мех (41-43), в т.ч.	472,527	413,217	59,311	6,50	6,43	60 787	0,78
Кожа (4107)	368,758	365,574	3,184	5,00	4,95	11 944	3,09
Древесина и древесная масса (44-49)	6,541	3,357	3,181	6,25	6,18	13 687	0,05
Текстильные изделия и материалы (50-63)	513,798	367,326	146,475	8,46	8,37	275 206	0,19
Алмазы обработанные или необработанные (7102)	83,835	57,962	25,873	6,67	6,60	27 630	0,30
Ювелирные изделия (7113)	52,933	32,843	20,09	10,00	9,90	15 581	0,34
Недрагоценные металлы и изделия из них (72-83)	279,04	141,154	137,89	7,04	6,97	226 250	0,12
Машины и оборудование (84-90), в т.ч.	661,636	329,386	332,238	5,70	5,65	1 235 899	0,05
Части моторных транспортных средств (8708)	158,305	73,401	84,904	5,03	4,98	121 066	0,13
Прочие товары	196,234	122,42	73,809				

Источник: расчёты автора на основе WITS Simulation Tool SMART. URL: <https://wits.worldbank.org/simulationtool.html>.

химических соединений, Россия имеет шансы диверсифицировать товарную структуру сырьевого и относительно менее технологичного экспорта в Индию, снизив долю минерального топлива.

При этом тарифная либерализация вряд ли поддержит российский экспорт более технологичной стратегически значимой продукции машиностроения. Заключение контрактов на поставки военной техники, летательных аппаратов или продукции энергетического машиностроения в большей степени обусловлено качественными характеристиками, степенью надёжности и политической волей. Значение ценового фактора и эффектов тарифной либерализации фактически сводится к нулю. Интеграционные эффекты в этой части могут оказаться скорее косвенными – за счёт укрепления политического партнёрства между сторонами.

Кроме того, вследствие относительно более высокой ценовой эластичности российского экспорта по сравнению с импортными потоками симметричная тарифная либерализация приведёт к укреплению и расширению положительного сальдо двусторонней торговли, что в условиях хронического торгового дефицита вряд ли соответствует стратегическим интересам Индии.

* * *

Потенциальные эффекты тарифной либерализации в рамках ЗСТ ЕАЭС–Индия фактически не изучены в академической литературе. В то же время в силу особенностей структуры взаимной торговли и внешнеторгового курса данный объект анализа представляет высокий интерес как в части развития академической дискуссии об эффектах тарифной либерализации и предопределяющих их факторах, так и с практической точки зрения – для выработки внешней торговой политики России.

По итогам проведённого анализа в развитие предшествующих исследований [Krugman 1979; Goldstein and Kahn 1978; Feenstra 1995; Peters 2002; Feenstra 2003; Nenci 2011; Salvatore 2013] были сделаны следующие теоретические выводы:

– в условиях низкой взаимозависимости и интенсивности торговых потоков эффекты тарифной либерализации ограничены, а эластичность торговых потоков по ставкам таможенных пошлин крайне низка;

– чем выше базовый уровень ставок таможенных пошлин, тем потенциально выше эластичность внешнеторговых потоков;

– для менее технологичных товаров с относительно низкой добавленной стоимостью при сопоставимых ставках таможенных пошлин характерна более высокая эластичность, нежели для более технологичной продукции машиностроения.

Москва позиционирует Индию как одного из ключевых стратегических партнёров в Азиатском регионе. При традиционном положительном торговом балансе и спросе индийских импортеров на продукцию российского тяжёлого машиностроения Россия заинтересована в расширении стратегического взаимодействия. Было установлено, что реализация интеграционного сценария может придать импульс расширению торгового сотрудничества, а относительно более высокая ценовая эластичность индийского импорта – обусловить опережающий рост российского экспорта перед импортом, расширив профицит двусторонней торговли для России.

Торговая интеграция Индии и ЕАЭС может предопределить некоторые изменения в товарной структуре российского экспорта, но в большей степени в направлении диверсификации его сырьевого компонента при ограниченном росте поставок высокотехнологичной продукции машиностроения. На фоне низкой ценовой эластичности спроса на минеральное топливо его доля в структуре российского экспорта будет сокращаться. При этом потенциально вырастут поставки угля, в меньшей степени – металлов (алюминия, меди и изделий из них).

Достичь более значимых результатов, соответствующих стратегическим интересам российской экономики, закреплённым в ключевых документах долгосрочного стратегического планирования, можно лишь при условии грамотного формулирования переговорной позиции. В области

тарифного регулирования ключевые принципы переговорной позиции России, которые могут быть положены в основу коллективной позиции ЕАЭС, сводятся к:

- снижению и обнулению Индией ставок импортных пошлин на минеральное топливо и металлы (в первую очередь медь, алюминий, серебро), минимальный переходный период тарифной либерализации;

- снижению ставок таможенных пошлин на продукцию органической химии (фосфинаты, фосфаты, минеральные и химические удобрения);

- ускоренной тарифной либерализации торговли отдельными категориями продукции машиностроения (ядерные реакторы и котлы, продукция энергетического машиностроения и проч.) и сельского хозяйства (овощи, злаковые культуры, в первую очередь пшеница);

- включению для стран-участниц ЕАЭС в список чувствительных товаров текстильной продукции и отдельных продовольственных товаров (в частности, мясной продукции и овощей), предполагающему установление более длительных переходных периодов снижения ставок импортных пошлин.

При этом, помимо тарифной либерализации, «готовность Индии снижать нетарифные барьеры, которыми эти рынки

успешно регулируются, является ключевым условием, без которого потенциальные выгоды от ЗСТ не будут реализованы в полной мере» [Евразийский экономический союз 2017].

Целью настоящей работы стала количественная оценка эффектов тарифной либерализации от создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией исключительно для России, а также выявление условий торговой сделки, в наибольшей степени отвечающих стратегическим интересам нашей страны. Направление дальнейших исследований заключается в количественной оценке потенциальных эффектов для ЕАЭС в целом, проведении сравнительного анализа заинтересованности других стран-участниц ЕАЭС в интеграции с Индией, а также сопоставлении результатов с эффектами зон свободной торговли с Сингапуром и Вьетнамом. Важно учитывать, что настоящее исследование исходит из оценки потенциальных торговых эффектов на основе исключительно факторов взаимной экономической заинтересованности двух стран в развитии торговой интеграции. При этом одним из ключевых направлений дальнейших исследований должна стать оценка внешнеполитических факторов и санкционных тенденций, сдерживающих развитие многостороннего торгового диалога.

Список литературы

- Брагина Е.А. Индия: новые черты экономической политики // Год планеты. Ежегодник. 2015. С. 331–341.
- Валуева И.А., Коновалова Ю.А. Военно-техническое сотрудничество двух региональных держав: новые вызовы для России и Индии // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2018. № 1(26). С. 28–37.
- Галищева Н.В., Небольсина Е.В. США и Китай во внешнеэкономической политике Индии: в поисках баланса для сохранения стратегической автономии // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2021. № 2. С. 304–324.
- Евразийский экономический союз / Под ред. Е. Ю. Винокурова. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 287 с.
- Захаров А.И. Вступление Индии в глобальный мир: особенности пути // Россия и современный мир. 2020. № 2. С. 113–134.
- Захаров А.И. Региональные аспекты российско-индийских отношений // Вестник Института востоковедения РАН. 2018. № 6. С. 109–115.
- Коновалова Ю.А. Россия–Индия: сотрудничество в XXI веке. М.: Экон-Информ, 2017. 251 с.
- Копфнер Ю. Либерализация торговли с Индией даст ЕАЭС 4,6 млрд долларов ежегодно. РСМД, Большая Евразия, 2020. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/GreaterEurasia/35121/?sphrase_id=83508605
- Лихачёва А.Б., Калачигин Г.М. Оценка рисков либерализации торговли товарами со странами Азии в рамках российской политики «Поворота на Восток» // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 3. С. 52–69.
- Лунёв С.И. Россия и Индия в Индо-Тихоокеанском регионе и фактор США // Актуальные проблемы Европы. 2020. № 1(105). С.182–212.

- Маляров О.В. Экономическая реформа в Индии. М., 2007. 76 с.
- Ниведита Дас Кунду. Российско-индийские отношения: прошлое, настоящее, будущее. Международный дискуссионный клуб «Валдай», 2016. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-indiyskie-otnosheniya/>
- Ahmad K., Safdar A., Amjad A. Trade Revenue Implications of Trade Liberalization in Pakistan. MPRA, 2018. 23 p.
- Amjadi A., Schuler P., Kuwahara H., Quadros S. WITS: user's manual. UNCTAD, UNSD, WTO, WB, Washington, 2011. 187 p.
- Arapova E.Y. Determinants of Household Final Consumption Expenditures in Asian Countries: a Panel Model, 1991–2015 // Applied Econometrics and International Development. 2018. Vol. 18. No. 1. P. 121–140.
- Armington P.S. A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production // International Monetary Fund Staff Papers. 1969. Vol. 16. No. 1. P. 159–176.
- Baldwin R.E., Lewis W.E., Richardson J.D. Welfare effects on the United States of a significant multilateral tariff reduction // Journal of International Economics. 1980. Vol. 10. No. 3. P. 405–423.
- Bhagwati J.N. Protectionism. Cambridge: MIT Press, 1988. 147 p.
- Cheong D. Methods for Ex Ante Economic Evaluation of Free Trade Agreements // ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. No. 52. 2010. P. 1–36.
- Choudhry S., Kallummal M., Varma P. Impact of India-ASEAN free trade agreement: a cross-country analysis using applied general equilibrium modelling. New Delhi: Centre for WTO studies, 2013. 59 p.
- Cline W.R., Kawanabe T.O., Kronsjo M., Williamset T. Trade Negotiations in the Tokyo Round: A Quantitative Assessment. Brookings Institution, 1978. 314 p.
- Denisov I., Safranchuk I., Bochkov D. China-India Relations in Eurasia: Historical Legacy and the Changing Global Context // Human Affairs. 2020. Vol. 30. P. 224–238.
- Ebrill L., Stotsky J., Gropp R. Revenue Implications of Trade Liberalization. International Monetary Fund. IMF Occasional Paper No. 180. Washington, USA, 1999. 47 p.
- Feenstra R. Estimating the Effects of Trade Policy. NBER Working Paper, 5051, 1995. P. 2–60.
- Feenstra R. Advanced International Trade: Theory and Evidence (2nd ed). Princeton University Press, 2003. 657 p.
- Francois J.F., Martin W. Commercial Policy Variability, Bindings, and Market Access // European Economic Review. 2004. Vol. 48. No. 3. P. 665–679.
- Goldstein M., Kahn M.S. The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach // The Review of Economics and Statistics. 1978. Vol. 60. No. 2. P. 275–286.
- Greenaway D., Sapsford D. Exports, growth, and liberalization: An evaluation // Journal of Policy Modeling. 1994. Vol. 16. No. 2. P. 165–186.
- Helpman E. Understanding Global Trade. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. 232 p.
- Houthakker H.S., Magee S.P. Income and Price Elasticities in World Trade // Review of Economics and Statistics. 1969. No. 51. P. 111–125.
- India EAEU FTA Survey Report. FICCI, 2016. 32 p.
- Karingi S., Oulmane N., Lang R. Assessment of the impact of the economic partnership agreement between the ECOWAS countries and the European Union. Addis Ababa: African Trade Policy Center, 2005. 50 p.
- Krueger A.O. Why Trade Liberalization is Good for Growth // The Economic Journal. 1998. Vol. 108. P. 1513–1522.
- Krugman P.R. Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade // Journal of International Economics. 1979. Vol. 9. No. 4. P. 469–479.
- Lang R. A partial equilibrium analysis of the impact of the ECOWAS-EU, Economic Partnership Agreement. Purdue University, 2006. 33 p.
- Leamer E.E., Levinsohn J. International trade theory: The evidence // Handbook of International Economics. 1995. No. 3. P. 1339–1394.
- Plummer M.G., Cheong D., Hamanaka S. Methodology for impact assessment of free trade agreements. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010. 120 p.
- Nenci S. Tariff Liberalisation and the Growth of World Trade: A Comparative Historical Analysis of the Multilateral Trading System // The World Economy. 2011. Vol. 34. No. 10. P. 1809–1835.
- Ostry J.D. Trade Liberalization in Developing Countries: Initial Trade Distortions and Imported Intermediate Inputs // International Monetary Fund Staff Papers. 1991. Vol. 38. No. 3. P. 447–479.
- Pant H. India-Russia Economic and Energy Cooperation: The Way Ahead // RF Issue Brief, June, 2017. P. 1–8.
- Peters A. The Fiscal Effects of Tariff Reduction in the Caribbean Community. CARICOM Secretariat, 2002. 38 p.
- Piermartini R., Teh R. Demystifying Modelling Methods for Trade Policy // WTO Discussion Paper. 2005. No. 10. P. 1–59.

- Porter M.E. *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. NY: Free Press, 1985. 592 p.
- Rose A.K. Do We Really Know that the WTO Increases Trade? NBER Working Paper, 9273, 2002. P. 2–11.
- Salvatore D. *International Economics: Trade and Finance* (13th Ed). John Wiley & Sons, 2013. 836 p.
- Sequeira S. Corruption, trade costs, and gains from tariff liberalization: evidence from Southern Africa // *American Economic Review*. 2016. Vol. 106. No. 10. P. 3029–3063.
- Shikin V., Bhandari A. *Russia – India Energy Cooperation: Trade, Joint Projects, and New Areas*. Policy Brief. RIAC and Gateway House, 2017. P. 2–37.
- Singh R., Sharma S.P. *India – Eurasian Economic Union Relations. Fortifying Trade and Tourism Prospects*. PHD Research Bureau, 2017. 13 p.
- Sinha A. A theory of reform consolidation in India: From crisis-induced reforms to strategic internationalization // *India Review*. 2019. Vol. 18. No. 1. P. 54–87.
- SIPRI Fact Sheet 2021. *Trends in International Arms Transfers*, 2020.
- Strategy for New India @75, Niti Aayng.
- Trefler D. Trade Liberalization and the Theory of Endogenous Protection: An Econometric Study of U.S. Import Policy // *Journal of Political Economy*. 1993. Vol. 101. P. 138–160.
- Viner J. *The Customs Union Issue*. Washington DC: Anderson Kramer Associates, Edition 1961. 247 p.
- Wang Q. Import-Reducing Effect of Trade Barriers: a Cross-Country Investigation. IMF Working Paper, 1216, 2001. P. 1–53.
- Zakharov A. The Geopolitics of the US-India-Russia Strategic Triangle // *Strategic Analysis*. 2019. Vol. 43. No. 5. P. 357–371.
- Zakharov A. *Exploring New Drivers in India-Russia Cooperation*. RF Occasional Paper, 2017. 34 p.

EAEU-INDIA FREE TRADE AREA POTENTIAL TARIFF LIBERALIZATION EFFECTS FOR RUSSIA

EKATERINA ARAPOVA

MGIMO University, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract

In 2017, negotiations on the free trade area between India and the EAEU countries entered an active phase. The directions of the negotiation process cover the issues of import tariff liberalization, and the elimination of non-tariff restrictions. The study aims at quantifying the potential impact of mutual tariff liberalization on the dynamics of bilateral trade between Russia and India, in order to develop key principles for Russia's negotiating position (as part of the EAEU), taking into account its strategic priorities. The research methodology bases on the SMART partial equilibrium model and a qualitative analysis of contemporary trends in import demand and the degree of India's trade protectionism towards imports from the EAEU countries. The study found that the symmetric bilateral tariff liberalization may result in the higher potential increase in Russian exports to India than in the corresponding effects on imports, which will increase the bilateral trade surplus. This is in the interests of Russia, but it hardly meets the strategic interests of India due to its chronic trade deficit. The free trade area may lead to the diversification of the commodity component of Russian exports due to the growing export supplies of Russian coal, to a lesser extent – of metals (aluminum, copper and articles thereof). However, the opportunities to increase the share of high-tech products in the structure of Russian exports remain limited. The free trade area can become an important tool for strengthening Russian exporters of fertilizers, as well as certain categories of agricultural products. In turn, Indian exporters can strengthen their positions on the Russian market of medicines, as well as increase the share of textile products, jewelry

and certain categories of agricultural products. The results can serve for developing the position of Russia (as a EAEU member) in multilateral negotiations.

Keywords:

EAEU; Russia; India; free trade area; SMART-model; econometric analysis; tariff liberalization effects; economic integration; customs duties; foreign trade policy.

References

- Ahmad K., Safdar A., Amjad A. (2018). *Trade Revenue Implications of Trade Liberalization in Pakistan*. MPRA. 23 p.
- Amjadi A., Schuler P., Kuwahara H., Quadros S. (2011). *WITS: user's manual*. Washington DC: UNCTAD, UNSD, WTO, WB. 187 p.
- Arapova E.Y. (2018). Determinants of Household Final Consumption Expenditures in Asian Countries: a Panel Model, 1991–2015. *Applied Econometrics and International Development*. Vol. 18. No. 1. P. 121–140.
- Armington P. S. (1969). *A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production*. International Monetary Fund Staff Papers. Vol. 16. No. 1. P. 159–176.
- Baldwin R. E., Lewis W. E., Richardson J.D. (1980). Welfare effects on the United States of a significant multilateral tariff reduction. *Journal of International Economics*. Vol. 10. No. 3. P. 405–423.
- Bhagwati J.N. (1988). *Protectionism*. Cambridge (Mass.): MIT Press. 147 p.
- Bragina Y.A. (2015). Indiya: novyye cherty ekonomicheskoy politiki [India: New Features of Economic Policy. Year of the Planet]. *God planety. Yezhegodnik*. P. 331–341.
- Cheong D. (2010). *Methods for Ex Ante Economic Evaluation of Free Trade Agreements*. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. No. 52. P. 1–36.
- Choudhry S., Kallummal M., Varma P. (2013). *Impact of India-ASEAN free trade agreement: a cross-country analysis using applied general equilibrium modelling*. New Delhi: Centre for WTO studies. 59 p.
- Cline W. R., Kawanabe T.O., Kronsjo M., Williamset T. (1978). *Trade Negotiations in the Tokyo Round: A Quantitative Assessment*. Brookings Institution. 314 p.
- Denisov I., Safranchuk I., Bochkov D. (2020). China-India Relations in Eurasia: Historical Legacy and the Changing Global Context. *Human Affairs*. Vol. 30. P. 224–238.
- Ebrill L., Stotsky J., Gropp R. (1999). *Revenue Implications of Trade Liberalization*. International Monetary Fund. IMF Occasional Paper No.180. Washington DC, USA. 47 p.
- Feenstra R. (1995). *Estimating the Effects of Trade Policy*. NBER Working Paper, 5051. P. 2–60.
- Feenstra R. (2003). *Advanced International Trade: Theory and Evidence (2nd ed)*. Princeton University Press. 657 p.
- FICCI. (2016). *India EAEU FTA Survey Report*. 32 p.
- Francois J.F., Martin W. (2004). Commercial Policy Variability, Bindings, and Market Access. *European Economic Review*. Vol. 48. No. 3. P. 665–679.
- Galishcheva N.V., Nebol'sina E.V. (2021). SSHA i Kitay vo vneshneekonomicheskoy politike Indii: v poiskakh balansa dlya sokhraneniya strategicheskoy avtonomii [USA and China in India's Foreign Economic Policy: in Search of a Balance for Maintaining Strategic Autonomy]. *Vestnik RUDN. Seriya: Mezhdunarodnyye otnosheniya*. No. 2. P. 304–324.
- Goldstein M., Kahn M.S. (1978). The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 60. No. 2. P. 275–286.
- Greenaway D., Sapsford D. (1994). Exports, growth, and liberalization: An evaluation. *Journal of Policy Modeling*. Vol. 16. No. 2. P. 165–186.
- Helpman E. (2011). *Understanding Global Trade*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 232 p.
- Houthakker H.S., Magee S.P. (1969). Income and Price Elasticities in World Trade. *Review of Economics and Statistics*. Vol. 51. P. 111–125.
- Karingi S., Oulmane N., Lang R. (2005). *Assessment of the impact of the economic partnership agreement between the ECOWAS countries and the European Union*. Addis Ababa: African Trade Policy Center. 50 p.
- Kofner Yu. (2020). *Liberalizatsiya torgovli s Indiyey dast YEAES 4,6 mlrd dollarov yezhegodno* [Liberalization of Trade with India Will Give the EAEU \$ 4.6 billion Annually]. RIAC, Bol'shaya Yevraziya.
- Konovalova Y.A. (2017). *Rossiya-Indiya: sotrudnichestvo v XXI veke* [Russia-India: Cooperation in the 21st Century]. Moscow: Ekon-Inform. 251 p.
- Krueger A.O. (1998). Why Trade Liberalization is Good for Growth. *The Economic Journal*. Vol. 108. P. 1513–1522.

- Krugman P.R. (1979). Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade. *Journal of International Economics*. Vol. 9. No. 4. P. 469–479.
- Lang R. (2006). *A partial equilibrium analysis of the impact of the ECOWAS-EU, Economic Partnership Agreement*. Purdue University. 33 p.
- Leamer E.E., Levinsohn J. (1995). International trade theory: The evidence. *Handbook of International Economics*. No. 3. P. 1339–1394.
- Likhacheva A.B., Kalachigin G.M. (2018). Otsenka riskov liberalizatsii torgovli so stranami Azii v ramkakh rossiyskoy politiki "Povorota na Vostok" [Assessment of the Risks of Trade Liberalization with Asian Countries in the Framework of the Russian Policy "Turn to the East"]. *Vestnik mezhdunarodnykh organizatsij*. Vol. 13. No. 3. P. 52–69.
- Lunev S.I. (2020). Rossiya i Indiya v Indo-Tikhookeanskom regione i faktor SSHA [Russia and India in the Indo-Pacific Region and the US Factor]. *Aktual'nyye problemy Yevropy*. No. 1(105). P. 182–212.
- Malyarov O.V. (2007). *Ekonomicheskaya reforma v Indii* [Economic Reform in India]. Moscow. 76 p.
- Nenci S. (2011). Tariff Liberalisation and the Growth of World Trade: A Comparative Historical Analysis of the Multilateral Trading System. *The World Economy*. Vol. 34. No. 10. P. 1809–1835.
- Nivedita Das Kundu. (2016). *Rossiysko-indiyskiye otnosheniya: proshloye, nastoyashcheye, budushcheye* [Russian-Indian Relations: Past, Present, Future]. Mezhdunarodnyj diskussionnyj klub Valdai. 2016. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiysko-indiyskie-otnosheniya/>
- Ostry J.D. (1991). *Trade Liberalization in Developing Countries: Initial Trade Distortions and Imported Intermediate Inputs*. International Monetary Fund Staff Papers. Vol. 38. No. 3. P. 447–479.
- Pant H. (2017). *India-Russia Economic and Energy Cooperation: The Way Ahead*. RF Issue Brief, June. P. 1–8.
- Peters A. (2002). *The Fiscal Effects of Tariff Reduction in the Caribbean Community*. CARICOM Secretariat. 38 p.
- Piermartini R., Teh R. (2005). *Demystifying Modelling Methods for Trade Policy*. WTO Discussion Paper. No. 10. 59 p.
- Plummer M.G., Cheong D., Hamanaka S. (2010). *Methodology for impact assessment of free trade agreements*. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. 120 p.
- Porter M.E. (1985). *The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. NY: Free Press. 592 p.
- Rose A.K. (2002). *Do We Really Know that the WTO Increases Trade?* NBER Working Paper, 9273. P. 2–11.
- Salvatore D. (2013). *International Economics: Trade and Finance (13th ed)*. John Wiley & Sons. 836 p.
- Sequeira S. (2016). Corruption, trade costs, and gains from tariff liberalization: evidence from Southern Africa. *American Economic Review*. Vol. 106. No. 10. P. 3029–3063.
- Shikin V., Bhandari A. (2017). Russia – India Energy Cooperation: Trade, Joint Projects, and New Areas. Policy Brief. RIAC and Gateway House. 37 p.
- Singh R., Sharma S.P. (2017). *India – Eurasian Economic Union Relations. Fortifying Trade and Tourism Prospects*. PHD Research Bureau. 13 p.
- Sinha A. (2019). A theory of reform consolidation in India: From crisis-induced reforms to strategic internationalization. *India Review*. Vol. 18. No. 1. P. 54–87.
- SIPRI. (2021). *Trends in International Arms Transfers*.
- Strategy for New India @75. (2019). Niti Aayng.
- Trefler D. (1993). Trade Liberalization and the Theory of Endogenous Protection: An Econometric Study of U.S. Import Policy. *Journal of Political Economy*. Vol. 101. P. 138–160.
- Valuyeva I.A., Kononova YU.A. (2018). Voenno-tekhnicheskoye sotrudnichestvo dvukh regional'nykh derzhav: novyye vyzovy dlya Rossii i Indii [Military-Technical Cooperation between Two Regional Powers: New Challenges for Russia and India]. *Vestnik RUDN. Seriya: Ekonomika*. No. 1(26). P. 28–37.
- Viner J. (1961). *The Customs Union Issue*. Washington DC: Anderson Kramer Associates. 247 p.
- Wang Q. (2001). *Import-Reducing Effect of Trade Barriers: a Cross-Country Investigation*. IMF Working Paper, 1216. 53 p.
- Vinokurov E. Yu. (ed.) (2017). *Yevraziyskiy ekonomicheskii soyuz* [Eurasian Economic Union]. St. Petersburg: EDB Center for Integration Studies. 287 p.
- Zakharov A. (2019). The Geopolitics of the US-India-Russia Strategic Triangle. *Strategic Analysis*. Vol. 43. No. 5. P. 357–371.
- Zakharov A.I. (2018). Regional'nye aspekty rossiysko-indiyskikh otnoshenij [Regional Aspects of Russian-Indian Relations]. *Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN*. No. 6. P. 109–115.
- Zakharov A.I. (2020). Vstupleniye Indii v global'nyy mir: osobennosti puti [India's Entry into the Global World: Features of the Path]. *Rossiya i sovremennyy mir*. No. 2. P. 113–134.
- Zakharov A. (2017). *Exploring New Drivers in India-Russia Cooperation*. RF Occasional Paper. 34 p.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ И РЫНКИ ТРУДА В ПАНДЕМИЮ COVID-19

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ

ВЕРА ГНЕВАШЕВА

МГИМО МИД России, Москва, Россия

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

Резюме

До пандемии COVID-19 международная миграция представляла собой глобальный процесс с многосторонним движением населения между государствами. Миграция предоставляла странам значительные возможности для развития, обеспечивая приток интеллектуального капитала, рабочей силы, финансовых средств. Например, в некоторых развивающихся странах объёмы денежных переводов от трудящихся-мигрантов были сопоставимы, а в последние годы даже превышали объёмы прямых иностранных инвестиций и помощи. По данным ООН, в 2020 г. каждый седьмой житель Земли был мигрантом. По сути, миграция стала глобальным фактором развития обществ и экономик. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в международную миграцию, а также существенно трансформировала как международный, так и национальные рынки труда. В отношении международного рынка труда пандемия может рассматриваться как отрицательная экстерналия, а результатом её негативного воздействия стали провал экономики в целом и рынка труда в частности. Провал рынка труда выражался в неустойчивости спроса и предложения, приводившей к изменению условий труда и занятости, усилению структурных диспропорций в отношении компенсации за труд и распределения трудовых ресурсов по секторам экономики, а также к снижению значимости профессиональных форм организации рабочей силы. Применительно к процессам международной миграции можно констатировать формирование феномена «постковидного синдрома», под которым понимается восстановление масштабов миграционных потоков после пандемии, сопровождающееся трансформацией факторов и структуры миграции. В силу высокой значимости миграционных потоков для национальных экономик и мирового хозяйства данные изменения смогут существенным образом трансформировать международный и национальные рынки труда, на которых мигранты занимали значительные ниши. В этой связи актуализируется вопрос мониторинга и совершенствования механизмов управления миграцией в кризисных и постковидных условиях на международном и национальном уровнях.

Ключевые слова:

пандемия COVID-19; международная миграция; постковидный синдром; международный рынок труда; трудовые мигранты; миграционная политика.

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2020-930 от 16.11.2020).

Дата поступления рукописи в редакцию: 03.08.2021

Дата принятия к публикации: 22.11.2021

Для связи с авторами / Corresponding author:

Email: riazan@mail.ru

По оценкам МОМ, в 2015 г. в мире насчитывалось 244 млн международных мигрантов (3,3% населения мира), тогда как ещё в 2000 г. — только 155 млн человек (2,8% населения земного шара)¹. В 2019 г. число международных мигрантов возросло до 272 млн человек. Несмотря на пандемию COVID-19, в ходе которой в разных странах мира было введено примерно 108 тыс. различных ограничений, численность мигрантов по итогам 2020 г. составила 281 млн человек (3,6% населения мира) [McAuliffe M. and Triandafyllidou A. 2021]. По данным МОМ, около 83,6 млн (31%) всех мигрантов проживали в Азии, 30% (82,3 млн) — в Европе, 70,3 млн (26%) — в Северной и Южной Америке, 26,5 млн (10%) — в Африке, 8,9 млн (3%) — в Океании. Наиболее крупными странами приёма иммигрантов были: США — 50,7 млн, Германия — 13,1 млн, Саудовская Аравия — 13,1 млн, Россия — 11,6 млн, Великобритания — 9,6 млн человек. Максимальная доля иммигрантов в населении страны отмечалась в ОАЭ — 88%, Катар — 79, Кувейт — 72, Монако — 68, Лихтенштейн — 67%. Больше всего эмигрантов выезжали из Индии — 17,5 млн, Мексики — 11,8 млн, Китая — 10,7 млн, России — 10,5 млн, Сирии — 8,2 млн человек².

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в международную миграцию, а также существенно трансформировала как международный, так и национальные рынки труда. В отношении международного рынка труда пандемия может рассматриваться как отрицательная экстерналия, а результатом её негативного воздействия стали провал экономики в целом и рынка труда в частности. Провал рынка труда выражался в неустойчивости спроса и предложения, приводившей к изменению условий труда и занятости, усилению структурных диспропорций в отношении компенсации за труд и распределения трудовых ресурсов по секторам

экономики, а также к снижению значимости профессиональных форм организации рабочей силы. В результате качество рабочей силы не улучшалось, что в долгосрочном периоде может привести к ухудшению показателей человеческого капитала, снижает стоимость услуг и товаров, тормозит развитие экономики. Вследствие данного провала рынка происходит рост трансакционных издержек найма и занятости, формирование и усиление структурной безработицы, рост и трансформация скрытой занятости, увеличение структурной инфляции трудовых доходов, что, в свою очередь, разбалансирует рынок труда и усугубляет межсекторальные диспропорции занятости и качества рабочей силы.

Основной целью исследования было выявление последствий пандемии COVID-19 на глобальные миграционные потоки в контексте развития рынка труда. В исследовании ставились задачи: определить понятие «постковидный синдром» применительно к международной миграции, изучить его действие на мировую и российскую экономику с целью выявления новых тенденций потоков трудовых ресурсов, определить целесообразность и направления государственного регулирования национальных рынков труда в условиях трансформаций, вызванных ограничениями во время пандемии COVID-19.

Обзор литературы и источники информации

Проблемы международной миграции в период пандемии рассматриваются учёными и экспертами международных организаций с учётом геополитических и социально-экономических трансформаций.

МОМ опубликовала Мировой доклад по миграции 2022, в котором проведён детальный анализ миграционных потоков во время пандемии COVID-19. В том числе в докладе подробно проанализированы меры, которые были введены различными

¹ Migration Policy Institute (MPI) Data Hub. URL: <http://migrationpolicy.org/programs/data-hub> (дата обращения: 24.06.2021).

² Ibid.

странами мира на границах, их влияние на миграционные потоки и занятость трудовых мигрантов, реакцию государств и миграционную политику [McAuliffe M. and Triandafyllidou A. 2021]. В крупнейшем в Евразии миграционном коридоре «Центральная Азия–Российская Федерация» было проведено достаточно уникальное детальное исследование механизмов функционирования рынков труда, дана оценка потребностей работодателей в рабочей силе, в том числе мигрантах, на основе масштабного социологического опроса работодателей в России и Казахстане, а также изменения мотивационных установок трудовых мигрантов в Таджикистане и Кыргызстане в период пандемии COVID-19 [Рязанцев 2021].

В отечественных исследованиях подчёркивается актуальность анализа социально-экономических аспектов международной миграции [Суховеева 2019: 63–67]; выявляются новые аспекты взаимозависимости социальных и экономических факторов, изменение объёмов и качества потоков миграции, уточняется собственно понятие международной миграции в современных условиях [Толаметова 2019: 283–290]. Вышли публикации, посвящённые влиянию международной трудовой миграции на экономический рост [Ахметова 2019: 446–450], особенностям внутренних потоков миграции в России [Осинцева 2019: 269–273]. Изучается динамика миграционных потоков на разных этапах глобального социально-экономического развития [Середина и др. 2019: 17–25]. Ряд исследователей отмечают, что нарушение и изменение сложившихся миграционных потоков вызывают социальные и экономические проблемы в отдельных странах и регионах, а также интеграционных объединениях [Биссон 2019: 60–64; Marques и др. 2019: 187–205, Топилин и др. 2020: 26–36].

Современные исследования позволяют определить долгосрочные тенденции и высказать прогнозы дальнейшего развития [Топилин 2020]. Российскими учеными МГИМО и РАН также был подготовлен комплексный труд, отражающий влияние пандемии на политические и социально-экономические процессы в российском обществе. В работе рассматривается влияние пандемии на национальный рынок труда, демографические процессы, трудовую миграцию, развитие бизнеса и предпринимательства [Торкунов и др. 2021]. Также следует отметить три специальных номера журнала «Научное обозрение», которые были подготовлены в начале пандемии и во время второй волны пандемии COVID-19. В журналах были аккумулированы научные статьи авторов из нескольких стран мира, что позволило дать достаточно детальный анализ миграционных процессов во время пандемии не только в России, но и ряде государств евразийского пространства (Вьетнаме, Германии, Иране, Казахстане, КНР, Литве, Монголии, Сирии, Таиланде, Таджикистане)³. Кроме того, анализ миграционной ситуации в условиях пандемии в данных статьях получился всесторонним, поскольку они были подготовлены учёными разных направлений (демографами, экономистами, социологами, политологами, психологами).

В настоящей статье в качестве основных источников информации используются статистические данные и аналитические отчёты по международной миграции, миграционной политике, трансформации рынков труда и занятости населения, обобщаемые и публикуемые агентствами ООН, в том числе МОМ, УВКБ ООН, ЮНФПА, МОТ, Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, а также Всемирным банком. В исследовании проведён анализ статистических данных по

³ Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. № 3. Июнь 2020. Специальный выпуск «COVID-19 и мобильность»; Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. № 3. Июнь 2021. Специальный выпуск «COVID-19: вторая волна»; Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. № 3. Июнь 2021. Специальный выпуск «COVID-19: вторая волна». [Электронный ресурс]. URL: <https://idrras.ru/library/about-covid-19/> (дата обращения: 01.07.2021).

миграции и трудовой миграции в мире и России, а также контент-анализ интервью представителей власти и бизнеса в России по вопросам использования иностранной рабочей силы во время пандемии.

Новые тренды международной миграции во время пандемии COVID-19

Миграционные потоки в период пандемии COVID-19 приобрели новые характеристики и тренды, которые зависели от специфики участников данных миграционных процессов.

Трудовая миграция до пандемии COVID-19 была одним из самых массовых и значимых с точки зрения социально-экономических последствий видов миграции. По оценкам МОМ, в 2019 г. численность трудящихся-мигрантов в мире составляла более 164 млн человек, или около двух третей (64%) общей численности международных мигрантов (258 млн). Среди трудящихся-мигрантов преобладали мужчины: 96 млн мужчин и 68 млн женщин. 68% мигрантов работали в странах с высоким уровнем дохода, 29% — в странах со средним уровнем дохода, 3,4% — в бедных странах. Доля мигрантов в общей численности рабочей силы в группах стран с низким и средним уровнем дохода составляла 3,3 и 2,2% соответственно, в странах с высоким уровнем дохода — 18,5%⁴. Доклад по миграции МОМ 2022 г. приводит цифру трудовых мигрантов в мире — 169 млн человек.

Сохраняется спрос на низкоквалифицированный и квалифицированный труд мигрантов, и нарастает конкуренция за высококвалифицированные кадры, которые будут играть всё более важную роль в развитии экономики, основанной на знаниях. Нехватка кадров в машиностроении, информационных технологиях, фармацевтике, здравоохранении и образовании заставляет страны делать свои миграционные политики более привлекательными для высококвалифицированных специали-

стов. Трудовая миграция всё больше превращается в циркуляционную мобильность, то есть характеризуется периодической сменой мигрантом места работы и страны проживания, что главным образом касается профессионалов высокого класса и квалифицированных специалистов (например, перемещение между филиалами компаний в разных странах). Также из-за финансово-экономических кризисов и пандемии выросли масштабы возвратной миграции трудовых мигрантов на родину [Возвратная миграция 2020: 28–29].

Вынужденная миграция. В 2017 г. в мире насчитывалось 22,5 млн беженцев, из которых 17,2 млн человек по мандату УВКБ ООН и 5,3 млн зарегистрированных Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Это самый высокий показатель за всю историю, хотя ежегодные темпы роста вынужденной миграции с 2012 г. замедлились. Кроме того, 2,8 млн человек относились к категории просителей убежища — это люди, которые искали международную защиту и ожидали получения статуса беженца. 2 млн ходатайств о предоставлении убежища были поданы в первый раз в 2016 г. Больше всего беженцев приняла Германия (720 тыс.), далее США (262 тыс.) и Италия (123 тыс.). 13,5 млн беженцев страной происхождения указали Сирию, Афганистан, Южный Судан, Сомали, Судан, Демократическую Республику Конго, Центральноафриканскую Республику, Мьянму, Эритрею или Бурунди. По оценкам УВКБ ООН, 51% всех беженцев были младше 18 лет, 49% — женщины. Около 60% беженцев размещались в городах [World Migration Report 2017: 1].

По итогам 2020 г. численность беженцев выросла до 26,4 млн человек, а численность внутренне перемещенных лиц — до 55 млн человек, еще 4,1 млн человек были соискателями убежища, т.е. пандемия COVID-19 не стала фактором снижения численности вынужденных мигрантов

⁴ World Migration Report 2020. IOM: Geneva. 2017. P. 33–34 [Электронный ресурс]. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (дата обращения: 01.07.2021).

в мире. Особенно актуальным оставался вопрос перемещения в Венесуэле, где было сдвинуто со своих мест около 3,9 млн человек в 2020 году [McAuliffe M. and Triandafyllidou A. 2021]. В общей сложности 89,4 млн человек в мире в 2020 г. были вынужденными мигрантами [McAuliffe M. and Triandafyllidou A. 2021], что соответствовало численности населения крупной страны (например, такой как Турция или Германия).

Современная международная система оказания помощи и содействия вынужденным мигрантам и беженцам оказалась под угрозой разрушения из-за широкого распространения каналов миграции, которыми стали активно пользоваться экономические мигранты из бедных стран, лишённые возможности легального трудоустройства в развитых странах. В ходе миграционного кризиса в Европе 2014–2016 годов целые семьи из стран Ближнего Востока и Африки, выдавая себя за сирийских беженцев, устремились в Европейский Союз. Многие жители стран Латинской Америки пытаются попасть в США как беженцы. То есть фактически произошла «мимикрия» под беженцев части трудовых мигрантов. Обнищание населения во время пандемии COVID-19 только усилило данный процесс.

С приемом беженцев тесно связано понятие «миграционный кризис». Данный термин был впервые использован в апреле 2015 г. после трагедии в Средиземном море, когда утонули несколько лодок с мигрантами из Африки. В широкой трактовке под миграционным кризисом следует понимать не только резкий рост численности иммигрантов, чреватый увеличением нагрузки на социальную инфраструктуру, систему безопасности, экологию, но и резкий эмиграционный отток населения, который оборачивается потерей трудоспособного, интеллектуального, молодого, экономически активного, репродуктивного населения. Наглядный пример – массо-

вая эмиграция, «исход мигрантов» (Exodus) из Венесуэлы, охваченной политическим и экономическим кризисом.

Последствия миграционных кризисов различны для принимающих и посылающих мигрантов стран. Из стран массового оттока населения эмигрируют наиболее образованные, деловые, активные люди, молодёжь, лица трудоспособных и репродуктивных возрастов. В этих странах сокращается численность населения, на фоне снижения рождаемости происходит старение населения, усиливается дефицит трудовых ресурсов. В странах массового притока иммигрантов в краткосрочной перспективе происходит прирост населения молодых и трудоспособных возрастов, которые не всегда могут получить работу. В среднесрочной перспективе приток рабочих рук и молодого населения – тренд позитивный. Экономики принимающих стран, особенно в условиях неблагоприятных демографических тенденций, получая трудоспособное население и рабочую силу, могут отчасти погасить негативные тенденции старения населения. Интересно, что во время европейского миграционного кризиса 2014–2016 годов канцлер Германии А. Меркель, выступившая за приём Германией беженцев, получила поддержку немецких работодателей, которые нуждались в трудовых ресурсах. Однако во многих странах проблема беженцев не встречает такой поддержки общества, как в Германии, поскольку государства вынуждены нести значительные расходы на помощь, обеспечение жильём, интеграционные программы.

Образовательная миграция – перемещение студентов на обучение в зарубежные университеты [Spring 2015]. По данным ЮНЕСКО, до пандемии численность иностранных студентов стабильно увеличивалась: в 2015 году – 4779 тыс., в 2017 году – 5375 тыс., в 2019 году – 6063 тыс. иностранных студентов⁵. Экстенсивный рост образовательной миграции был обусловлен

⁵ Данные ЮНЕСКО [Электронный ресурс] URL: <http://data.uis.unesco.org/> (дата обращения: 03.05.2021).

как заинтересованностью молодёжи в получении образования за рубежом, ростом среднего класса в развивающихся странах (прежде всего в КНР), так и усилиями стран по привлечению иностранных студентов. Пандемия COVID-19 остановила экстенсивный рост численности иностранных студентов.

Самыми активными участниками процесса образовательной миграции были и остаются китайцы. В 2020 г. 225 тыс. китайских студентов учились за границей, что было в два раза больше, чем в 2015 году – 123 тыс. человек. В КНР имеется значительный миграционный потенциал молодёжи: половина молодых китайцев хотела бы учиться за границей⁶.

Молодые люди зачастую рассматривают обучение за границей как шаг к получению постоянного вида на жительство в стране обучения [Gribble 2008: 25–39]. Развитые государства рассматривают контингент иностранных студентов как резерв демографических и трудовых ресурсов. Они закономерно облегчали на протяжении допандемийного периода правила въезда и интеграции зарубежным студентам. Во многих странах в период учёбы студентам разрешено работать, а затем они могут получить вид на жительство. Ряд стран ОЭСР сделали более лояльными свои миграционные и трудовые законодательства в отношении трудоустройства иностранных студентов и выпускников. Например, в Канаде иностранные студенты после завершения обучения могут оставаться в стране до трёх лет, а в Австралии – четыре года. Как правило, иностранным студентам автоматически выдаётся разрешение на работу в случае, если в течение срока действия разрешения на её поиск в стране они нашли место трудоустройства, подходящее их ква-

лификации в соответствии с определёнными критериями [Рязанцев и др. 2019: 420–435]. «Для студентов определённых стран возможность трудоустройства является ключевым фактором при принятии решения об обучении за рубежом. Многие студенты ценят возможность поработать во время учёбы за рубежом, потому что это повышает их шансы на трудоустройство в принимающей стране или в родном государстве, а другие ищут работу в принимающей стране вследствие неблагоприятных экономических условий у себя дома» [Varghese 2008].

Однако во время пандемии COVID-19 усложнились не только международные путешествия, но и система выдачи учебных виз иностранным студентам. Многие китайские студенты столкнулись с ксенофобией во время пандемии и ограничений. В результате в крупнейших странах приёма иностранных студентов сократилась их численность (например, в США на 15% в 2021 году)⁷.

Сравнительно недавно новым глобальным миграционным трендом стала **возвратная миграция**. По мере увеличения общих миграционных потоков это явление распространяется всё шире [Возвратная миграция 2020]. Возвратная миграция включает перемещения в пределах страны; между странами назначения или транзита, а также происхождения, главным образом трудящихся-мигрантов, беженцев или соискателей убежища, депортированных мигрантов, т. е. бывает добровольной или принудительной⁸. Возвратная миграция, как правило, осуществляется посредством добровольной репатриации⁹.

Термин «стимулируемая добровольная возвратная миграция» обозначает процесс, осуществляемый при содействии междуна-

⁶ Atlas of Sustainable Development Goals. 2020. URL: <https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/goal-8-decent-work-and-economic-growth/> (accessed: 03.02.2021).

⁷ Число иностранных студентов... Сообщение агентства Синьхуа Новости. Режим доступа: http://russian.news.cn/2021-11/17/c_1310316154.htm

⁸ Glossary on Migration. International Migration Law. IOM. 2019. P. 15. [Electronic resource] URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf (Date of handling: 07/07/2021).

⁹ International Migration Law. Glossary on Migration. Geneva. IOM. 2004. 15 p. [Electronic resource] URL: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_1_en.pdf (Date of handling: 05/01/2021).

родных организаций либо принимающих стран; в него вовлечены мигранты, не имеющие законного права на пребывание в принимающей стране и желающие вернуться домой. В отношении этой категории лиц МОМ реализует Программы добровольного возвращения и реинтеграции (ПДВР). Поддержка по этой линии включает: предоставление консультаций перед отъездом, приобретение авиабилетов, административную и туристическую помощь и, по возможности, помощь в реинтеграции. Только в 2016 г. при поддержке МОМ около 99 тыс. человек (32% — женщины, 27% — дети, 3% — жертвы торговли людьми) вернулись из 110 принимающих или транзитных стран в 161 страну происхождения¹⁰.

Во время пандемии COVID-19 потеря работы, снижение уровня зарплат и доходов мигрантов, ксенофобия и мигрантофобия в странах приёма способствовали увеличению численности мигрантов, которые возвращались в страны происхождения в 2019–2020 годах. Особенно на первых этапах пандемии нестабильность ситуации и неопределённость положения в странах трудоустройства и проживания заставила многих мигрантов попытаться вернуться домой. В частности, в миграционном коридоре «Центральная Азия–Российская Федерация» несколько десятков тысяч трудовых мигрантов попытались вернуться домой. Учитывая, что авиарейсы были отменены в первую очередь, многие мигранты возвращались наземными видами транспорта через Казахстан в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Некоторые «зависли» в транзитной стране — в Казахстане [Рязанцев, Вазиров, Гарибова 2020: 45–57]. МОМ предпринимал специальные усилия для транспортировки транзитных возвратных мигрантов на родину. Постепенно к 2021 г. ситуация восстановилась и возвратные миграции вошли в нормальное русло.

Трансформация международного рынка труда в период пандемии COVID-19 и перспективы занятости населения в постпандемийный период

Перспективы занятости населения на национальном уровне и в мировом хозяйстве определяются динамикой экономической ситуации. При этом существует и обратная взаимосвязь — возможности экономического роста сопряжены с развитием рынка труда: качеством рабочей силы и её производительности. Пандемия COVID-19 значительно сократила и трансформировала занятость во многих странах мира. До объявления пандемии Всемирный банк прогнозировал увеличение мирового ВВП на 2,5% в 2020 году. После её начала спрогнозировал сокращение на 5,2%, а в некоторых регионах даже больше, то есть ожидалось наступление глубочайшей с 1970-х годов рецессии.

Восстановление международного рынка труда будет иметь решающее значение для развития экономики. При этом возвращение к прежней занятости не будет достаточным для достижения индикаторов устойчивого развития. Важным представляется не только восстановление объёмов занятости, которая сократилась во время пандемии, но и восстановление темпов роста производительности труда.

Учитывая значимость мигрантов в формировании занятости населения крупнейших стран мировой экономики, представляется необходимым условием роста экономики восстановление масштабов международной трудовой миграции.

Основным мотивом международной миграции остаётся стремление людей увеличить свой доход. В странах с высоким уровнем дохода в 2019 г. проживало около 176 млн международных мигрантов, а в странах со средним уровнем дохода — 82 млн, то есть около 1/3 от общего числа мигрантов; всего лишь 13 млн человек эмигрировали в страны с низким уровнем дохода.

¹⁰ World Migration Report 2018. Chapter 2. IOM: Geneva. 2017. P. 1 [Electronic resource] URL: <https://publications.iom.int/books/world-migration-Report-2018-Chapter-2-Migration-And-CHAPRANTS-Global-OverView> (accessed: 24.06. 2021).

В сентябре 2021 г. министр иностранных дел С. Лавров заявил: «Мы нуждаемся в трудовых мигрантах. Это важно для нашей экономики. У нас без трудовых мигрантов многие производства сейчас испытывают существенный кадровый голод. Пытаемся сделать их приезд сюда максимально понятным, транспарентным, легитимным. В этих целях договариваемся со странами, откуда к нам мигранты стремятся приехать на постоянной основе (часто с центрально-азиатскими странами) об организации специальных курсов, которые позволят убедиться в элементарном знании русского языка, обычаев России, наших законов и понять, как человек планирует вести себя, если он будет принят на работу в Российской Федерации»¹⁷.

Международные процессы. Том 19. Номер 4 (67). Октябрь—декабрь / 2021

По заявлению президента национального объединения строителей (НОСТРОЙ) А. Глушкова, из-за пандемии COVID-19 строительная отрасль в России потеряла достаточно большое число иностранных сотрудников: «Отток мигрантов составил 1,5 млн человек, то есть мы потеряли каждого пятого строителя»¹⁸. В марте 2020 г. вице-премьер М. Хуснуллин сказал: «В стране сегодня 1,5–2 млн человек недостатка трудовых ресурсов только в сфере строительства. Зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита на 50%, а где-то — в два раза. Но даже платя в два раза большую зарплату, собрать людей крайне сложно. Мы считаем, что это один из основных сдерживающих факторов развития строительства»¹⁹.

Возникший на российском рынке труда с начала пандемии COVID-19 дефицит на плиточников, монтажников окон и других разнорабочих только усилился, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников. По данным HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%. Руководитель пресс-службы Superjob Н. Ильченко: «Отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплату в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учёта инфляции). В отдельных рабочих специальностях прирост был ещё более значительным. За год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон

ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%. Количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7%. Конкурс на вакансии снизился практически в 2,7 раза»²⁰.

В августе 2021 г. первый заместитель министра строительства А. Ломакин оценил дефицит работников в 3 млн человек. Курирующий строительный комплекс вице-премьер М. Хуснуллин оценивал объём трудовых ресурсов, которые нужно будет привлечь на российские стройки до 2024 года, в 5 млн человек²¹.

В конце 2020 г., по данным Минстроя Российской Федерации, в 50 регионах страны не хватало трудящихся-мигрантов на строительных объектах²². В июне 2021 г. заместитель мэра Москва по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям В. Ефимов заявил, что в столице не хватает 300 тыс. рабочих, или 30% от нужного числа мигрантов: «В строительной отрасли проблема с трудовыми ресурсами нарастает. В обычном режиме у нас в городе работает порядка миллиона трудовых мигрантов, а на сегодня их порядка 700 тысяч, то есть примерно 300 тысяч человек в экономике не хватает. Часть из них работает в стройке, часть — в сфере ЖКХ, часть — это все прочие отрасли, которые задействуют труд мигрантов. Учитывая, что абсолютное большинство отраслей у нас восстановилось, то это та рабочая сила, которая городу нужна»²³.

¹⁸ НОСТРОЙ предлагает создать реестр строителей-мигрантов // Недвижимость. РИА Новости. 22.04.2021. URL: <https://realty.ria.ru/20210422/migranty-1729330901.html?in=t>

¹⁹ Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих... // Информация ТАСС. 27.03.2021. URL: <https://tass.ru/nedvizhimost/11009647>

²⁰ Дефицит мигрантов привёл к росту зарплат разнорабочих... // РБК. 23.08.2021. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/08/2021/611fa69d9a7947f545ce3f5c

²¹ Россия намерена вывезти из Узбекистана... // AH Podrobno.uz. 03.09.2021. URL: <https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov/-rossiya-nameren-vyvezti-iz-uzbekistana-okolo-10-tysyach-migrantov-charternymi-poezdami-v-proekte-uch/?fbclid=IwAR3-u06YMQeUgDE628INC0LzedLVsy7A1TqllKyRI4Zli1FLhw5rBdkZKRI>

²² В России почти вдвое сократилось число мигрантов // Ведомости. 16.12.2020. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/12/16/851122-rossii-pochti-vdvoe-sokratilos-chislo-migrantov>

²³ Москве не хватает 300 тысяч трудовых мигрантов, заявили власти // РИА Новости. 03.06.2021. URL: <https://realty.ria.ru/20210603/migranty-1735362078.html>

Гендиректор «Сити — XXI век» А. Борисенко отмечает: «Основной объём строительных работ лежит на специалистах из стран СНГ, и поэтому нехватка рабочей силы довольно ощутима, что сказывается на темпах строительных работ. Чтобы выполнить работы в сроки, компании приходится оптимизировать время, затрачиваемое подрядчиками на строительные процессы, увеличивать количество смен по шумным работам и число подрядчиков с собственной рабочей силой»²⁴.

Управляющий директор группы «Самолёт» А. Иваненко рассказал: «Объекты компании стабильно обеспечены рабочей силой, но, если возникает необходимость быстро нарастить количество сотрудников, решить эту задачу не всегда получается даже за несколько недель. Рост оплаты труда составил в среднем 15% с начала пандемии, но не так заметно отразился на себестоимости строительства, как рост стоимости строительных материалов»²⁵.

Потребность в рабочей силе наиболее остра в строительстве, сельском хозяйстве, ритейле, логистике (погрузка-разгрузка), лёгкой промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре. Общую потребность в стране в рабочей силе эксперты оценили в июне 2021 г. на уровне 800–1000 тыс. человек. Согласно экспертным оценкам наибольшие потребности сложились в строительстве, сельском хозяйстве, дорожных работах, гостиничном бизнесе и сфере услуг, логистике [Рязанцев и др. 2021].

Вызовы пандемии COVID-19 для международной миграции и рынков труда (вместо заключения)

Социально-экономический кризис, начавшийся вследствие пандемии COVID-19, стал одним из самых масштабных в XXI столетии. Он охватил все страны мира и повлёк за собой глубокую трансформацию международных экономических отноше-

ний. В условиях ограничения мобильности трудовые мигранты, находившиеся в странах назначения, а также потенциальные мигранты, которые планировали выехать на заработки или обучение, оказались в более уязвимом положении, нежели местное население. Закрытие государственных границ и сжатие рынка труда в связи с введением ограничительных мер для одной части трудовых мигрантов исключили возможность вернуться в страны происхождения, у другой — привели к потере или значимому сокращению доходов, ограничениям в доступе к получению медицинской помощи, к сложностям в продлении разрешительных документов на ведение трудовой деятельности.

Закрытие границ, отмена регулярного авиасообщения между странами, ограничения, введённые на национальных рынках труда (в частности, переход на удалённый режим работы), привели к значительным и долгосрочным изменениям в масштабах и направлениях миграционных потоков. Даже кратковременные ограничения сказались на передвижении рабочей силы.

Необходимо выделить несколько основных проблем, которые встали перед мигрантами из-за проведения мер по предотвращению распространения коронавируса: 1) закрытие государственных границ и ограничение мобильности привели к невозможности выехать в другую страну для ведения трудовой деятельности или, наоборот, вернуться на родину; 2) приостановка или ограничения деятельности ряда государственных учреждений, в чьей компетенции находятся вопросы получения и продления разрешительных документов мигрантами, поставили в уязвимое положение мигрантов, у кого сроки действия документов пришлось на период пандемии; 3) изменения в условиях труда увеличили вероятность потери работы или существенного сокращения доходов, вынудили к переориентации на другие формы заня-

²⁴ Дефицит мигрантов привёл к росту зарплат разнорабочих... // РБК. 23.08.2021. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/08/2021/611fa69d9a7947f545ce3f5f5

²⁵ Там же.

тости, а также увеличили долю мигрантов в теневом секторе и связанные с этим риски; 4) в странах происхождения из-за резкого сокращения денежных переводов от трудовых мигрантов произошло снижение денежных доходов населения, увеличилась волатильность национальных валют по отношению к доллару США и евро, возникла необходимость пересмотра структуры государственных расходов в пользу населения с низким уровнем доходов; 5) возвращение части трудовых мигрантов на родину в период пандемии повысило уровень безработицы, в том числе молодёжной: в большинстве своём страны происхождения мигрантов характеризуются прогрессивной демографической структурой и большой долей молодого населения, и темпы роста численности населения опережают темпы создания новых рабочих мест; 6) высокий уровень безработицы и низкие доходы значительной части населения могут спровоцировать в странах происхождения мигрантов волну недовольства действиями правительств, которая, при негативном стечении обстоятельств, способна привести к политическим трансформациям в обществе.

Урегулирование вопросов, связанных с международной мобильностью рабочей силы, восстановлением масштабов международной миграции, а также минимизацией негативных проявлений рестриктивных мер в национальных экономиках на занятость населения и трудовых мигрантов, в существенной степени будет определяться слаженностью действий правительств стран мира и профильных международных организаций системы ООН (МОМ, МОТ, УВКБ ООН).

В период пандемии деятельность государств в сфере миграции населения была сосредоточена на следующих направлениях: 1) обеспечение безопасности своих граждан, оставшихся за рубежом, и возвращение граждан на родину (так называемые «вывозные рейсы»); 2) координация действий с посольствами зарубежных государств, чьи мигранты, в том числе трудовые, попали под действие ограничитель-

ных мер в экономике и находятся в уязвимом положении; 3) сотрудничество с международными организациями в области обеспечения прав мигрантов и оказания различных видов помощи нуждающимся; 4) продление статусов и разрешительных документов легальным мигрантам; 5) постепенное восстановление международного авиасообщения (в том числе туристических потоков) при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации.

Эффективность международного сотрудничества по этим вопросам зависит от решения целого набора проблем, возникших в национальных экономиках вследствие действия вынужденных ограничительных мер: поддержание системообразующих предприятий и производств, а также малого и среднего бизнеса, максимальное сохранение занятости местного населения посредством фискальных мер, созданием новых, в том числе временных, рабочих мест из-за перевода в удалённый формат трудовой деятельности; недопущение взрывного роста безработицы, особенно в секторах экономики, в сильной степени подвергнутых действию ограничительных мер; материальная поддержка уязвимых групп населения, в первую очередь семей с детьми, пожилых людей, безработных.

В подавляющем большинстве случаев мигранты не могут претендовать на виды материальной поддержки, которые оказывались местному населению. В то же время риск потери работы у трудовых мигрантов был гораздо выше. К тому же трудовые мигранты, как правило, не имеют «подушки безопасности» в виде накоплений, которые позволили бы им несколько месяцев в условиях ограничений вести более или менее привычный образ жизни, не меняя существенно структуру расходов.

Возможные последствия и глубина кризиса определяются текущей социально-экономической ситуацией в конкретных странах. Безусловно, наибольшему риску подвергаются страны, которые и до пандемии находились в трудном положении. Речь в первую очередь идёт о развиваю-

щихся странах, которые, как правило, выступают странами-донорами рабочей силы для более развитых государств. Тем не менее в развитых странах ситуация не проще и последствия пандемии не будут но-

силь лишь кратковременный характер. В частности, для развитых стран, где остро стоит проблема старения населения и мигранты восполняют дефицит рабочей силы, сохраняется риск снижения ВВП.

Список литературы

- Ахметова И.Н. Влияние международной трудовой миграции на экономический рост // Образование и наука в России и за рубежом. 2019. № 3 (51). С. 446–450.
- Биссон Л.С. Миграция вновь нарушает единство Евросоюза // Европейский Союз: факты и комментарии. 2019. № 94. С. 60–64.
- Возвратная миграция: международные подходы и региональные особенности Центральной Азии / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, д.э.н. С.В. Рязанцева. Международная организация по миграции (МОМ) – Агентство ООН по миграции, Алматы. 2020. 242 с. [Электронный ресурс]. URL: http://испи.pf/wp-content/uploads/2020/08/Return-Migration-in-CA_RUS.pdf (дата обращения: 05.06.2021).
- Осинцева В.М. Особенности внутрироссийской миграции населения в начале XXI века // Экономика и предпринимательство. 2019. №1(102). С. 269–273.
- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И., Безвербный В.А. Международная академическая мобильность в России. Тенденции, виды, государственное стимулирование // Экономика региона. 2019. Т. 15. Вып. 2. С. 420–435.
- Рязанцев С.В. и др. Исследование мобильности рабочей силы в миграционном коридоре Центральная Азия–Российская Федерация: Консолидированный отчет. МОМ. 2021. 104 с. [Электронный ресурс] URL: https://rovienna.iom.int/sites/g/files/tmzbd1661/files/documents/consolidated-report-rus_fin.pdf (дата обращения: 05.05.2022).
- Рязанцев С.В., Вазилов З.К., Гарибова Ф.М. «Зависшие на границах» между Россией и родиной: мигранты из стран Центральной Азии во время пандемии COVID-19 // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2020. № 3 (COVID-19 и мобильность). С. 45–57 (дата обращения: 05.05.2022).
- Середина М.И., Черкасов И.Л. Международные миграции населения на разных этапах социально-экономического развития в мире // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 1. №1. С. 17–25.
- Суховеева М.А. Проблемы международной миграции и пути их разрешения // Образование и наука в России и за рубежом. 2019. №3(51). С. 63–67.
- Толаметова З.А. Международная трудовая миграция и её особенности // Экономика и предпринимательство. 2019. №1(102). С. 283–290.
- Топилин А.В. Миграция населения и формирование трудовых ресурсов в СССР и на постсоветском пространстве. М.: Экон-Информ, 2020. 479 с.
- Топилин А.В., Максимова А.С. Роль миграции в формировании региональных рынков труда в условиях второй волны депопуляции в современной России // Вопросы статистики. 2020. Т. 27. №6. С. 26–36.
- Торкунов А.В., Рязанцев С.В., Левашов В.К. и др. Пандемия COVID-19: вызовы, последствия, противодействие. М.: Аспект Пресс, 2021. 248 с.
- Gribble C. Policy options for managing international student migration: the sending country's perspective // Journal of Higher Education Policy and Management. 2008. Vol. 30. No. 1. P. 25–39.
- McAuliffe M. and Triandafyllidou A. (eds.), 2021. World Migration Report 2022. IOM, Geneva. P. 4 [Электронный ресурс] URL: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022> (accessed: 07.04.2022).
- Marques J.C., Vieira A., Vieira R. Migration and Integration Processes in Portugal: the Role of Intercultural Mediation // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2019. Vol. 12. No. 2. P. 187–205.
- Spring J. Globalization of Education: An Introduction. Queens College & Graduate Centre. City University of New York. Routledge. 2015. 244 p.
- Varghese N.V. Globalization of higher education and cross-border student mobility. International Institute for Educational Planning. Paris. UNESCO. 2008. 33 p. [Электронный ресурс] URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.4194&rep=rep1&type=pdf>

INTERNATIONAL MIGRATION AND LABOR MARKETS DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

SERGEY RYAZANTSEV

VERA GNEVASHEVA

MGIMO University, Moscow, 119454, Russia

Institute for Demographic Research, FCTAS RAS, Moscow, 119333, Russia

Abstract

Prior to the COVID-19 pandemic, international migration was a global process with multilateral population movements between states. Migration provided countries with significant opportunities for development, providing an influx of intellectual capital, labor, and financial resources. For example, in some developing countries, remittances from migrant workers have been comparable to, and in recent years even exceeded, FDI and aid. According to the UN in 2020, every seventh inhabitant of the Earth was a migrant. In fact, migration has become a global factor in the development of societies and economies. The COVID-19 pandemic has made significant adjustments to international migration, and has also significantly transformed both international and national labor markets. In relation to the international labor market, the pandemic can be seen as a negative externality, and the result of its negative impact was the failure of the economy in general and the labor market in particular. The failure of the labor market was expressed in the instability of supply and demand, which led to a change in working conditions and employment, an increase in structural imbalances in terms of compensation for work and the distribution of labor resources across sectors of the economy, as well as a decrease in the importance of professional forms of organization of the workforce. With regard to the processes of international migration, one can state the formation of the phenomenon of the “post-COVID syndrome”, which refers to the restoration of the scale of migration flows after a pandemic, accompanied by a transformation of the factors and structure of migration. Due to the high importance of migration flows for national economies and the world economy, these changes will be able to significantly transform the international and national labor markets, in which migrants occupied significant niches. In this regard, the issue of monitoring and improving the mechanisms for managing migration in crisis and post-COVID conditions at the international and national levels is being updated.

Keywords:

COVID-19 pandemic; international migration; post-COVID syndrome; international labor market; labor migrants; migration policy.

References

- Ahmetova I.N. (2019). Vliyanie mezhdunarodnoj trudovoj migratsii na ekonomicheskij rost [Impact of International Labour Migration on Economic Growth]. *Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom*. No. 3 (51). P. 446–450.
- Bisson L.S. (2019). Migratsiya vnov' narushaet edinstvo Evrosoyuza [Migration Undermines the EU Unity Again]. *Evropejskij Soyuz: fakty i kommentarii*. No. 94. P. 60–64.
- Gribble C. (2008). Policy options for managing international student migration: the sending country's perspective. *Journal of Higher Education Policy and Management*. Vol. 30. No. 1. P. 25–39.
- McAuliffe M., Triandafyllidou A. (eds.) (2021). *World Migration Report 2022*. IOM, Geneva. URL: <https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022> (accessed: 07.04.2022).
- Marques J.C., Vieira A., Vieira R. (2019). Migration and Integration Processes in Portugal: the Role of Intercultural Mediation. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*. Vol. 12. No. 2. P. 187–205.

* The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2020-930).

- Osintseva V.M. (2019). Osobennosti vnutorirossijskoj migracii naseleniya v nachale XXI veka [Specifics of Russian Migration of Population in the early 21st Century]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. No. 1(102). P. 269–273.
- Ryazancev S.V. (ed.) (2020). *Vozvratnaya migratsiya: mezhdunarodnye podhody i regionalnye osobennosti Tsentral'noj Azii* [Return Migration: International Approaches and Regional Specifics in Central Asia]. Almaty: Mezhdunarodnaya organizatsiya po migratsii (MOM) – Agentstvo OON po migratsii. 242 p. URL: http://ispi.rf/wp-content/uploads/2020/08/Return-Migration-in-CA_RUS.pdf (accessed: 05.06.2021).
- Ryazancev S.V., Rostovskaya T.K., Skorobogatova V.I., Bezverbnnyj V.A. (2019). Mezhdunarodnaya akademicheskaya mobil'nost' v Rossii. Tendencii, vidy, gosudarstvennoe stimulirovanie [International Academic Mobility in Russia. Trends, Types and State Subsidizing]. *Ekonomika regiona*. Vol. 15. No. 2. P. 420–435.
- Ryazancev S.V. et al. (2021). *Issledovanie mobil'nosti rabochej sily v migratsionnom koridore Tsentral'naya Aziya – Rossijskaya Federaciya. Konsolidirovannyj otchet* [Research on the Mobility of the Labour Force in Migration Corridor Central Asia – Russian Federation. Consolidated Report]. MOM. 104 p. URL: https://rovienna.iom.int/sites/g/files/tmzbdl661/files/documents/consolidated-report-rus_fin.pdf (accessed: 30.12.2021).
- Ryazancev S.V., Vazirov Z.K., Garibova F.M. (2020). “Zavisshie na granitse” mezhdru Rossiej i rodinoj: migranty iz stran Tsentral'noj Azii vo vremya pandemii COVID-19 [“Stuck on the Border” between Russia and Motherland: Migrants from Central Asian countries during COVID-19 pandemics]. *Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Ekonomika i pravo*. No. 3. P. 45–57.
- Seredina M.I., Cherkasov I.L. (2019). Mezhdunarodnye migratsii naseleniya na raznyh etapah social'no-ekonomicheskogo razvitiya v mire [International Migrations of the Population on Different Stages of Social and Economic Development in the World]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya*. Vol. 1. No. 1. P. 17–25.
- Spring J. (2015). *Globalization of Education: An Introduction*. Queens College & Graduate Centre. City University of New York: Routledge. 244 p.
- Suhoveeva M.A. (2019). Problemy mezhdunarodnoj migratsii i puti ih razresheniya [Problems of International Migration and Paths to the Resolution]. *Obrazovanie i nauka Rossii i za rubezhom*. No. 3(51). P. 63–67.
- Tolametova Z.A. (2019). Mezhdunarodnaya trudovaya migratsiya i eyo osobennosti [International Labour Migration and Its Specifics]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. No. 1(102). P. 283–290.
- Topilin A.V. (2020). *Migratsiya naseleniya i formirovanie trudovykh resursov v SSSR i na postsovet'skom prostranstve* [Migration of Population and Formation of Labour Resources in the USSR and on Post-Soviet Space]. Moscow: Ekon-Inform. 479 p.
- Topilin A.V., Maksimova A.S. (2020). Rol' migratsii v formirovanii regional'nykh rynkov truda v usloviyakh vtoroj volny depopulyatsii v sovremennoj Rossii [The Role of Migration in the Formation of the Regional Labour Markets under the Second Wave of Depopulation in the Modern Russia]. *Voprosy statistiki*. Vol. 27. No. 6. P. 26–36.
- Torkunov A.V., Ryazancev S.V., Levashov V.K. et al. (2010). *Pandemiya COVID-19: vyzovy, posledstviya, protivodejstvie* [COVID-19 Pandemics: Challenges, Consequences and Counteraction]. Moscow: Aspekt Press. 248 p.
- Varghese N.V. (2008). *Globalization of higher education and cross-border student mobility*. Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO. 33 p. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.4194&rep=rep1&type=pdf>

ИНДИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

БОРЬБА «ТИГРА» И «ДРАКОНА» ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

НАТАЛЬЯ ГАЛИЩЕВА

МАРИЯ РЕШЧИКОВА

МГИМО МИД России, Москва, Россия

Резюме

Статья посвящена анализу современного состояния индийско-китайских отношений, их главным составляющим и перспективам. Мы выявляем основные обстоятельства, способствующие укреплению двустороннего сотрудничества Индии и Китая, в число которых входят активное политическое взаимодействие, развитая институциональная основа отношений, общность подходов к решению ключевых вопросов международной повестки дня и обширные экономические связи. Рассматриваются основные области противоборства между Индией и Китаем, включая территориальные споры, борьбу за доступ к водным и энергетическим ресурсам, соперничество за региональное и глобальное влияние. В статье выделены причины, подрывающие устоявшуюся систему взаимоотношений, в том числе общественное недоверие и неприязнь, наличие дисбалансов в торговле, политика третьих стран в Азии, несовпадение позиций по важным для двух стран вопросам регионального и международного значения, а также распространение инфекции COVID-19 как новое обстоятельство для мировой политики и экономики. Мы приходим к выводу о неоднозначном характере и противоречивой природе индийско-китайских отношений, с одной стороны, строящихся на крепкой политэкономической основе, а с другой — осложнённых рядом давних и новых проблем, не позволяющих выстраивать сотрудничество во многих сферах. Отношения между Индией и Китаем охарактеризованы как «вынужденное партнёрство». При этом мы отмечаем секьюритизацию двустороннего экономического взаимодействия. Приоритетное внимание уделено оценке комплементарности экономических систем двух стран по многим направлениям. В статье представлены результаты анализа перспектив индийско-китайского сотрудничества, возможностей углубления связей в торговле и инвестициях, энергетической сфере, в области науки и технологий, в культуре и межличностных связях. Представлена оценка возможности перерастания соперничества в ряде областей отношений в открытый военный конфликт, анализируются имеющиеся разногласия и взаимные претензии с точки зрения их воздействия на будущее развитие индийско-китайских связей. В статье подчёркивается незаинтересованность обеих сторон в полномасштабной войне при одновременной непредсказуемости поведения Индии и Китая в условиях нестабильности на международной и региональной аренах.

Ключевые слова:

Индия; Китай; соперничество Китая и Индии; индийско-китайская торговля; территориальные споры; борьба за ресурсы; вынужденное партнёрство; секьютизация.

Дата поступления рукописи в редакцию: 01.07.2021

Дата принятия к публикации: 07.12.2021

Для связи с авторами / Corresponding author:

Email: reshchikova.maria@gmail.com

Подъём Индии и Китая, активизация их деятельности на международной арене, а также растущая конкуренция между ними приковывают внимание экспертов и аналитиков, так как высокий конфликтный потенциал и обострившееся в последние годы соперничество могут привести к негативным последствиям как для Азии, так и для всего мира в целом. Проблемы в индийско-китайских отношениях носят многоплановый характер. На взаимодействие между странами влияют как давние противоречия, так и новейшие споры, порождая источники региональной и глобальной нестабильности.

При этом нынешний уровень взаимосвязей делает практически невероятным сценарий эскалации противостояния до уровня военного конфликта, несмотря на продолжающиеся столкновения на границе. Сложившаяся практика эскалации — инструмент демонстрации соседу потенциала и твёрдости намерений продолжать движение к становлению в качестве великой державы. Вместе с тем экономические выгоды от сотрудничества значительно превосходят потенциальные издержки от разрыва двусторонних связей, особенно это касается Дели. Для Китая также существенны те возможности, которые открываются на огромном индийском рынке. На смену антагонизму приходит стратегия построения взаимовыгодной системы отношений.

В этом контексте чрезвычайно актуально рассмотрение тех сфер, в которых Индия и Китай уже являются или могут стать конкурентами. Особую важность такое исследование представляет с точки зрения выстраивания внешней политики России, для которой оба азиатских игрока выступают значимыми партнёрами по ряду политических и экономических вопросов. Соответственно, конфронтация между ними будет представлять непосредственную угрозу азиатской стратегии Москвы.

Цель исследования — выявление и анализ тех аспектов взаимодействия Индии и Китая, где их интересы сталкиваются, усложняя таким образом и без того напряжённые отношения. В статье мы стремимся выяснить, является ли соперничество Индии и Китая во многих областях политики и экономики препятствием для укрепления двустороннего взаимодействия по различным направлениям, или же обе страны способны преодолеть имеющийся груз проблем, разногласий и противоречий для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Для решения поставленных задач мы использовали системный подход к изучению комбинирования активного экономического сотрудничества, с одной стороны, и периодически возникающих политического недоверия, неприязни и даже противостояния — с другой, в современных отношениях между Дели и Пекином.

История взаимодействия Индии и Китая, а также современное состояние двусторонних отношений этих стран выступают предметом изучения отечественных и зарубежных авторов, многие из которых в своих работах анализировали соотношения факторов сотрудничества и соперничества двух государств. Специалисты отмечают двоякий характер индийско-китайских отношений, подчёркивая, с одной стороны, активное взаимодействие во многих областях, базирующееся на взаимовыгодной основе, а с другой — наличие сильной конкурентной составляющей, которая не позволяет выйти на качественно новый уровень взаимодействия.

В частности, зарубежные экономисты уделяют значительное внимание анализу комплементарности индийской и китайской экономик, описывая условия, сдерживающие процесс наращивания двустороннего экономического сотрудничества [Li 2018; Kumaraswamy 2007]¹. С начала 2010-х годов в отечественной литературе освещение получила обеспокоенность

¹ Singh B.K. Energy Security and India-China Cooperation. International Association of Energy Economics (IAEE) Energy Forum. First Quarter 2010. URL: www.iaee.org/en/publications/newsletter/dl.aspx?id=92 (accessed: 01.06.2021).

Индии всё более заметным присутствием Китайской Народной Республики в регионе традиционного индийского влияния — Южной Азии. Приоритетное внимание российские и зарубежные исследователи уделяют отношениям Китая и Пакистана, в том числе участию последнего в китайской инициативе «Пояс и путь» и проекте Китайско-пакистанского экономического коридора [Галищева 2013; 2014а; 2014б; 2018; Лунёв 2007; Malik 2014; Smith 2014]². Оценка политики Индии по отношению к КНР также представлена в недавней работе А.В. Куприянова. Последний отмечал, что в настоящее время Индийская Республика придерживается стратегии, направленной на сотрудничество с Поднебесной, с одной стороны, и её сдерживание — с другой [Куприянов 2020].

Важным направлением исследований остаётся вопрос военного противостояния Индии и Китая. Высказывается мысль о том, что для Китая военная эскалация индийско-китайского конфликта, а именно приграничного спора — не просто возможный, но и вполне выгодный вариант, так как с помощью силы ему удастся гораздо быстрее, чем только посредством дипломатии, достичь желаемых результатов [Лунёв 2012б]³. В статьях 2010-х годов также рассматривались взаимоотношения в рамках стратегического треугольника Россия—Индия—Китай (РИК), анализировалось место трёх стран в политической и экономической структуре мира, особенности и перспективы трёхстороннего взаимодействия, а также подчёркивались важность и жизнеспособность этого формата, актуальность которого обусловлена необходимостью решения насущных проблем региональной повестки дня [Лунёв 2012а; Уянаев 2019].

Имеющиеся публикации охватывают большой спектр индийско-китайских отно-

шений, включая различные сферы взаимодействия и конфликтные области. В данной статье, однако, впервые предпринята попытка не только провести комплексный анализ двустороннего взаимодействия Индии и Китая, но соотнести две составляющие — кооперативную и конкурентную — их отношений, оценить их взаимное влияние и сделать вывод о перспективах регионального и, как следствие, глобального развития этих стран, их сотрудничества и соперничества.

Расстановка сил в Азии: Индия и Китай — соперники или союзники?

Сложившаяся ситуация в индийско-китайских отношениях не позволяет однозначно определить Индию и Китай как соперников или союзников. Связи между странами представляют собой «вынужденное партнёрство» [Решикова, Решиков 2017], которое сочетает в себе элементы как сотрудничества, так и противостояния, и с изменением политической обстановки маятник индийско-китайских отношений склоняется то в одну, то в другую сторону. Практически в каждой сфере, где Индия и Китай ведут совместную деятельность, проявляющийся оба вектора: позитивный, направленный на укрепление двусторонних связей, и негативный, сводящий на нет многие достижения. При этом для индийско-китайского взаимодействия характерна секьюритизация торгово-экономического сотрудничества, то есть его увязывание с политической обстановкой [Kim 2020].

Несмотря на конфликтный потенциал, являющийся лейтмотивом индийско-китайских отношений, на конкуренцию в ряде сфер экономической и политической жизни, на груз накопившихся за историю отношений двух стран проблем и на возникающие на регулярной основе

² Anderson A., Ayres A. Economics of Influence: China and India in South Asia. Council on Foreign Relations. August 7, 2015. URL: <https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/193219> (accessed: 01.06.2021).

³ Chaudhuri P.P. Scenarios for the India-China Himalayan border conflict. Geopolitical Intelligence Services. July 17, 2020. URL: <https://www.gisreportsonline.com/scenarios-for-the-india-china-himalayan-border-conflict,defense,3244.html> (accessed: 01.06.2021).

новые противоречия и недопонимания, Индия и Китай продолжают идти по пути сотрудничества.

Этой траектории способствует в первую очередь наличие непосредственных отношений между высшими политическими руководителями этих государств. Лидеры двух стран регулярно встречаются в ходе государственных и официальных визитов, а также на полях совещаний в рамках различных многосторонних организаций и объединений. Более того, 2018 и 2019 годы ознаменовались неформальными встречами премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Этот формат может придать импульс разрешению давних разногласий, так как он представляет собой новую модель двустороннего общения между руководителями государств и, как следствие, является шагом к разрядке обострившихся в предшествующие месяцы противоречий, знаком готовности и стремления к урегулированию которых проявили оба лидера, согласившись на такого рода встречи. В 2020 году, на фоне обострения проблем в двустороннем сотрудничестве и пандемии COVID-19, такая встреча не проводилась, однако есть вероятность, что в будущем лидеры Индии и Китая вернутся к такому неформальному взаимодействию.

Крепкой основой для выстраивания партнёрских отношений выступает общность подходов ко многим вопросам, имеющим международное значение. Индия и Китай разделяют общую позицию по таким пунктам глобальной повестки, как реформирование международных институтов и мировых финансов, формирование полицентричного порядка и открытой торговой системы, а также изменение климата и защита окружающей среды⁴. Схожесть оценок в таких принципиальных вопросах по-

зволяет государствам успешно взаимодействовать в рамках различных многосторонних объединений и механизмов, таких как треугольник Россия–Индия–Китай, группа Бразилия–Россия–Индия–Китай–Южная Африка (БРИКС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), «группа двадцати» и другие. Стоит подчеркнуть, что встреча в формате РИК проходила даже в 2020 году, в период приграничного противостояния Индии и Китая. Представители обеих стран смогли оставить двусторонние разногласия «за кулисами» трёхстороннего совещания и обсудить насущные проблемы противодействия глобальной пандемии.

Нельзя не сказать и о наличии мощной институциональной основы отношений: Стратегический экономический диалог, Совместная экономическая группа по экономическим отношениям, торговле, науке и технологиям, Совместная исследовательская группа, а также многие другие. Всего ведутся 50 совместных индийско-китайских диалогов, в рамках которых производится регулярный обмен мнениями по ключевым двусторонним, региональным и глобальным вопросам.

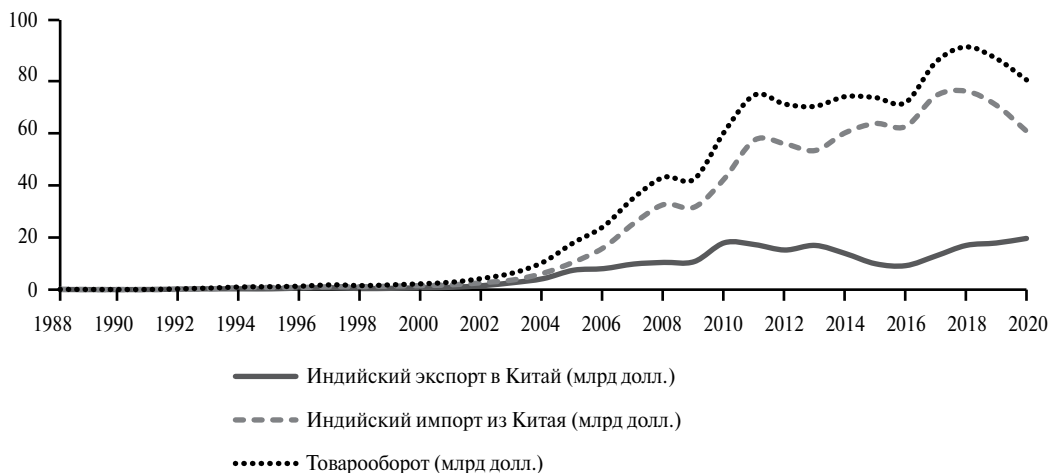
Экономические связи двух стран весьма обширны (рис. 1): двусторонний товарооборот вырос с 50 млн долларов в 1990 г. до 90 млрд долларов в 2018 году, причём ежегодные темпы прироста в начале XXI века достигали 50–70%. (В 2019–2020 годах наблюдалось снижение показателя до 85,7 и 77,8 млрд долларов, что стало результатом глобальной пандемии COVID-19 и эскалации напряжённости на индийско-китайской границе.)

Возрастают и инвестиционные потоки. Более того, несмотря на неоднозначность статистических данных по притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ)⁵,

⁴ Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation Between the Republic of India and the People's Republic of China. Official Website of the Ministry of External Affairs of the Government of India. June 23, 2003 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mea.gov.in/in-focus-article.htm> (accessed: 08.04.2022).

⁵ Существенная доля инвестиций поступает из Китая в Индию не напрямую, а через страны с льготным налогообложением, и поэтому цифры, указываемые в официальной статистике, могут не соответствовать реальным.

Рисунок 1
Динамика индийско-китайской торговли (1988–2020), млрд долларов



Источник: составлено авторами по UN Comtrade Database [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org> (дата обращения: 01.06.2021).

можно сделать вывод об интенсификации финансового обмена, особенно из КНР в Индию. Оценки ежегодных китайских финансовых вложений в 2015–2019 годах варьируются от 162–505 млн долларов до 3,4 млрд долларов⁶. Согласно данным Резервного банка Индии, приток акционерного капитала из Китая за 2000–2019 годы составил 2,2 млрд долларов, тогда как, по другим оценкам, за 2007–2019 годы КНР инвестировала в Индию 14,5 млрд долларов⁷.

Растущий интерес Китай начал проявлять к вложению средств в экономику Индии с 2015 года. Основными направлениями инвестиций стали недвижимость, электроника, возобновляемая энергетика,

текстильная промышленность, автомобильная, финансовая, металлургическая отрасли, сфера информационных технологий и различные виды услуг (табл. 1).

Отдельное место в китайских вложениях занимают инвестиции в новые предприятия — стартапы. По разным оценкам, инвестиции в этот сектор за 2015–2020 годы составили от 3,7 до 5,5 млрд долларов⁸.

Объём накопленных китайских инвестиций в экономике Индии, по данным китайского министерства торговли, в сентябре 2019 г. составлял 5,1 млрд долларов. По информации индийского Министерства торговли и промышленности, этот показатель был равен 2,3 млрд долларов.

⁶ UNCTAD FDI/TNC database [Электронный ресурс]. URL: <https://unctad.org/statistics> (accessed: 01.06.2021); Statista, the Statistics Portal [Электронный ресурс]. URL: <https://www.statista.com> (accessed: 01.06.2021).

⁷ Quarterly Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI) From April, 2000 to March, 2019. Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry of India [Электронный ресурс]. URL: https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_27May2019.pdf (accessed: 01.06.2021); Annual Report on Foreign Direct Investment. Reserve Bank of India. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1166> (accessed: 01.06.2021).

⁸ Padakandla S.R., Sahoo N. India's China FDI Gamble. The Diplomat. May 1, 2020 [Электронный ресурс]. — URL: <https://thediplomat.com/2020/05/indias-china-fdi-gamble/>; <https://www.ft.com/content/8fdeadedc-a944-11e9-b6ee-3cdf3174eb89> (accessed: 01.06.2021).

Таблица 1
Информация о китайских инвестициях в различных секторах индийской экономики,
суммарный показатель за 2007–2019 годы

	Объём инвестиций из Китая (млн долларов)	Количество подписанных соглашений (между фирмами)	В том числе соглашения по созданию новых предприятий
Энергетика	1590	7	4
Металлургия	1310	4	3
Туризм	1270	2	—
Технологии	1130	5	5
Здравоохранение	1080	1	—
Транспорт	700	3	1
Недвижимость	540	3	3
Сельское хозяйство	510	3	—
Сфера развлечений	510	3	2
Другие сферы	4310	12	5

Источник: Padakandla S.R., Sahoo N. India's China FDI Gamble. The Diplomat. May 1, 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://thediplomat.com/2020/05/indias-china-fdi-gamble/>; <https://www.ft.com/content/8fdeaedc-a944-11e9-b6ee-3cdf3174eb89> (дата обращения: 01.06.2021).

По другим оценкам, накопленные инвестиции в Индии составляют 8 млрд долларов⁹.

Что касается индийских ПИИ в китайской экономике, их объёмы также растут: в 2019 г. объём накопленных в китайской экономике индийских инвестиций составлял 1 млрд долларов. Основными отраслями-реципиентами финансовых средств выступают сфера услуг, сельское хозяйство, добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля¹⁰.

Помимо экономических отношений, сотрудничество ведётся в сферах энергетики, науки и технологий, по военной, культурной линиям, а также на уровне межличностных связей. Существует множество областей, где Индия и Китай могут активизировать двустороннее взаимодействие. По линии торговли новые возможности могут открыться, если будут снижаться

тарифные и нетарифные барьеры, что регулярно обсуждается на различных уровнях¹¹. В инвестиционной сфере широки перспективы и на индийском, и на китайском рынках, что предопределяется большим объёмом потребительского рынка, наличием (в случае с КНР) и ускоренным развитием (в случае с Индией) инфраструктуры, целым рядом динамично развивающихся отраслей промышленности и сельского хозяйства, молодым работоспособным индийским населением.

Главное, на чём в будущем может основываться развитие двусторонних связей, — это комплементарность по нескольким направлениям: мощная китайская промышленность сочетается с развитой в Индии сферой услуг, индийский сырьевой экспорт — с китайским экспортом готовой продукции, а индийский «софт» в области

⁹ Sun W. 70 Years of Diplomatic Relations between China and India [1950–2020]. The Hindu. March 31, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thehindu.com/brandhub/70-years-of-diplomatic-relations-between-china-and-india-1950-2020/article31219737.ece> (accessed: 01.06.2021).

¹⁰ Sun W. 70 Years of Diplomatic Relations between China and India [1950–2020]. The Hindu. March 31, 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thehindu.com/brandhub/70-years-of-diplomatic-relations-between-china-and-india-1950-2020/article31219737.ece> (accessed: 01.06.2021).

¹¹ Li D., Kumar D. India-China trade barrier reductions. IHS Markit. July 13, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://ihsmarkit.com/research-analysis/indiachina-trade-barrier-reductions.html> (accessed: 08.04.2022).

информационных технологий — с техническим оборудованием из КНР. При этом дефицит капитала в Индийской Республике может покрываться за счёт притока финансовых средств из Поднебесной, у которой наблюдается их избыток.

Важное обстоятельство взаимодействия — асимметричная зависимость. Причём здесь Индия оказывается в менее выгодном положении, так как её зависимость от КНР гораздо выше, и это даёт ей больше оснований для поддержания дружественного характера связей. Помимо того что индийская сторона по целому ряду товарных групп ориентируется в первую очередь на поставки из Китая, в том числе стратегически важного телефонного и коммуникационного оборудования (73% импорта) и антибиотиков (81% импорта) [Kim 2020], ещё одной причиной стремления к мирному развитию отношений с КНР остаётся аспект безопасности.

Индия не может позволить себе войну с Китаем ни с точки зрения военного потенциала, ни с точки зрения достижения целей развития и увеличения благосостояния населения. Между тем, когда речь идёт об индийско-китайских отношениях, нельзя не принимать в расчёт конкуренцию, являющуюся определяющей для развития двустороннего сотрудничества. Соперничество проявляется в борьбе за ресурсы, сопротивлении гегемонистским устремлениям друг друга, несовпадении взглядов по имеющим ключевое для сторон значение вопросам.

Борьба за территорию

Самый давний индийско-китайский спор — территориальный — и по сей день сохраняет остроту. За весь период его существования с конца 1950-х — начала 1960-х годов нерешённый вопрос о принадлежности приграничных областей, в том числе региона Аксай Чин в западном секторе и индийского штата Аруначал Прадеш в восточном, не раз становился поводом для вооружённых столкновений. После войны 1962 г. индийские и китайские военнослужащие вновь сходились на границе в 1967 и 1986 годах, но затем, после визита премьер-министра Индии Раджива Ганди в КНР,

на спорных территориях на четверть века установился мир. В новом столетии Индия и Китай стали осуществлять активную деятельность в приграничных областях, сопровождающуюся наращиванием военного потенциала. Это привело к нескольким эпизодам вооружённого противостояния, последний из которых затянулся на многие месяцы.

За всю историю конфликта было предпринято множество шагов для его урегулирования, начиная с подписания в 1954 г. соглашения о Тибете, содержащего принципы мирного сосуществования, но все эти усилия не привели к урегулированию конфликта. Непримируемость сторон объясняется стратегической важностью спорных территорий. Например, конфликт вокруг территории Аксай Чин, находящейся под контролем Китая, является частью ещё более давнего конфликта, Кашмирского, — неурегулированного индийско-пакистанского территориального спора. Уступив КНР часть кашмирских территорий, Индия рискует потерять весь этот регион. Для Китая Аксай Чин важен, потому что он даёт дополнительные возможности для укрепления позиций в Пакистане и Центральной Азии, не говоря уже о том, что там проходит дорога из Тибета в ещё одну «болеву точку» для Поднебесной — Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Плато Доклам, ставшее основным местом столкновений 2017 года, когда произошёл очередной виток противостояния с участием индийских и китайских военных, также имеет стратегическое значение, так как Индия может использовать его для окружения китайских войск в случае военного столкновения, а те, в свою очередь, получают превосходную позицию для продвижения в сторону коридора Силигури — узкого участка суши, соединяющего основную территорию Индии с её восточными штатами. Трудно представить, чтобы имеющие такую важность области были добровольно переданы в руки потенциального военного противника.

Ещё один элемент, играющий существенную роль в этой истории, — тибет-

ский вопрос внутри Китая и позиция Индии по нему. Китайские войска заняли Тибет в результате боёв с местными силами в октябре 1950 года. Индия одна из первых признала как коммунистический Китай, так и принадлежность Тибета КНР, рассматривая её как соседа, освободившегося от колониальной зависимости. В 1959 г. Далай-лама XIV был вынужден сбежать в Индию, где под его началом сформировалось Правительство Тибета в изгнании, которое он возглавлял до 2011 года.

В настоящее время Индия, в которой находится более 100 тысяч тибетских беженцев, подтверждает признание Тибета частью Китая. Последний тем не менее выступает с обвинениями в адрес индийских групп, заявляя, что те поддерживают стремления тибетцев по продолжению борьбы за независимость Тибета. Китай обвиняет Далай-ламу в поддержке беспорядков в Тибете и требует от Индии пресекать его вовлечённость в любую политическую активность. Когда духовный лидер Тибета встречается с высокопоставленными индийскими чиновниками, выступает с речью в Дели или прилетает с разрешения Индии в Таванг (буддистский район штата Аруначал Прадеш, где расположен крупнейший буддистский монастырь за пределами Тибета), Пекин заявляет о стремлении Индии подорвать суверенитет и власть Китая¹².

Территориальные споры не только являются раздражающим фактором в индийско-китайских отношениях, угрожающим миру и стабильности в регионе и грозящим перейти в открытый военный конфликт. Имеющиеся разногласия сказываются как на политической, так и на экономической сфере. В частности, отменялись визиты в связи с требованием китайской стороны

исключить из состава делегации участника из штата Аруначал Прадеш, Китай нередко выражал протесты в связи с визитами руководящих лиц в штат, а в 2009 г. Китай заблокировал заявку Индии в Азиатском банке развития (АБР) на предоставление займа под инфраструктурный проект в штате Аруначал Прадеш, заявив, что АБР, как региональное агентство по развитию, не должно вмешиваться в политические дела государств [Baral 2012].

Борьба за ресурсы

Ещё один стратегически важный вопрос двусторонних отношений — проблема использования ресурсов, в том числе водных. Большинство рек, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения, сельского хозяйства и промышленности Индии, берут начало в китайском Тибете. Каждый год более 340 млрд м³ воды поступает в Индийскую Республику с территории КНР, что дает последней возможность контролировать приток воды для питьевых и хозяйственных нужд¹³. Зависимость от Китая в этом вопросе угрожает безопасности индийского государства.

Сильные опасения вызывает гидротехническая деятельность КНР, которая, по мнению экспертов из Индии [Chellaney 2011]¹⁴, может привести к наводнениям или засухам, загрязнению вод, нарушить экологический баланс в регионе, а также дать возможность китайской стороне определять интенсивность притока воды на индийские территории, поставив под угрозу продовольственную и стратегическую безопасность Индии.

Китай отрицает подобные намерения¹⁵, утверждая, что его деятельность по созданию дамб и плотин никак не ограничивает

¹² *Smith J.M.* China-India Relations in the Xi-Modi Era // US-China Economic and Security Review Commission. — March 10, 2016.

¹³ *Singh A.P., Tembey U.* India-China relations and the geopolitics of water. The Interpreter. July 23, 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/india-china-relations-and-geopolitics-water> (accessed: 01.06.2021).

¹⁴ *Chellaney B.* Coming Water Wars. The International Economy. Fall 2009. URL: http://www.international-economy.com/TIE_F09_Chellaney.pdf (accessed: 01.06.2021).

¹⁵ *Saikia J.* The Chinese Threat to Lower Brahmaputra Riparians India and Bangladesh. The Diplomat. February 19, 2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://thediplomat.com/2022/02/the-chinese-threat-to-lower-brahmaputra-riparians-india-and-bangladesh/> (accessed: 08.04.2022).

доступ индийской стороны к водным ресурсам. Более того, страны договорились о регулярном обмене гидрологическими данными для предотвращения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, что, однако, не всегда соблюдается китайской стороной из-за различных технических причин, которые Индия ставит под сомнение.

Индийские опасения относительно китайской угрозы подтверждаются тем, что в 2017 году, когда на индийско-китайской границе случился очередной инцидент, КНР не предоставила гидрологические сведения соседу, в результате чего не были предупреждены наводнения в индийских штатах Ассам и Уттар Прадеш¹⁶.

Неурегулированность вопроса использования водных ресурсов является сильным раздражителем в индийско-китайских отношениях. Более того, водная проблема может расцениваться как непосредственная угроза национальной безопасности, так как существует опасность «вепонизации» водных ресурсов и использования Китаем своих естественных преимуществ в качестве «оружия» или, по крайней мере, фактора влияния в отношениях с соседними странами, в том числе с Индией.

В свете растущих потребностей Индии и Китая в энергоресурсах всё более острой становится борьба за доступ к источникам энергоносителей. Конкуренция проявляется в поисках новых поставщиков нефти и газа для обеспечения стабильных поставок и деятельности в третьих странах с целью поддержания устойчивой энергобезопасности.

В настоящее время Индия и Китай закупают топливо из стран Ближнего Востока и Северной Африки, Восточной Азии и

Тихоокеанского региона. Оба государства предпринимают попытки для получения доступа к разработке месторождений, и в стремлении реализовать намеченные цели они даже устраивают «аукционные войны», постоянно поднимая ценовые предложения и, таким образом, значительно повышая ставки на торгах. Индия уже не раз уступала Китаю, теряя возможность приобрести месторождения в Эквадоре, Уганде, Анголе и Казахстане¹⁷.

Такая ситуация негативно отражается на позициях обеих стран на энергетическом рынке, так как страны-экспортёры, в особенности государства Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), получают возможность извлекать дополнительную выгоду из индийско-китайских разногласий и продолжать дискриминационную политику по отношению к азиатским странам, что проявляется в более высоких ценах на нефть для стран Востока по сравнению с расценками для европейских покупателей и США. Данную практику, берущую своё начало ещё в конце 1980-х годов, можно было бы изменить, если бы Индия и Китай сумели объединить свои усилия в противостоянии нечестному и не отражающему ценовые реалии рынку¹⁸.

Ещё один потенциальный источник соперничества — это природные ресурсы Арктики. В настоящее время Индия и Китай преследуют разные цели в этом регионе. Деятельность Индии сводится преимущественно к научно-исследовательским работам, в то время как интересы КНР охватывают и вопросы добычи и производства энергоресурсов, и возможность использования Северного морского пути в качестве более

¹⁶ Почему Пекин и Нью-Дели не могут поделить главную реку Индии. Федеральное агентство новостей. 04.12.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://riafan.ru/1347243-pochemu-pekini-nyu-deli-ne-mogut-podelit-glavnuyu-reku-indii> (дата обращения: 01.06.2021).

¹⁷ China and India's Growing Energy Rivalry. Bloomberg. December 16, 2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-16/china-and-indias-growing-energy-rivalry> (accessed: 01.06.2021).

¹⁸ Chauhan P. Cooperation Against Competition: India and China in the Energy Sector. South Asian Voices. July 16, 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://southasianvoices.org/cooperation-against-competition-india-china-energy-sector/> (accessed: 01.06.2021). Kalyanaraman A. Scrap 'Asian Premium' on oil. Business Line. June 19, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/from-the-viewsroom/scrap-asian-premium-on-oil/article24202983.ece> (accessed: 08.04.2022).

быстрого и экономичного транспортного маршрута, не обременённого ни влиянием США и Индии, ни угрозами пиратства, что может стать решением «Малаккской дилеммы»¹⁹. Как таковой конкуренции между двумя странами в Арктике за природные ресурсы и, соответственно, реализуемые в регионе проекты нет. Есть только опасения Индии, связанные с негативными последствиями деятельности в регионе на процессы глобального потепления, а также с потерей влияния в системе морского транспортного сообщения в случае, если взамен традиционным морским путям будут использоваться новые, пролегающие через арктическую зону [Лексютин 2019]. С течением времени ситуация может измениться, и, когда вопрос нехватки углеводородов приобретёт большую остроту, возможно, Индия изменит свою позицию относительно использования арктических ресурсов. Тогда у неё и её китайского соседа появится ещё один повод для соперничества.

Таким образом, противоречия в водной и энергетической сферах, стремление обеих стран удовлетворить собственные национальные интересы без учета потребностей другой стороны и отсутствие согласованной позиции по ключевым вопросам международной энергетики не позволяют в полной мере реализовать потенциал Индии и Китая, действовать сообща для достижения в том числе более выгодных условий поставок и обеспечения стратегической энергетической безопасности.

Борьба за региональное и глобальное влияние

Всё большее беспокойство Индии вызывает активизация китайских усилий по

укреплению влияния в соседних с ней странах. Южноазиатский регион представляет собой систему взаимодействия, в центре которой находится мощное индийское государство, а вокруг него сосредоточены менее крупные страны, ориентированные и в политике, и в экономике на Индию. Исключение из этого порядка составляет лишь Пакистан, который всеми доступными способами противодействует усилиям Индийской Республики, направленным на достижение регионального лидерства.

Политика КНР в Южной Азии меняет расстановку сил, так как Китай постепенно вытесняет Индию из системы внешнеэкономических и внешнеполитических интересов её ближайших соседей и представляет угрозу её традиционному влиянию в регионе. Наиболее отчётливо такие устремления КНР проявляются в торговле. Например, поставки китайских товаров в страны региона (без учёта Индии, но с учётом включаемых по индийской методологии в число государств Южной Азии Афганистана и Мьянмы) в 2020 г. более чем в два раза превзошли индийский экспорт. Причём Китай обгоняет Индию по экспорту в Пакистан, Мьянму, Бангладеш, Мальдивскую Республику, и в 2020 г. к этому списку прибавилась и Шри-Ланка²⁰.

Помимо этого, почти все страны региона присоединились к китайской инициативе «Пояс и путь», в рамках которой осуществляются логистические и другие инфраструктурные проекты, включая, в частности, строительство трансгималайской железной дороги совместно с Непалом [Murton, Lord 2020], развитие портов Коломбо²¹ и Хамбантота [Roy-Chaudhury 2019], а также строительство новых дорог и

¹⁹ Большая часть импортируемых Китаем энергоресурсов поступает в страну через Малаккский пролив. Данный морской транспортный путь не является полностью безопасным, более того, ориентация на поставки стратегически важных энергоресурсов преимущественно через один коридор противоречит интересам безопасности. Для разрешения данной проблемы Китай стремится диверсифицировать поставки нефти и газа.

²⁰ UN Comtrade Database [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org> (accessed: 08.04.2022).

²¹ China Communications Construction Company Ltd. Port City Colombo. 2018–2019 Social Responsibility Report. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.portcitycolombo.lk/downloads/port-city-english-2020.pdf> (accessed: 08.04.2022).

электростанций в Шри-Ланке, портовые и транспортные проекты в Бангладеш, Мальдивской Республике и Мьянме. Нельзя не отметить и возросшую в последние годы роль Китая в афганских делах. С 2015 г. КНР принимала непосредственное участие в переговорах между официальными властями Афганистана и Талибаном, совместно с Пакистаном и Афганистаном вела работу по привлечению талибов к переговорному процессу. Важную роль на афганском направлении играют особые отношения Пекина с Исламабадом, который под влиянием Китая может более активно участвовать в процессе обеспечения мира, стабильности и безопасности в Афганистане.

Наряду с вложением финансовых средств в развитие инфраструктуры, энергетики и других отраслей в странах Южной Азии Китай укрепляет военное сотрудничество с государствами региона. В частности, КНР стала основным поставщиком военного оборудования в Бангладеш, а бенгальский порт Читтагонг до 2015 г. даже называли стратегическим анклавом Китая. Вместе с тем предположения о создании там китайской военной базы не оправдались. Более того, в 2015 г. Индия и Бангладеш подписали соглашение, по которому индийские грузовые суда получили разрешение использовать этот порт. Пекин отрицает намерения по созданию военно-морских баз в развиваемых на китайские средства портах Шри-Ланки, Бангладеш, Мальдивской Республики. Тем не менее вероятность их развёртывания сохраняется, и игнорировать такую деятельность КНР Индия не готова. Тем более что Китай заявляет о праве на создание военно-морских баз за пределами своей территории, оправдывая это тем, что необходимо обеспечивать безопасность и свободу навигации в Индийском океане, противодействуя таким угрозам, как терроризм и пиратство [Smith 2014].

Осложняется ситуация тем, что участие в инициативе «Пояс и путь», как стало ясно

Таблица 2
Внешний долг стран Южной Азии (кроме Индии)
в 2009 и 2019 годах, млн долларов

Страна	2009	2019
Афганистан	2480	2662
Бангладеш	25 372	57 088
Бутан	786,5	2703,3
Мальдивская Республика	1383,5	2679,2
Мьянма	9495	11 114
Непал	3777	6513
Пакистан	56 634	100 819
Шри-Ланка	19 504	56 095

Источник: составлено авторами по данным *International Debt Statistics 2021. World Bank* [Электронный ресурс]. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34588/9781464816109.pdf> (accessed: 01.06.2021).

из полученного опыта, сопряжена с рядом финансовых проблем для стран-реципиентов. В частности, наблюдается резкий рост внешнего долга государств, в которых КНР реализует свои проекты (табл. 2).

В государствах-должниках возникают проблемы с выплатами для обслуживания долга, и им приходится искать выход из этой сложной ситуации. Решением для Шри-Ланки стала, например, передача на условиях аренды под контроль Китаю двух своих портов, в результате чего ключевые морские торговые и финансовые хабы перешли под контроль иностранного государства.

Значимое место в политике Китая занимает Пакистан — основной соперник Индии. Проиндийски настроенные эксперты часто называют Пакистан марионеткой в руках Пекина, которую он использует как противовес растущему влиянию Нью-Дели²². Помимо развития транспортной и энергетической инфраструктуры в Пакистане, тесного военного сотрудничества, в том числе оказания ему помощи в увеличении ядерного потенциала, Китай непосредственно затрагивает самый болезненный для Индии вопрос кашмирского

²² Sibal K. India-China Relations: Problems and Prospects. Occasional Paper. Vivekananda International Foundation. July, 2012. URL: <http://www.vifindia.org/sites/default/files/india-china-relations-problems-and-prospects.pdf> (accessed: 01.06.2021)

региона. Ещё в 1963 г. по соглашению между Пакистаном и КНР последнему было передано более 5 тыс. км² территории, которую индийская сторона считает своей и где в 1978 г. было построено Каракорумское шоссе. В 2013 г. был дан старт проекту Китайско-пакистанского экономического коридора, который также протекает по спорным территориям.

Для Китая Южная Азия имеет стратегическое значение по многим причинам. *Во-первых*, страны региона — крупные рынки сбыта для китайских товаров, а также важные звенья в инициативе «Пояс и путь». *Во-вторых*, развитие сухопутных транспортных маршрутов через государства Южной Азии может позволить Китаю решить «малаккскую дилемму», то есть снизить зависимость страны от морских путей, по которым КНР получает энергоресурсы. Наконец, мир и стабильность в Пакистане и Афганистане дают Китаю дополнительный импульс для выхода на рынки стран Центральной Азии.

Активность КНР в Южной Азии не принесла бы таких результатов, если бы страны региона не были заинтересованы в развитии сотрудничества с Китаем больше, чем в сотрудничестве с Индией, чему есть несколько объяснений. *Во-первых*, вследствие отсутствия комплементарности экономик из-за схожей структуры экспорта-импорта, сохранения высоких тарифных и нетарифных барьеров интеграция в южноазиатском регионе находится на очень низком уровне. *Во-вторых*, сохраняются опасения малых стран относительно гегемонистских устремлений Индии и недовольство её отношением к соседям с позиции «большого брата», в то время как государства региона хотели бы, чтобы к ним относились как к равным партнёрам. В лице Китая страны Южной Азии видят противовес влиянию Индии и её намерениям определять и направлять внешнеполитический и экономический вектор развития госу-

дарств региона. *В-третьих*, необходимо подчеркнуть привлекательность китайских инициатив в смысле доходов, которые может принести их реализация, особенно в свете неспособности Индии предложить что-либо сопоставимое по масштабу. Наконец, нельзя забывать, что между Индией и её партнёрами по региону сохраняются политические, экономические, религиозные и этнические разногласия, которые также мешают выстраиванию партнёрских взаимоотношений.

Китайское вмешательство во внутренние дела южноазиатского региона и возросшее влияние КНР в непосредственной близости от индийских границ представляет для Индии существенную угрозу безопасности и исторически сложившейся расстановке сил. Оба азиатских государства проводят активную политику по укреплению своих позиций в регионе и созданию более тесных экономических связей. Главной опасностью для Дели является активизация военной стратегии в Индийском океане и получение Пекином доступа к стратегической инфраструктуре стран. Индия в силу своих возможностей стремится ограничить подобную деятельность, что в основном проявляется в попытках налаживания более дружеских отношений с соседями.

На глобальном уровне Китай не скрывает стремления войти в число сильнейших мировых держав [Kim 2020]. Индия, в свою очередь, также стремится усилить свои позиции в международных делах. В этих условиях изучение соперничества между двумя государствами приобретает особое значение и актуальность.

Нельзя говорить, что два азиатских государства в равной степени претендуют в настоящий момент на роль глобальных лидеров. КНР, которая, согласно прогнозам, уже в 2028 г. станет самой крупной экономикой мира по ВВП по обменному курсу²³, сохраняет позицию постоянного члена Совета Безопасности ООН, а следователь-

²³ Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира. РБК. 26.12.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/01/2021/600503c09a79470549f19781> pdf (дата обращения: 01.06.2021).

но, имеет непосредственное влияние на происходящие в мировой политике и экономике процессы, действительно приближается если не к позиции единоличного глобального лидера, то одного из лидеров. Индия, имея за спиной гораздо более скромный список достижений, а к тому же и многочисленные проблемы, начиная от бедности и неграмотности населения и заканчивая недостаточно развитой инфраструктурой, на подобный статус претендовать пока не может. Тем не менее она предпринимает меры для укрепления своих позиций в качестве регионального лидера и активизации участия в мировой политике и экономике. Об этом свидетельствуют её решительная внешняя политика, нацеленность на создание стратегических партнёрств с ключевыми глобальными игроками, а также меры по укреплению военного и экономического потенциала²⁴.

В этом контексте обе страны заинтересованы в том, чтобы не дать двусторонним противоречиям негативно влиять на развитие отношений. Для Нью-Дели Китай — это возможность благодаря притоку инвестиций решить имеющиеся инфраструктурные проблемы, интенсифицировать деятельность автомобильно-строительной, металлургической, строительной отраслей, придать импульс развитию солнечной энергетики, а также привлечь финансовые средства в динамичную сферу информационных технологий, в которой у Индии имеются значительные сравнительные преимущества перед другими странами. Кроме того, зависимость индийской экономики от китайской (например, доля Китая в общем товарообороте Индии составляет около 12–14%)²⁵ предопределяет, что она и в будущем продолжит опираться на КНР как

на базис, без которого невозможно дальнейшее развитие. Заинтересованность Китая в Индии носит скорее потенциальный характер, так как в настоящее время зависимость китайской экономики от индийской минимальна. Тем не менее в связи с открывающимися инвестиционными, производственными и технологическими возможностями на огромном индийском рынке КНР стремится наладить тесное партнёрство с южноазиатским соседом.

Причины соперничества и перспективы индийско-китайских отношений

Помимо конкурентной составляющей индийско-китайского взаимодействия в различных сферах, стоит рассмотреть ещё несколько причин, сдерживающих развитие двустороннего кооперативного взаимодействия.

В первую очередь, необходимо упомянуть вопросы международного значения, по которым Индия и Китай имеют разные точки зрения. Сюда можно отнести позицию Нью-Дели по проблеме Южно-Китайского моря, позицию КНР по вступлению Индии в Группу ядерных поставщиков, а также неопределённость в оценке стремления Индии занять место среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. До недавнего времени Китай не соглашался на включение лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад»²⁶ Масуда Азхара в список «глобальных террористов», и полученное под международным давлением согласие, как и поставленная Китаем в 2017 г. подпись под документом, где базирующиеся в Пакистане группировки «Джаиш-е-Мухаммад» и «Лашкар-е-Тайба»²⁷ названы террористическими, можно рассматривать как важные дипломатические успехи Индии²⁸.

²⁴ *Lindsley L.* India's Rise to Global Leadership. The Roosevelt Group. May 14, 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.roosevelt-group.org/quick-takes/indias-rise-to-global-leadership> (accessed: 08.04.2022).

²⁵ UN Comtrade Database [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org> (accessed: 01.06.2021).

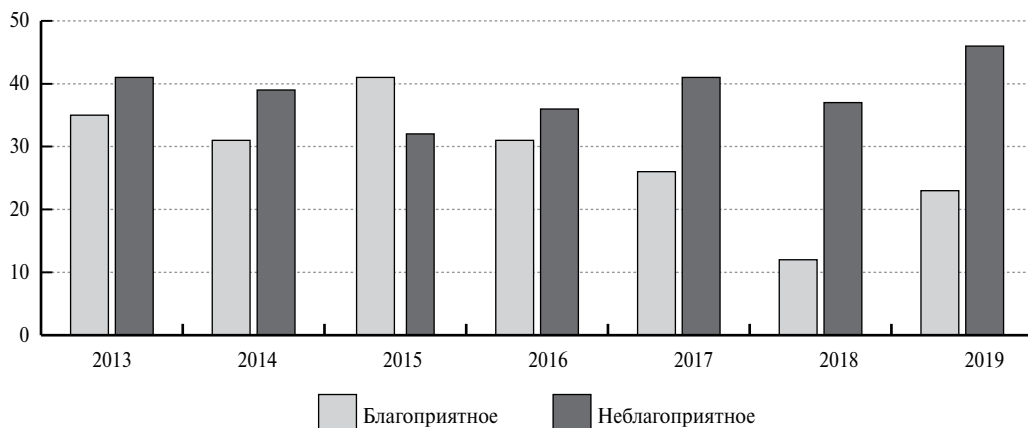
²⁶ Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

²⁷ Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

²⁸ *Pandey P.* 2017 BRICS Summit: Post-Doklam, India, China Meet in Xiamen. The Diplomat. September 7, 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://thediplomat.com/2017/09/2017-brics-summit-post-doklam-india-china-meet-in-xiamen/> (accessed: 01.06.2021).

Рисунок 2

Динамика благоприятного и неблагоприятного отношения к Китаю среди индийского населения (2013–2019), %



Источник: составлено авторами по данным Pew Research Center, *Global Attitudes & Trends* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pewresearch.org/global/database/indicator/24/> (accessed: 01.06.2021).

Несмотря на масштабность торгово-экономического сотрудничества, в этой области также имеются сложности, а именно несбалансированность торговли как с точки зрения объёмов (отрицательное сальдо торговли Индии с Китаем начиная с 2015 г. превышало 50 млрд долларов, но в 2020 г. этот показатель снизился до 39,8 млрд, что стало результатом сокращения индийского импорта из КНР при одновременном небольшом приросте экспорта в Поднебесную), так и с точки зрения товарной структуры экспорта и импорта (экспорт Индии носит ресурсоориентированный характер, она поставляет сырьё и полуфабрикаты, в то время как существенная доля закупок из Китая приходится на капитальные товары), а также сохранение высоких тарифных и нетарифных барьеров²⁹.

Ещё один немаловажный аспект – годами сложившиеся недоверие и неприязнь, особенно с индийской стороны к Китаю, смягчению которых отнюдь не способствует нехватка информации друг о друге у представителей деловых и научных кру-

гов. Согласно опросам в последние годы наблюдается рост неблагоприятного отношения к Китаю среди индийского населения (рис. 2).

Дополнительные сложности привносит политика третьих стран. Например, США и Пакистан играют существенную, порой деструктивную роль в индийско-китайских отношениях. Наибольшую тревогу Индии вызывает развитие отношений Китая с Пакистаном. Как упоминалось выше, военно-политический союз этих двух государств угрожает индийским интересам стратегической безопасности. Улучшение индийско-американских отношений и их совместные действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе – повод для беспокойства для КНР. США стали вторым крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, две страны проводят регулярные военные учения, а также подписали ряд соглашений об обмене чувствительной информацией в военной сфере. В таком тесном взаимодействии Китай видит признаки враждебности по отношению к себе, и в сочетании с индийским сотрудничеством с Японией,

²⁹ Dhar B., Rao K.S.C. India's Economic Dependence on China. The India Forum. July 24, 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theindiaforum.in/article/india-s-dependence-china> (accessed: 01.06.2021).

Южной Кореей, Вьетнамом — попытки «окружения» КНР и изменения баланса сил не в пользу последней.

Распространение COVID-19, взявшего своё начало в КНР, лишь усугубило ситуацию. Реакцией бизнес-сообщества и потребителей в Индии стали участвовавшие призывы к бойкоту китайских товаров³⁰. Посол Индии в России Б.В. Варма косвенно обвинил Китай в неспособности «нести глобальную ответственность»³¹. Правительство ввело новые меры по регулированию инвестиционных вложений, призванные предотвратить захват индийских компаний иностранными холдингами из соседних стран (единственный сосед, способный осуществить финансовый «захват», — это КНР). Были введены новые торговые барьеры для сдерживания притока дешёвых китайских товаров, ограничена деятельность нескольких десятков китайских мобильных приложений. Всё это происходило на фоне непрекращающегося противостояния на границе, лишь приводящего к росту недоверия и неприязни в Индии к Поднебесной.

Когда речь идёт о будущем отношений двух стран, сложно делать прогнозы, так как невозможно корректно оценить воздействие всей совокупности переменных, влияющих на взаимодействие игроков на международной арене. Тем не менее изложенные выше факты позволяют предположить, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем и в более длительной перспективе.

Можно ожидать, что торгово-экономические отношения, а также сотрудничество в энергетической, научно-техниче-

ской и культурной областях, в сфере политики и международной жизни продолжатся, хотя на данный момент не приходится ожидать кардинального прорыва, который будет способен качественно улучшить индийско-китайские взаимоотношения. В связи с этим главный вопрос, который волнует сейчас научное сообщество, а также международные дипломатические и деловые круги, — вероятность перерастания индийско-китайских приграничных стычек в полномасштабные военные действия.

В целом ни Индия, ни Китай не заинтересованы в эскалации конфликта. Тем не менее обострение обстановки на границе, произошедшее в 2020 году, — это не просто очередной виток противостояния, а первый за многие годы инцидент, приведший к военным потерям. Он окончил 45-летний период, в течение которого обе стороны обходились без кровопролития. Такая ситуация может привести к совершенно противоположным результатам. Возможно, одна из стран-участниц конфликта слишком далеко зашла в стремлении продемонстрировать военную мощь, и этим эпизодом всё и закончится: волнения улягутся, страны вернутся к обычному режиму взаимодействия, сотрудничество будет постепенно налаживаться, а противоречия — сглаживаться. Вместе с тем нельзя исключать и другого варианта развития событий. Китай не раз открыто заявлял, что Индии следует «помнить 1962 год»³², а реальные проявления агрессивного поведения создают очень нестабильную и опасную ситуацию на границе. Негативные последствия потенциальной войны и

³⁰ *Banerji S.* India-China trade crashes 7% amid cold vibes — steepest fall in 7 years; monthly deficit at 10-year low // *Business Today*. June 11, 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-china-trade-crashes-7-percent-amid-cold-vibes-steepest-fall-in-7-years-monthly-deficit-at-10-year-low/story/406672.html>; *Banerji S.* Traders to boycott Chinese goods; cut imports by Rs 1 lakh crore by Dec 2021 // *Business Today*. June 10, 2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/china-export-traders-to-boycott-chinese-goods-cut-imports-rs-1-lakh-crore-dec-2021/story/406506.html>.

³¹ Формат для заклятых друзей // *Коммерсантъ*. 23.06.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4390453> (дата обращения: 01.06.2021).

³² *Singh S.* China-India Bilateral Trade: Strong Fundamentals, Bright Future. *China Perspectives*. November–December 2005 [Электронный ресурс]. URL: <http://journals.openedition.org/chinaperspectives/2853> (accessed: 01.06.2021).

издержки от разрыва довольно крепких связей осознаются и индийской, и китайской сторонами, но станет ли это тем предохранителем, который не позволит развязать вооружённый конфликт, — большой вопрос.

Существуют риски того, что через несколько лет шаткий статус-кво потеряет актуальность и страны будут вынуждены искать выход из положения [Sitaraman 2020]. Окажется ли он мирным или военным, будет зависеть от действительной готовности Индии и Китая идти на уступки, проявлять сдержанность и принимать во внимание интересы и нужды противоположной стороны.

Дополнительные сложности в индийско-китайские отношения привносит ситуация в Тибете. КНР ведёт активную политику в этом регионе, что включает в себя как интенсивное инфраструктурное строительство и возведение целых деревень в непосредственной близости от индийской границы, так и достаточно агрессивную культурную ассимиляцию тибетцев³³. Такая ситуация не только не сглаживает, но и существенно обостряет имеющиеся разногласия.

Экономические, политические и геостратегические противоречия, в центре которых находится территориальный спор, как сети, окутывают Индию и Китай, не позволяя им углублять взаимодействие. Пока не будут решены все принципиальные для обоих государств вопросы, во всех ситуациях, каких бы сфер и проблем они ни касались, Индия и Китай будут действовать и принимать решения исключительно с оглядкой на те спорные моменты, которые являются неотъемлемой частью зыбкого партнёрства.

* * *

Изучение основных проблем в отношениях между Индией и Китаем, а также

областей их сотрудничества и конкуренции, наряду с оценкой перспектив дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, позволяет сделать вывод о весьма сложной и неоднозначной системе взаимосвязей между Индией и Китаем. Сотрудничество этих государств базируется на ряде условий, которые имеют долгосрочный и стабильный характер. Вместе с тем эти условия подрываются не менее весомыми проблемами, ставящими под сомнение любое проявление дружеского партнёрства.

Нет сомнений в том, что противоречия политического, экономического и стратегического характера оказывают значительное негативное воздействие на индийско-китайское сотрудничество, препятствуя его адекватному и соответствующему национальным интересам расширению и углублению, что видно из анализа различных сфер взаимодействия. При этом, несмотря на все разногласия, Индия и Китай не только продолжают развивать двусторонние связи, но и налаживают отношения в довольно чувствительных областях, например военной. Это говорит о прагматичном подходе к выстраиванию партнёрства, которое нужно и одной, и другой стороне, и о взаимном стремлении к урегулированию критически важных вопросов.

При нынешней расстановке сил индийско-китайские отношения имеют непредсказуемый характер, и остаётся только предполагать, что осознание необходимости предотвращения войны и принятия любых мер, способствующих росту стабильности в регионе и благосостояния граждан соперничающих государств, возьмёт верх над политическими амбициями, а борьба «тигра» и «дракона» за место под солнцем закончится достижением взаимовыгодного компромисса во имя мира и процветания.

³³ *Saran S.* Tibet won't remain a side issue for long between India, China. Xi's policies indicate // The Print. August 11, 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://theprint.in/opinion/tibet-wont-remain-a-side-issue-for-long-between-india-china-xis-policies-indicate/712702/>

Список литературы

- Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая политика. М.: Буки Веди, 2013. 502 с.
- Галищева Н.В. Приоритеты внешнеэкономической политики Индии // Азия и Африка сегодня. 2014. № 10 (687). С. 13–20.
- Галищева Н.В. Приоритеты внешнеэкономической политики Индии // Азия и Африка сегодня. 2014. № 11 (688). С. 13–17.
- Галищева Н.В. Экономика Пакистана. М.: МГИМО-Университет, 2018. 373 с.
- Куприянов А.В. Индия и Китай: игра с ненулевой суммой // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 6. С. 133–141. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-6-133-141.
- Лексюткина Я.В. Китай и Индия в Арктике: интересы, стратегии и сотрудничество с Россией // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 4. С. 40–48. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48.
- Лунёв С.И. Значение форматов РИК, БРИК и БРИКС для Индии // Китай в мировой и региональной политике: история и современность. М.: ИДВ РАН, 2012. С. 112–139.
- Лунёв С.И. Индия как один из новых центров глобального влияния // Сравнительная политика. 2012. № 2 (8). С. 90–104.
- Лунёв С.И. Южная Азия и Китай // Китай в XXI веке: глобализация интересов безопасности / Под ред. Г.И. Чуфрина. М.: Наука, 2007. С. 288–312.
- Решикова М.С., Решиков О.И. Индия и Китай: «вынужденное партнёрство» двух азиатских гигантов // Азия и Африка сегодня. 2017. №11. С. 54–59.
- Терехов В.Ф. Территориальная проблема в китайско-индийских отношениях: истоки, эволюция и современное состояние // Проблемы национальной стратегии. 2011. №4 (9). С. 57–76.
- Уянаев С.В. Россия–Индия–Китай в контурах нового миропорядка. М.: Издательский дом «Форум», 2019. 322 с.
- Baral J.K. Conflict and Cooperation in India-China Relations // Journal of Defence Studies. 2012. Vol. 6. No. 2. P. 78–93.
- Chellaney B. Water: Asia's New Battleground. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2011. 400 p.
- China-India Relations Geo-political Competition, Economic Cooperation, Cultural Exchange and Business Ties / Ed. by Kim Y-C. Cham: Springer International Publishing, 2020. 228 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44425-9>.
- Kumaraswamy P.R. India's Energy Cooperation with China: The Slippery Side // China Report. 2007. Vol. 43. No. 3. P. 349–352. DOI:10.1177/000944550704300306.
- Li K. China and India Trade Competition and Complementary: Analysis of the “Belt and Road” Background // Modern Economy. 2018. Vol. 9. No. 7. P. 1213–1227. DOI: 10.4236/me.2018.97079.
- Maritime Security in the Indo-Pacific: Perspectives from China, India, and the United States / ed. by M. Malik. Lanham. Maryland: Rowman and Littlefield, 2014. 310 p.
- Murton G., Lord A. Trans-Himalayan Power Corridors: Infrastructural Politics and China's Belt and Road Initiative in Nepal // Political Geography. 2020. Vol. 77. 102100. DOI: 10.1016/j.polgeo.2019.102100.
- Roy-Chaudhury S. China, the Belt and Road Initiative, and the Hambantota Port Project // St Antony's International Review. 2019. Vol. 15. No. 1. May. P. 153–164.
- Sitaraman S. Are India and China Destined for War? Three Future Scenarios // Hindsight, Insight, Foresight: Thinking about Security in the Indo-Pacific // ed. by A.L. Vuving. Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, 2020. P. 283–306. URL: <https://apcss.org/wp-content/uploads/2020/09/19-Sitaraman-25thA.pdf> (accessed: 01.06.2021).
- Smith J.M. Cold Peace: China–India Rivalry in the Twenty-First Century. Lexington Books, 2014. 290 p.

INDIA-CHINA RELATIONS

STRUGGLE BETWEEN THE TIGER AND THE DRAGON FOR A PLACE IN THE SUN

NATALIA GALISTCHEVA

MARIA RESHCHIKOVA

MGIMO University, Moscow, 119454, Russia

Abstract

The article analyzes the current state of India-China relations, their main elements and prospects. We identify key factors strengthening bilateral India-China cooperation including the high level of political interaction, institutional framework of the relations, common approaches to solving the core issues on the international agenda and extensive economic ties. We also study the main fields of confrontation between India and China which include territorial disputes, fight for access to water and energy resources and rivalry for regional and global influence. The article identifies the elements that undermine the established system of the relations, especially mutual enmity between the states, imbalances in their trade, the third parties' policies in Asia, divergent stances on some regional and international issues which are crucial for both countries, as well as the spreading COVID-19 infection – a new factor in the international politics and economy. We conclude that India-China relations are characterized by ambiguity and controversy. On the one hand, they have a solid political and economic foundation, but, on the other, they are complicated by a wide range of old and new problems that do not allow the sides to build effective cooperation in many spheres. We also provide a characterization of India-China 'forced partnership' and focus on the phenomenon of securitization of bilateral economic interaction. The paper pays particular attention to the assessment of complementarity of the two countries' economic systems. It analyzes the prospects of India-China cooperation, opportunities for deepening their ties in trade and investments, energy sphere, science and technology, culture and interpersonal relations. We have also considered the possibility of the confrontation escalation in a range of relations fields into an open military conflict and assessed whether existing differences and mutual claims can impact future development of the ties between India and China. The conclusion underlines both disinterest of both sides in a full-scale war and unpredictability of India's and China's behavior in the conditions of instability in the international and regional arena.

Keywords:

India; China; India-China competition; mutual India-China trade; territorial disputes; fight for resources; forced partnership; securitization of bilateral economic interaction.

References

- Baral J.K. (2012). Conflict and Cooperation in India-China Relations. *Journal of Defence Studies*. Vol. 6. No. 2. P. 78–93.
- Chellaney B. (2011). *Water: Asia's New Battleground*. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 400 p.
- Galistcheva N.V. (2013). *Indiya v mirovom hozyajstve na rubezhe vekov: vneshneekonomicheskie svyazi i vneshneekonomicheskaya politika* [India in the World Economy at the Turn of the Century]. Moscow: Buki Vedi. 502 p.
- Galistcheva N.V. (2014a). Prioritety vneshneekonomicheskoy politiki Indii [Priorities of India's foreign economic policy]. *Asia and Africa Today*. No. 10 (687). P. 13–20.
- Galistcheva N.V. (2014b). Prioritety vneshneekonomicheskoy politiki Indii [Priorities of India's foreign economic policy]. *Asia and Africa Today*. No. 11 (688). P. 13–17.

- Galishcheva N.V. (2018). *Ekonomika Pakistana* [Economy of Pakistan]. Moscow: MGIMO University. 373 p.
- Kim Y.-C. (ed.) (2020). *China-India Relations Geo-political Competition, Economic Cooperation, Cultural Exchange and Business Ties*. Cham: Springer International Publishing. 228 p. DOI:10.1007/978-3-030-44425-9.
- Kumaraswamy P.R. (2007). India's Energy Cooperation with China: The Slippery Side. *China Report*. Vol. 43. No. 3. P. 349–352. DOI:10.1177/000944550704300306.
- Kupriyanov A.V. (2020). Indiya i Kitaj: igra s nenulevoj summoj [India and China: a non-zero-sum game]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 64. No. 6. P. 133–141. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-6-133-141.
- Leksyutina YA.V. (2019). Kitaj i Indiya v Arktike: interesy, strategii i sotrudnichestvo s Rossiej [China and India in the Arctic: interests, strategies and cooperation with Russia]. *Ojkumena. Regional Researches*. No. 4. P. 40–48. DOI: 10.24866/1998-6785/2019-4/40-48.
- Li K. (2018). China and India Trade Competition and Complementary: Analysis of the "Belt and Road" Background. *Modern Economy*. Vol. 9. No. 7. P. 1213–1227.
- Lunev S.I. (2012a). Znachenie formatov RIC, BRIC i BRICS dlya Indii [Significance of RIK, BRIC and BRICS formats for India] In: *Kitaj v mirovoj i regional'noj politike: istoriya i sovremennost'*. Moscow: IDV RAN. P. 112–139.
- Lunev S.I. (2012b). Indiya kak odin iz novykh centrov global'nogo vliyaniya [India as one of the centres of global influence]. *Sravnitel'naya politika*. Vol. 2. No. 8. P. 90–104.
- Lunev S.I. (2007). Yuzhnaya Aziya i Kitaj [South Asia and China] In: Chufirina G.I. (ed.) *Kitaj v XXI veke: globalizatsiya interesov bezopasnosti*. Moscow: Nauka.
- Malik M. (ed.). (2014). *Maritime Security in the Indo-Pacific: Perspectives from China, India, and the United States*. Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield. 310 p.
- Murton G., Lord A. (2020). Trans-Himalayan Power Corridors: Infrastructural Politics and China's Belt and Road Initiative in Nepal. *Political Geography*. Vol. 77. 102100. 10.1016/j.polgeo.2019.102100.
- Roy-Chaudhury S. (2019). China, the Belt and Road Initiative, and the Hambantota Port Project. *St Antony's International Review*. Vol. 15. No. 1. P. 153–164.
- Reshchikova M.S., Reshchikov O.I. (2017). Indiya i Kitaj: "vynuzhdennoe partnerstvo" dvuh aziatskih gigantov [India and China: «Forced partnership» of the two Asian giants]. *Asia and Africa Today*. No. 11. P. 54–59.
- Sitaraman S. (2020). Are India and China Destined for War? Three Future Scenarios. In: Vuving A.L. (ed) *Hindsight, Insight, Foresight: Thinking about Security in the Indo-Pacific*. Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. P. 283–306.
- Smith J.M. (2014). *Cold Peace: China–India Rivalry in the Twenty-First Century*. Lexington Books. 290 p.
- Terekhov V.F. (2011). Territorial'naya problema v kitajsko-indijskikh otnosheniyah: istoki, evolyuciya i sovremennoe sostoyanie [Territorial Problem in China-India Relations: Origin, Evolution and Current State]. *Problemy nacional'noj strategii*. Vol. 4. No. 9. P. 57–76.
- Uyanaev S.V. (2019). *Rossiya – Indiya – Kitaj v konturah novogo miroporyadka* [Russia – India – China – in the contours of the new world order]. Moscow: Forum. 322 p.

INCOME GENERATION ACTIVITIES FROM ACADEMICS AT UNIVERSITIES AND ENGAGEMENT WITH STAKEHOLDERS

NATALYA RADKO

Henley Business School, University of Reading, Reading, RG9 3AU, United Kingdom
MGIMO University, Moscow, 119454, Russia

Abstract

The paper explores the effect of different stakeholders (the definition of the term "stakeholder" within this research paper is presented in the Introduction) on the income generation of the university. There is a growing focus from the research perspective and university management on the ability of universities to sustain their financial sustainability due to the shortage of financial support from the government. Adopting different instruments, university faculty is one of the vital stakeholders for generating revenues for the university via engaging with different actors. This research adopted quantitative techniques by applying secondary data on university-industry collaboration in the UK to evaluate the effect of different stakeholders on university financial positions. The results show that government and Industry are among the initial stakeholders to contribute to university financial results while the support of other actors is vital but different across university types. This research can be helpful for university managers as a guide to explain different paths of collaboration with stakeholders that can lead to different strategies to increase university income.

Keywords:

Universities; income generation; academic staff; sustainability.

Universities are institutions that follow the "principle of borderless generation, dissemination and look for/of novel and comprehensive knowledge" [Wachter et al. 2012: 26]. They can acquire different funding sources to the extent how those sources can impact their financial structure. Besides the government, universities can acquire funding from different resources based on how such resources could impact the financial performance of academia [Alshubiri 2020].

Changing government policies and reducing funding for universities put university sustain-

ability under pressure. By definition, sustainability is the ability of an institution "to uphold an activity without quality loss and by using appropriate resources into the future" [Nalwoga 2021]. The sustainability of universities in terms of finances plays a critical role in maintaining ordinary university operations.

The number of evidence suggests that universities with reliable income flows and sound financial systems can perform multiple missions (teaching, research, and entrepreneurship) more effectively [Modugno and Di Carlo 2019; Sazonov et al. 2015]. For that, they need

Дата поступления рукописи в редакцию: 20.07.2021

Дата принятия к публикации: 29.10.2021

Для связи с автором / Corresponding author:

Email: n.radko@pgr.reading.ac.uk

to secure financial sustainability, which is the ability of the university to fulfill its mandate [Nalwoga 2021]. It is predicted that many universities could face financial sustainability challenges as they have to rely on multiple sources of revenue streams [Sazonov et al. 2015].

Following Jongbloed [Jongbloed 2004], policymakers and leadership at the university use funding as a component of adopted government instruments. Thus, funding is more than simple resources distribution to the university. It at large defines the university's strategy and mission. However, not much attention and exploration have been paid to the contribution of diverse stakeholders into the university income generation via different activities performed by academia in terms of three missions of the university [Miller et al. 2014].

For this research, we define a stakeholder as any actor, institution, or organization involved in university activities on new knowledge generation and dissemination contributing to income generation. These stakeholders are government, Industry, university faculty, technology transfer, intellectual property offices, business incubators and science parks, venture capitalists. The university plays a leading role in these interactions, facilitating the flow of knowledge and promoting regional economic development [Etzkowitz et al. 2008; Miller and Acs 2017]. This is supported by empirical research primarily based on observations in both developed [Liu et al. 2018] and developing countries [Belitski et al. 2019].

This research questions what the university is as an institution concerning stakeholders who facilitate and encourage its revenues generation at different levels of engagement.

Universities can be considered a complex phenomenon due to their divergent strategic goals and the internal and external stakeholders they deal with [Bartell 2003; O'Kane et al. 2015]. However, research on universities lacks the complexity of models needed to explain the interdependent processes amongst the different stakeholders involved [Foss and Gibson 2015] and their impact on university income. This research implies a holistic approach to university concerning collaboration with stakeholders.

Contemporary research on university engagement with other actors has several drawbacks. First, there is no clear explanation of the university's stakeholders who contribute to income generation. In addition, little research exists that conceptualizes the structure, mechanisms, and links such universities build while engaging with external stakeholders [Hayter 2016] to generate additional income for academia. This research will cover the identified gap.

Using longitudinal data on 139 UK universities (2009-2016) collected by the Higher Education Statistics Agency (HESA), this study theoretically develops and empirically tests the concept of the entrepreneurial university. It demonstrates how collaboration between various stakeholders on knowledge generation and spillovers can change university income.

The article has the following structure. The next section describes the conceptual framework, stakeholders' involvement, and classification. After that we present the UK evidence and the hypothesis. We follow by discussing the data and methodology. At the end we present results, as well as provide discussion and conclusions.

The stakeholder theory approach to entrepreneurial university

The stakeholder theory could be vital in higher education while explaining the relationships between academia and various stakeholders. The business science literature was the foundation for the stakeholder concept [Freeman 1984], while the latter is traced back to "The Theory of Moral Sentiments" of Adam Smith. The modern use of the stakeholder concept in management literature originated in 1963 when Stanford Research Institute introduced the expression to augment and summarise the notion of stakeholder as the group to whom management should be responsive [Jongbloed et al. 2008].

According to Freeman [Freeman 1984], initially, the stakeholder concept was determined as "those groups without whose support the organization would cease to exist," and the definition came from Stanford Research Institute (SRI) in 1963.

Table 1
Categorization of entrepreneurial stakeholders at different levels of engagement

Nº	Categorization	Stakeholders	Authors
1	Individual-level – General stakeholders	Research-focused staff and intermediaries, such as cooperative research centers, university-corporate research centers, on-site executive education programs, industry-consulting intermediaries, research labs, students	O’Gorman et al. 2008; Gray and Boardman 2010; Siswanto et al., 2013; Nielsen, 2009; Jongbloed, 2004; Acosta et al. 2011
2	Organizational level Specialized stakeholders	Technology transfer office, centers for entrepreneurship, venture capitalist, angel investor, crowd investors, banks and financial groups, Research and Science parks, accelerators, Business incubators	Wächter et al., 2012; Jongbloed et al. 2008; Belitski & Heron 2017; Guerrero, 2016; Huyghe et al. 2016; Malairaja and Zawdie, 2008; Grimaldi and Grandi, 2005; Barbero et al., 2012; Robles, 2017; Roura, 2015
3	System-level Systemic stakeholders	Government and Industry	Jongbloed & Vossensteyn, 2001; Frølich et al., 2010; van Looy et al., 2011; Powers and McDougall, 2005

A widely used statement of who or what stakeholders are was introduced by Freeman [Freeman 1984] and is defined as "any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the firm's objectives" [Freeman 1984: 16]. According to Freeman, any business organization should consider its stakeholders' interests while making strategic decisions or choices.

The recognition of the main groups of stakeholders is not straightforward [Jongbloed et al. 2008]. In business, both customers and employees are qualified as stakeholders, while according to Winston [Winston 1999], academia is sharing an identical behavior. However, different employees and customers can have a diversified influence on organizations. Applying stakeholder framework to management may be a helpful instrument assisting organizational actors while dealing with environments [Freeman 1984]. It allows selectively perceiving, evaluating, and interpreting stakeholders' attributes. Mitchell et al. [Mitchell et al. 1997] applied Freeman's stakeholder concept and developed an approach that assists in recognizing "who or what really counts" and evaluating the extent to which managers paid attention to their stakeholders.

There are three main approaches within stakeholder theory including normative (why the interest of a particular stakeholder should be considered), instrumental (define the effect stakeholders have on the organizational per-

formance) as well as a descriptive approach (defining whether stakeholder interest is taken into consideration by a company) [Donaldson and Preston 1995; Alsos et al. 2011].

Based on Burrows [Burrows 1999], we present different stakeholders of universities on the different levels of engagement, including individual, organizational, and system. Stakeholders are divided by specific groups at different levels of engagement that are accepted as influencing the universities' behavior, policy, and actions. Table 1 includes a list of actors to which universities are supposed to pay attention at an individual, organizational and system levels of engagement. There is the fact that the degree of attention is not similar in each case.

Following Bartell [Bartell 2003], universities are highly complex organizations with various internal and external stakeholders. They might include several research centers which are generally (but not always) multi- or transdisciplinary. They operate at the individual level, represented by the university faculty and students.

Such new centers and units can be linked to the steering core and the heartland departments, including technology transfer offices, business incubators, science parks, or venture capitalists operating at the organizational (university) level. Like science parks that become autonomous, some peripheral units may have the name and sponsorship of the university but then operate much like mediating institutions

situated between the university and outside organizations. Organizational level stakeholders link academia with stakeholders operating at the system level who are not necessarily connected to or belonging to the individual university and include government and Industry. System-level stakeholders operate independently of the university and can exist within the ecosystem and impact the university operation and absorption of university results (government and Industry).

We want to point out that there is no one way, no one model to emulate. Nevertheless, the developmental peripheries have a valuable outcome: they move a university toward a dual structure of basic units in which traditional departments are supplemented by centers linked to the outside world.

Stakeholders' involvement at different levels of engagement

Relaying on stakeholder theory approach, our broad understanding and inclusion of individuals and organizations as stakeholders of entrepreneurial university build on academic entrepreneurship literature [Bradley et al. 2013] and knowledge spillover of entrepreneurship literature [Link et al. 2006; Braunerhjelm et al. 2010; Audretsch 2014; Audretsch and Belitski 2017]. Although in their essential study, Guerrero et al. [Guerrero et al. 2015] argued that entrepreneurial universities should embrace stakeholders' responsibilities and the complex relationships between them, entrepreneurial university literature still provides limited insights on the structure of the entrepreneurial university and the role of stakeholders in challenging and facilitating the entrepreneurial university income at different levels of engagement [Audretsch 2014].

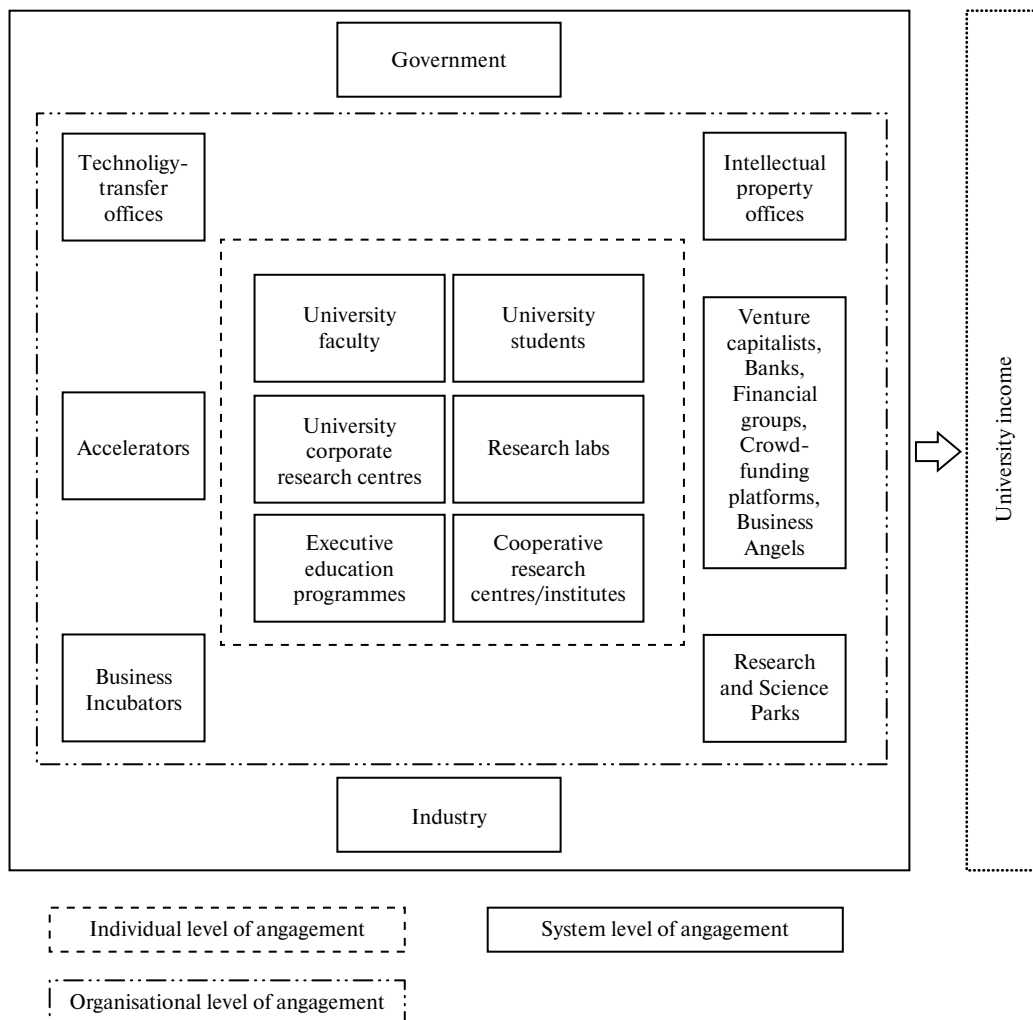
Based on this theoretical gap in the extant literature [Autio et al. 2014; Guerrero and Urbano 2012, 2014], this paper will aim to categorize and distinguish three extinct types of entrepreneurial university stakeholders at the three levels of engagement (Table 1) and identify the role they play in fostering university income.

Within three dimensions and building on Yusef [Yusef 2008] categorization aligned with

the entrepreneurial university model [Audretsch 2014], it is possible to distinguish three categories of entrepreneurial university stakeholders: (1) general (individual level): organizations and individuals that produce and spillover knowledge within the entrepreneurial university (e.g., research-focused staff and intermediaries, such as cooperative research centers, university-corporate research centers, on-site executive education programs [Gray and Boardman 2010], industry-consulting intermediaries, research labs [O'Gorman et al. 2008]; (2) specialized (organizational level): organizations and individuals that seek out new channels and forms of knowledge transfer and facilitate knowledge spillover of entrepreneurship outside the university level (e.g., technology transfer office, centers for entrepreneurship; research and science parks, incubators and accelerators). These stakeholders generate technology advances and facilitate technology diffusion through intermediaries such as technology transfer offices (TTOs). In addition, they provide support for existing companies or help jump-start new firms via incubators or science parks. These stakeholders may also raise finance (e.g., venture capitalist, angel investor, crowd investors, banks, and financial groups). The third category of stakeholders is (3) systemic stakeholders (system level): organizations that facilitate entrepreneurial incentives [Fayolle and Linan 2014] and encourage knowledge spillover of entrepreneurship within the university and into the ecosystem (government and Industry) [Link et al. 2006; Autio et al. 2014]. Former may (or not) necessarily have financial assets needed for a specialized stakeholder. Conceptually the categorization of university engagement with stakeholders at different levels is presented in Figure 1.

Research on entrepreneurial universities can benefit from applying a more holistic approach across different levels of analysis. Thus, at the individual level, university research labs and departments represented by faculty and students engage in different activities to generate third-stream income. One of the widely used pathways to collaborate with stakeholders is engagement with government and

Figure 1
Stakeholders' engagement at university by levels



Industry representing the system level of analysis. University faculty could engage with system-level stakeholders directly or via support of organizational-level stakeholders, including technology transfer offices or business incubators and science parks.

UK universities context

When it comes to the UK Higher Education System, it is historically diverse and heterogeneous [Goddard et al., 2014]. Such differ-

ences have the origin from medieval times when Oxford and Cambridge universities were established; creation of civic universities in industrial regions during Victorian times; as well as the following reforms, including the establishment of red brick universities over the inter-war time and the new universities in 1960 and the following incorporation into the university sector of the Colleges of Advanced Technology. In addition, within the UK higher education system, a divide is often

done between old universities which have been established before 1992 (typically more research focused) and new universities granted university status after 1992 as a consequence of the Further and Higher Education Act [HMSO 1992], as well as former university colleges, gained the status of the university in recent years.

New universities are more teaching-oriented as well as their third mission activities are more locally focused given their traditional orientation on vocational education and training as well as their low involvement in basic research [Charles et al. 2014; De la Torre et al. 2018].

In addition, there is also a further divide between 24 research-intensive older universities (Russel Group universities) and other older universities as well as between newer universities known as former polytechnics (these institutions offered higher diplomas and degrees in more technical subjects and were governed more at the national level) and those institutions previously known as further education colleges [McCormack et al. 2014]. Due to the heterogeneity existing within the Russel Group [Boliver 2015] and the dominance of top universities, a more fine-grained differentiation is made between the latter and the rest of the universities in the Russel Group.

Hypotheses development

Individual-level

Income generation is mostly acquired at teaching-led universities via education and teaching services [Siswanto et al. 2013]. When it comes to research-led universities, academics in such institutions are transformed to be more researchers rather than lecturers [Kasim 2011] while they become academic entrepreneurs at entrepreneurial universities [Audretsch 2014]. It is anticipated that they publish more articles and books to keep acquiring research grants as the external source of income. Furthermore, entrepreneurial universities expected their staff to act more entrepreneurially, gaining third-stream income via commercializing research results, providing consultancy services, or creating new ventures [Etzkowitz 2003]. Thus, university staff is

advised to their maximum slack of capacity to generate additional income for the university. The slack capacity can be referred to as the staff hours not utilized by faculty but paid by the university in salary [Nielsen 2009].

Students are another group of internal stakeholders of the university within the knowledge generation and transfer process, leading to the third-stream income. Students are considered other sources of funding both via paying tuition fees and contributing to the new knowledge creation through research and entrepreneurship [Jongbloed 2004]. According to Acosta et al. [Acosta et al. 2011], the total number of university students is considered as one of the vital mechanisms to explain the creation of new ventures contributing to university income generation.

Thus, university staff and students are at the initial points of knowledge and technologies development and represent the university at the individual level as stakeholders' interaction. This led us to hypothesize that:

H1: *University staff and students positively affect university income for both research- and teaching-oriented entrepreneurial universities.*

Organizational level

Commercialization (selling IP rights) is handled and allocated without delimitating internally compared to other types of income generation activities [Wächter et al. 2012]. However, the environment and conditions for the staff are essential factors in the process of knowledge cultivation and provide support for the commercialization activities without compromising core academic values. To facilitate knowledge and technologies commercialization, universities establish or develop collaboration with specific academic-based business units at the organizational level.

One of them is organizations or departments such as technology transfer and patenting offices helping universities codify new knowledge and/or technologies and transfer them to business or Industry. Starting from the end of the 80th more contract-based relationships between academia and business were adopted, and universities established intellectual or technology transfer offices. Such enti-

ties help professionally manage intellectual property rights [Jongbloed et al. 2008] mostly raised from research outcomes. TTOs act as intermediaries facilitating the expansion of outcomes of university activities arising from its labs to start-up firms and businesses [Belitski & Heron 2017]. However, there is evidence that university faculty might bypass TTO and directly explore the inventions on the market [Guerrero 2016; Huyghe et al., 2016]. They can do it, e.g., to avoid the bureaucracy from such departments to fill in all the documents and wait for the university's decision or unwilling to share the royalty with such department and university [Huyghe et al. 2016]. When the innovation or business idea has not arisen directly from the research but occurred as novation having a potential to fill the gap on the market and satisfy customers' needs, such idea can directly be explored on the market [Belitski & Heron 2016]. This led us to hypothesize that:

H2: *Technology transfer offices have no effect on university income in teaching-oriented universities, while they do positively affect university income in research-oriented universities.*

Another set of stakeholders presented at the organizational level of the university is science parks, business incubators, and venture capitalists (and business angels) who help to facilitate the spillover of new technologies or knowledge in the form of new ventures directly into the business or Industry.

When it comes to Science parks, they are defined as a business support and technology transfer initiative which ensure logistical, technological, financial, and administrative facilities additionally to providing access to customers and suppliers, human capital, and public subsidies which otherwise may not be available on the start-up level of new venture creation [Phan et al. 2005]. Science parks usually encourage and support start-ups with close interaction with knowledge creation centers and are placed in the close interface between Industry and academia [Malairaja and Zawdie 2008]. They work with both knowledge-intensive firms and start-ups arising from the business idea (e.g., start-up as an outcome of the university module).

As for the Business incubators, they were initially defined as facilities assisting earlier-stage growth of new ventures by providing different services and linking together capital, technologies, and knowledge to accelerate technologies growth and new ventures creation [Hassan 2020]. University business incubators are defined as institutions ensuring support for young business start-ups [Grimaldi and Grandi 2005; Barbero et al. 2012] via providing physical space to promote the development of university-based new ventures [Xu 2009]. Around thirty percent of business incubators are university-based [Robles 2017]. They are efficient platforms to search for cooperation and create networks to generate added values [Roura 2015].

At the initial stages of development, all the new ventures require access to funding that can be acquired from venture capitalists or business angels [Wright et al. 2006]. Together with financial capital, these stakeholders provide managerial and technical advice on running a business to academic entrepreneurs and provide access to the business networks in the area [Bock et al. 2018]. In addition, VC ads connections to Industry and markets [Vohora et al. 2004]. This led us to hypothesize that:

H3: *Science parks, business incubators, and VCs positively affect university income for both research- and teaching-oriented universities.*

System-level

Government funding is considered as one of the vital sources of finance, together with the income gained from tuition fees and other private institutions. Government funding comprises operational and research grants, and private funding might include donations, consultancy, etc., and research grants from companies [Jongbloed 2004].

In allocating financing for universities, policymakers can employ different approaches, including negotiation base, performance base, and formula-based approach [Jongbloed 2001]. This helps to ensure competition and quality among universities in the country [Jongbloed and Vossensteyn 2001]. The performance-based funding indicates that universi-

ties receive funding based on the "taximeter" system. For example, this is linked with the number of students who passed the examination, the number of degrees awarded, the number of patents or the amount of IP revenues, and the number of publications [Frølich et al. 2010]. Collaborative research officially forms the relationships between two stakeholders when it comes to research, while from the educational point of view government provides generous funding to support students and fund education degrees.

Another stakeholder presented at the system level is Industry. The close collaboration of universities with academia increases chances of IP revenues generation via applying innovations ensuing from research [van Looy et al. 2011]. Furthermore, Industry positively affects the chances of direct commercialization of university research outputs via contract research [Powers and McDougall 2005], creating an entrepreneurial culture in academia. Collaboration with Industry is benefiting for research and teaching focused universities via contracts and facilitating a culture of acquiring third stream incomes. This led us to hypothesize that:

H4: *Industry and government positively affect university income for both research- and teaching-oriented universities.*

Data and method

Sample

The sample for this research comprises 139 UK universities that have utilized knowledge through commercialization, commodification, or both channels while collaborating with stakeholders. The data have been accessed from the Higher Education Statistics Agency (HESA), which conducts the university-business collaboration survey (Higher Education Business and Community Interaction Survey (HE-BCIS)). Data is in open-access and is available at the university level. The HE-BCIS statistics have been supplemented using additional data from HESA (e.g., university establishment year, number of faculty, and students by subjects of study). HE-BCIS data also include information on the university's strategic priorities, entrepreneurial activities, and

income levels. From the total sample of universities that participated in the HE-BCI survey, we excluded those with no outcomes related to third-stream income generation.

On the data level, "entrepreneurial university" has been defined as an institution with entrepreneurial outcomes from teaching, and/or research missions, or both. Institutions that have established support structures to facilitate knowledge commercialization and spillovers have been considered. From the teaching perspective, we considered entrepreneurial outcomes of a university, such as a start-up creation (both staff and graduate). We considered such entrepreneurial outcomes as income generated from contract research, IP revenues, and spin-offs creation from the research perspective. We also considered consultancy and training activities as the main factor in disseminating new knowledge (entrepreneurial mission) from both teaching and research activities.

Furthermore, such results should be supported by the established internal system, either for gaining additional income from the research dimension (mostly TTOs or licensing offices) or the teaching dimension (mostly business incubators or science parks), or both. Following Henrekson and Rosenberg [Henrekson and Rosenberg 2001], the existence of the mentioned structures is considered to be one of the key aspects for the emergence of university-based entrepreneurship and, consequently, a third-stream income.

For example, if University A has a third-stream income from performing its teaching mission (e.g., start-ups) but has not achieved them from utilizing research outcomes (e.g., spin-offs or revenues from selling IP), University A is still in the sample. A university has been excluded from the evaluation of this research if there is no evidence of getting third-stream income from any of the missions. Following this procedure, from the total sample of UK higher education establishments, 29 universities have been excluded as not following the requirements for the covered period. Details of all the universities included in the sample are presented in Table A1 in Appendix.

Variables

Dependent variable

According to Etzkowitz et al. [Etzkowitz 2000], entrepreneurial universities engage with the third mission to facilitate national or regional economic performance and to boost academia's financial position. For this study, we thus consider university income as a dependent variable to measure how all three university missions (or teaching, research, and entrepreneurship) contribute to it.

In return for fulfilling their research mission and having a responsibility to society [Neave 2000], universities receive funding from the government. Government funding constitutes a significant proportion of university income, particularly in research-oriented institutions. Contributing to social-economic development and the search for the commercialization of knowledge, universities engage with Industry (e.g., contract research, training, consultancy) to fulfill their entrepreneurial mission [D'Este and Perkmann 2011]. In pursuit of an entrepreneurial mission, universities engage with Industry via Intellectual Patent Offices (IPOs) and TTOs. It allows universities to obtain additional income by selling intellectual property rights (IPRs). The commercialization of knowledge may also include establishing new ventures from teaching (start-ups) and research (spin-offs) missions. Universities often hold shares in new ventures, contributing to their additional income [Audretsch et al. 2016]. Altogether, the activities mentioned above contribute to university income generation.

Independent variables

Independent variables have been grouped based on the outcomes and types of collaboration with different stakeholders at three levels of engagement.

System-level of engagement (systemic stakeholders – Government and Industry).

Within the model, the government has been represented by the total value of collaborative research contracts per university staff or the total funding that the government (both the UK and EU) provides to universities for conducting research [Bramwell and Wolfe 2008; Guerrero et al. 2015]. The Industry as a stake-

holder has been represented by the total value of consultancy per staff and the value of contract research per staff. Both indicators are considered as outcomes of the third-stream activities [Sengupta and Ray 2017] additionally to the training courses universities provide to businesses [Hewitt-Dundas 2012] (e.g., bespoke courses at business premises and CPD – courses for professional development). These two stakeholders function independently of the university within the region or country and constitute a system level of engagement.

Individual-level of engagement (general stakeholders – university students and staff).

Stakeholders at the individual level of engagement are represented by the total number of research staff, teaching staff, and research and teaching staff, following the UK standards of university academic staff employees [Belitski and Heron 2016; Acosta et al. 2011]. Doctoral students and those studying other higher degrees have been included as well [Hayter et al. 2018]. Furthermore, the share of undergraduates and postgraduates in STEM, biology, medicine and physics, business, and administrative courses have been considered together with the university employment indicators per 1,000 students [Jongbloed et al. 2008; Pavone 2019]. This group of stakeholders is represented at the individual level of university engagement with other actors.

Organisational level of engagement (specialized stakeholders – TTO, Business incubators, Science parks, Venture capitalists, Business angels).

Technology transfer services from TTO can be organized both internal and/or external to the university [Siegel et al. 2003] together with the patenting offices, who as a stakeholder represented by the number of patents granted (per staff member) [Hewitt-Dundas 2012; Guerrero et al. 2015]. These two stakeholders have been considered operating at the organizational level of the university as an institution.

Additionally to TTO and IPO, venture capitalists and/or business angels as stakeholders are operating at the organizational level. These stakeholders are represented by the total value of investment university new ventures receive

(spin-offs and staff and graduate start-ups). Whether internally or through outsourcing, the collaboration between universities and science parks, and business incubators have been measured by whether universities provide or receive services from these stakeholders [Kalahari et al. 2019]. VCs, science parks, and business incubators also operate at the organizational level of the university.

A number of new companies created to explore university inventions also contribute to the university income, including via shareholding [Markman et al. 2009]. However, this measure does not capture the number of new ventures created by students, while at the majority of universities, more start-ups than spin-offs have been created being supplemented by programs and classes [Siegel and Wright 2015]. In addition, Astebro et al. [Astebro et al. 2012] pointed out that there is a lack of studies evaluating student-led start-ups' impact on university outcomes. It is essential to use these metrics within the elite and other university types, e.g., teaching, which has more education-related third-stream activities than research-related [Wright et al. 2017].

Table A2 (Appendix A) provides descriptive statistics for all variables used in our estimation for the overall sample of 139 UK universities and descriptive statistics for each subgroup of entrepreneurial universities: the Russel Group, polytechnics, and teaching-led universities. Means and standard deviations across the four samples allow us to compare the university-level characteristics for each group in the population.

To measure the reliability of stakeholders' groupings Cronbach alpha approach has been applied, popular in social science research [Wooldridge 2012]. We created three distinct types of stakeholders based on our three core subgroups or sublevels of engagement (individual, organizational and system stakeholders). Cronbach's alpha is a measure of scale reliability and might be written as a function of the number of tested items and the average inter-correlation among them [Wooldridge 2012]. All new constructs have Cronbach alpha greater than 0.70, the reliability threshold for this analysis [Cronbach 1951].

Control variables

As factors impacting university income, control variables have been included concerning the entrepreneurial university and its social responsibilities within the UK context [Guerrero et al. 2015; Marzocchi et al. 2019]. These variables considered university-specific features regardless of the type of engaged stakeholder and were included in the model with a one-year lag to reinforce a causality.

The following variables have been considered as controls: a strategic plan to engage with business, incentives for faculty for engaging with business, income from renting university facilities, top five universities. University age has been included controlling for university maturity.

Following Etzkowitz [Etzkowitz 2003], universities can utilize and rent their facilities and equipment to businesses, generating third-stream income, and thus contributing to university revenues. University-level characteristics for each sub-group in the population can be compared through means and standard deviations [Wooldridge 2010].

All the data have been checked for outliers. Figures 1-4 (Appendix B) present plots with the residuals of the regressions. The results of the images are constant as we move from the left to right in the figures meaning that the variances of the residuals are constant, and the dataset appears to have no evidence of heteroscedasticity. In addition, we present the results of the Breusch-Pagan test to validate our results (presented under each Figure, Appendix B). We have clear evidence to accept that there is no heteroscedasticity in our data.

Method

Pooled Ordinary Least Squares (OLS) estimation has been applied to test the hypotheses considering university and time fixed effects.

The following equation was estimated:

$$y_{it} = f(\beta x_{it}, \theta z_{it}, \alpha, \lambda, \mu_{it}) \quad i=1, \dots, N; t=1, \dots, T \quad (1)$$

Where y_{it} is the university income of a university i at time t . β and θ are parameters to be estimated, x_{it} is a vector of independent explanatory variables lagged one year (stakeholders at three levels of engagement), z_{it} is a vector of exogenous control variables lagged one year;

α indicates time fixed effects to capture potential changes over time for all the universities in the sample; and λ captures university fixed effects to evaluate the potential changes within each university over time (e.g., university-specific characteristics such as culture, traditions, informal institutions, etc.).

In addition to the Pooled OLS basic estimation, we estimate (2) adding interactions between stakeholders (φ_{it}):

$$y_{it} = f(\beta x_{it}, \psi \varphi_{it}, \Theta z_{it}, \alpha, \lambda, \mu_{it}) \quad i=1, \dots, N; t=1, \dots, T \quad (2)$$

Where y_{it} is the university income of a university i at time t . β , and Θ are parameters to be estimated, x_{it} is a vector of independent explanatory variables lagged one year (four groups of stakeholders), z_{it} is a vector of exogenous control variables lagged one year; φ_{it} is a vector of interactions between stakeholders lagged one year. Interaction effects were applied to check if the effect of one variable depends on the value of another variable (Bell and Jones, 2015).

This research has performed an estimation of the overall sample of 139 universities for seven years within 2010–2016, including all independent and control variables with the lag of one year. Model (1) has been estimated for three samples of entrepreneurial universities subgroups following UK higher education system. For incorporating the non-linear relationships between dependent and independent variables, logarithmic transformations of some variables have been used. For addressing any concerns with multicollinearity, a variance inflation factor (VIF) has been used, which is always less than 5 for each variable (Wooldridge, 2010).

Results

We start by reporting the results of Table 2, which illustrates the role of stakeholders in university income. The results are grouped by university type and include four different models of university collaboration with stakeholders.

Table 2
Results of OLS regression: Dependent variable University income

University type	Entrepreneurial university	Teaching Universities	Russel group Universities	Polytech Universities
Specification	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>System level</i>				
UK government funding	0.014*** (0.01)	0.020*** (0.01)	0.022*** (0.01)	0.003 (0.01)
Consultancy and CPD	0.107*** (0.01)	0.125*** (0.01)	0.103*** (0.02)	0.090*** (0.02)
Contract research	-0.010 (0.01)	-0.042*** (0.01)	0.049** (0.02)	0.013 (0.01)
<i>Organisational level</i>				
External Science Park	0.060** (0.03)	-0.001 (0.03)	0.052* (0.03)	0.001 (0.03)
University Science Park	0.078*** (0.03)	0.036 (0.04)	-0.011 (0.03)	-0.005 (0.04)
University Business incubator	-0.014 (0.02)	0.045 (0.03)	0.117*** (0.03)	-0.066** (0.03)
External Business incubator	0.072 (0.05)	0.179** (0.07)	0.216*** (0.05)	0.136 (0.09)
University spin-offs	-0.010 (0.02)	-0.022 (0.02)	0.007 (0.01)	0.063*** (0.02)
Graduate start-ups	0.016** (0.01)	0.010 (0.01)	-0.003 (0.01)	0.019** (0.01)
Staff start-ups	0.013 (0.02)	0.064** (0.03)	0.006 (0.02)	0.010 (0.02)
Patents granted	-51.87*** (8.82)	-35.14*** (9.13)	-35.38 (28.2)	10.66 (14.73)
IP revenues	0.054*** (0.01)	0.063*** (0.01)	-0.003 (0.01)	0.009* (0.01)
TTO exist at university	0.066* (0.03)	0.134*** (0.04)	-0.026 (0.02)	0.113** (0.05)
TTO and other organisations	0.072** (0.03)	0.044 (0.04)	0.043 (0.04)	0.117** (0.05)
Investment in spin-offs	-0.005 (0.00)	-0.009 (0.01)	0.003 (0.00)	0.002 (0.00)
Investment in staff start-ups	0.004 (0.01)	0.003 (0.01)	0.001 (0.00)	-0.005 (0.01)
Investment in graduate start-ups	-0.002 (0.00)	-0.014** (0.01)	0.002 (0.00)	-0.001 (0.00)

<i>Individual level</i>				
Doctoral students	0.161*** (0.02)	0.146*** (0.02)	0.391*** (0.05)	0.070*** (0.02)
Teaching capital	0.011* (0.01)	0.020*** (0.01)	-0.023* (0.01)	0.011* (0.01)
Research capital	0.107*** (0.01)	0.142*** (0.01)	0.0595* (0.03)	0.044** (0.02)
Teaching and research capital	0.026*** (0.01)	0.020* (0.01)	0.025** (0.01)	0.007 (0.01)
STEM UG	0.349 (0.24)	0.599** (0.27)	0.858 (0.56)	0.157 (0.48)
STEM PG	-0.873*** (0.28)	-0.976*** (0.28)	0.41 (0.79)	0.609 (0.92)
Biology PG	0.770*** (0.19)	1.684*** (0.32)	-0.169 (0.46)	-0.39 (0.93)
Biology UG	-0.338* (0.19)	-1.140*** (0.22)	-0.349 (0.33)	1.452*** (0.48)
Business PG	-0.015 (0.18)	0.160 (0.21)	0.283 (0.54)	0.402 (0.58)
Business UG	-0.773*** (0.23)	-1.194*** (0.28)	-0.621 (0.62)	0.449 (0.36)
Other degree	0.141*** (0.02)	0.060*** (0.02)	0.154*** (0.05)	0.250*** (0.03)
Employment rate	-0.006 (0.02)	-0.047* (0.03)	-0.001 (0.06)	-0.066 (0.06)
<i>Control variables</i>				
Income from infrastructure	0.014*** (0.00)	0.020*** (0.01)	-0.014** (0.01)	0.004 (0.01)
Business engagement	-0.010 (0.01)	-0.072*** (0.02)	0.005 (0.01)	-0.029** (0.01)
Incentives for business engagement	-0.032** (0.01)	0.065*** (0.02)	-0.042*** (0.01)	0.030** (0.02)
Regional strategy	-0.047** (0.02)	-0.014 (0.03)	-0.007 (0.02)	-0.000 (0.02)
University established year	-0.001*** (0.00)	0.001*** (0.00)	-0.001*** (0.00)	-0.001*** (0.00)
University fixed effects	yes	yes	yes	yes
Time fixed effects	yes	yes	yes	yes
Constant	9.103*** (0.22)	8.182*** (0.32)	8.290*** (0.47)	11.12*** (0.52)
Number of obs.	953	567	168	210
R2	0.916	0.904	0.972	0.846
RMSE	0.275	0.247	0.088	0.119
F stat	230.830	107.4105	108.1121	22.598
loglikelihood	-99.337	9.777	193.100	171.178
resid DOF	888	464	126	168

Source: Higher Education Business and Community Interaction Survey, Higher Education Statistic Agency.
Standard errors are in parenthesis.

Concerning the conceptual model of an entrepreneurial university, all the groups of stakeholders have contributed to the university's income. We report the main findings in this section and discuss them in the next section.

Government and Industry are significant and positively contribute to the university's income generation (column 1, Table 2).

The government's contribution to the university's income is positive and statistically significant in funding. In particular, a 1% increase of Other UK Government department funding would increase university income by 0.014% ($\beta=0.014$, $p<0.001$). When it comes to academia's collaboration with Industry, an increase in revenues from consultancy and

training would lead to an increase in university income by 0.107% ($\beta=0.107$, $p<0.001$).

Human capital has positive effects on a university's income generation. In terms of faculty, growth of human capital represented by teaching staff by 1% would increase the university income by 0.011% ($\beta=0.011$; $p<0.05$), represented by research staff – by 0.107% ($\beta=0.107$, $p<0.001$), while the rise by 1% of staff represented by teaching and research focus together would increase university income by 0.027% ($\beta=0.027$, $p<0.001$).

An increase in the number of doctoral students by 1% would lead to the growth in university revenues by 0.161% ($\beta=0.161$, $p<0.001$), in other highly qualified students – by 0.141%

($\beta=0.141$, $p<0.001$). An increase in the number of postgraduate students in biology, physics, and medicine by 1% would enlarge university income by 0.770% ($\beta=0.770$, $p<0.001$). Interestingly, an increase in the number of biology, physics and medicine undergraduates by 1% decreases university income by 0.338% ($\beta=-0.338$, $p<0.05$), in STEM postgraduates – by 0.873% ($\beta=-0.873$, $p<0.01$), in business undergraduates – by 0.773% ($\beta=-0.773$, $p<0.001$).

TTO existence at the university impact the rise in university revenues by 0.066% ($\beta=0.066$, $p<0.05$), while the collaborative work with TTO and external agencies would lead to the rise in revenues by 0.072% (e.g., IPO) ($\beta=0.072$, $p<0.05$). An increase in IP revenues by 1% enlarges university income by 0.055% ($\beta=0.055$, $p<0.001$).

In case the university has science parks belonging to academia, it increases university income by 0.079% ($\beta=0.079$, $p<0.001$), and collaboration of university with external science parks increase university income by 0.061% ($\beta=0.061$, $p<0.01$). Growth in the number of graduate start-ups by 1% further increases university income by 0.017% ($\beta=0.017$, $p<0.001$).

Regarding other control variables, a rise in the facility and equipment-related services by 1% increase university income by 0.015% ($\beta=0.015$, $p<0.001$). Interestingly, if the university is oriented towards the region, that might diminish university revenues by 0.047% ($\beta=-0.047$, $p<0.01$).

As one could predict, younger universities have lower university incomes ($\beta=-0.001$, $p<0.001$).

Interaction effects

Interaction analysis was used to demonstrate how interactions between seven groups of stakeholders (science parks and business incubators; government; Industry; TTO; VC; and two types of human capital: university faculty and university students) affect university income. These seven groups of stakeholders were created from the aggregated four sub-groups using the Cronbach alpha approach to build the constructs. For the overall sample (or 139 Entrepreneurial Universities) (column 1,

Table 3), the combination of government and Industry ($\beta=0.146$, $p<0.001$) has a strong positive effect on university income and have the potential to increase university revenues by 0.146%. We also found that the combination of industry and human capital (students) would lead to an increase in university income by 0.236% ($\beta=0.236$, $p<0.001$). The combination of venture capitalists and human capital (students) also increases university income by 0.101% ($\beta=0.101$, $p<0.05$). A combination of government and human capital (students) might lead to a decrease in university income by 0.372% ($\beta=-0.372$, $p<0.001$). A combination of TTO and university human capital reduces university income by 0.099% ($\beta=-0.099$, $p<0.001$).

Russel Group University

Concerning the Russel Group universities (research-oriented universities) (column 3, Table 2), their model of collaboration with stakeholders has similarities with the general model of entrepreneurial universities (column 1, Table 2). However, the coefficients for the *technology transfer and intellectual property offices as stakeholders* were insignificant. For example, having TTOs on campus did not show any effects explained by the nature of the data. For the 24 Russel Group universities, there is no variation in the data on having TTOs on campus, as all of them have established TTOs supported initially by the government. The interactions between IPOs and TTOs were positive.

Government and Industry both have significant and positive effects on university income. Thus, an increase in research funding from Other UK Government departments by 1% led to a rise in university revenues by 0.022% ($\beta=0.022$, $p<0.001$). An increase of consultancy and training provided to the Industry by 1% would lead to the growth of university revenues by 0.103% ($\beta=0.103$, $p<0.001$), while the growth of contract research academia performing with Industry by 1% positively affects university income by 0.049% ($\beta=0.049$, $p<0.01$).

When it comes to Russel Group universities, human capital engaged in the research activities positively contributes to university income

generation. Thus, an increase in university research only capital by 1% would enlarge university income by 0.060% ($\beta=0.060$, $p<0.05$); university research and teaching capital – by 0.026% ($\beta=0.026$, $p<0.01$). However, the growth in the number of teaching capital only by 1% could lead to the fall in university revenues by 0.024% ($\beta=-0.024$, $p<0.05$).

When it comes to students, growth in the number of doctoral students by 1% will increase university income by 0.391% ($\beta=0.391$, $p<0.001$). In addition, a rise in the number of students studying on other high degrees by 1% lead to the growth in university income by 0.154% ($\beta=0.154$, $p<0.001$).

Having business incubators on campus ($\beta=0.117$, $p<0.001$) and collaborating with external business incubators ($\beta=0.216$, $p<0.001$) increase university income by 0.117% and 0.216%, respectively. Furthermore, collaboration with external science parks increases university income by 0.052% ($\beta=0.052$, $p<0.05$).

Concerning the control variables, an increase in facilities and equipment-related services could reduce university income by 0.015% ($\beta=-0.015$, $p<0.001$). We also controlled for the Top 5 universities (Oxford University, Cambridge University, Manchester University, Imperial College London, and University College London), which are part of the Russel Group, and our results demonstrated that these five universities have higher incomes than the rest of the group approximately by 0.170% ($\beta=0.170$, $p<0.001$).

As for the research-oriented universities (the Russel group), our hypotheses H1, H2, and H4 were thus fully supported as all the stakeholders represented contribute to university income. However, as mentioned earlier, we could not distinguish differences in income due to the presence of TTOs and patenting offices (H3), as all Russel group universities have established TTOs and use patenting offices. This is a limitation related to the measurement of TTOs due to the nature of the data.

Interaction effects

Table 3, column 3 illustrates the results of interactions between stakeholders for the Russel group universities and their effect on

university income. We find a positive and significant effect of a combination of science parks, business incubators, and TTOs on university income ($\beta=0.293$, $p<0.01$). This demonstrates that the TTOs at Russel Group universities facilitate science park activities as a conduit for university income. A combination of TTOs and venture capitalists ($\beta=0.135$, $p<0.01$) as well as human capital teaching (students), research capital (faculty), and VC ($\beta=0.182$, $p<0.01$) increase university income by 0.135% and 0.182%, respectively. The significant negative associations were related to combinations of government and TTO ($\beta=-0.266$, $p<0.01$) as well as TTO and human capital (students) ($\beta=-0.232$, $p<0.01$), decreasing university income by 0.266% and 0.232% accordingly.

Polytechnic Universities

Considering the Polytechnic universities in general, all the stakeholder types contribute to the university income generation except patenting offices (column 4, Table 2).

Concerning collaboration with Industry, consultancy and professional development courses enlarge university income by 0.090% ($\beta=0.090$, $p<0.001$).

Growth in the number of teaching – ($\beta=0.011$, $p<0.05$) and research-oriented ($\beta=0.044$, $p<0.01$) faculty by 1% increases university income generation by 0.011% and 0.044% respectively. When it comes to students, a rise in the number of doctoral students ($\beta=0.071$, $p<0.001$) and those with other postgraduate degrees ($\beta=0.250$, $p<0.001$) by 1% positively contribute to university income by 0.071% and 0.250% accordingly. In addition, a rise in the number of undergraduates in biology, physics, and medicine by 1% increases university revenues by 1.452% ($\beta=1.452$, $p<0.001$).

Having TTOs at university ($\beta=0.113$, $p<0.01$) and engaging with external TTOs ($\beta=0.117$, $p<0.01$) positively affect university income generation by 0.113% and 0.117%, respectively.

Interestingly that having business incubators at the university could negatively affect university income generation at Polytechnics

Table 3
Regression results including interaction effects model

University type	Entrepreneurial university – full sample	Teaching Universities	Russel group Universities	Polytech Universities
Specification	(1)	(2)	(3)	(4)
Science Parks and Business Incubators	0.121*** (0.04)	0.067 (0.05)	-0.034 (0.24)	-0.005 (0.07)
Government	0.150*** (0.03)	0.166*** (0.04)	0.384* (0.22)	0.169*** (0.05)
Science Parks and Business Incubators x Government	0.059 (0.05)	0.029 (0.08)	-0.058 (0.10)	-0.143* (0.07)
Industry	0.732*** (0.04)	0.563*** (0.07)	0.907** (0.41)	0.266** (0.11)
Science Parks and Business Incubators x Industry	-0.077 (0.07)	-0.158 (0.10)	0.243 (0.28)	0.007 (0.20)
TTO	0.001 (0.02)	0.060* (0.03)	0.190 (0.15)	-0.112** (0.05)
Science Parks and Business Incubators x TTO	0.025 (0.04)	0.179** (0.07)	0.293*** (0.10)	-0.060 (0.05)
Human capital: university faculty	0.449*** (0.04)	0.458*** (0.06)	0.777** (0.36)	0.056 (0.09)
Science Parks and Business Incubators x Human capital: university faculty	-0.114 (0.08)	-0.297*** (0.11)	-0.141 (0.16)	0.058 (0.10)
VC	-0.022 (0.04)	0.001 (0.05)	-0.030 (0.13)	0.153* (0.08)
Science Parks and Business Incubators x VC	-0.031 (0.04)	-0.075 (0.07)	-0.053 (0.04)	-0.035 (0.05)
Human capital: university students	0.154*** (0.03)	0.102** (0.05)	0.062 (0.31)	0.467*** (0.12)
Science Parks and Business Incubators x Human capital: university students	-0.027 (0.07)	0.196* (0.10)	-0.048 (0.13)	-0.096 (0.12)
Patenting office	-51.07*** (12.35)	-35.28** (17.19)	-136.8 (201.17)	-108.800** (43.91)
Science Parks and Business Incubators x Patenting office	-9.234 (21.73)	-10.51 (27.76)	-194.3* (98.73)	131.7** (51.53)
Government x Industry	0.146*** (0.05)	0.140** (0.06)	0.291 (0.25)	0.011 (0.11)
Government x TTO	0.018 (0.03)	-0.022 (0.05)	-0.266*** (0.08)	0.029 (0.05)
Government x Human capital: university faculty	0.035 (0.05)	0.061 (0.06)	-0.122 (0.18)	-0.186* (0.10)
Government x VC	-0.015 (0.04)	0.046 (0.07)	0.078 (0.05)	0.017 (0.08)
Government x Human capital: university students	-0.372*** (0.06)	-0.346*** (0.08)	-0.147 (0.14)	-0.0150 (0.10)
Government x Patenting office	-24.07 (20.32)	-3.208 (27.12)	-177.500* (98.57)	-102.900** (43.55)
Industry x TTO	0.071 (0.05)	0.063 (0.07)	0.052 (0.17)	0.275** (0.13)
Industry x Human capital: university faculty	-0.009 (0.05)	-0.098 (0.07)	-0.881** (0.38)	0.178 (0.25)
Industry x VC	0.065 (0.07)	0.118 (0.10)	-0.416*** (0.15)	-0.383* (0.20)
Industry x Human capital: university students	0.236*** (0.07)	0.168* (0.09)	0.049 (0.28)	-0.046 (0.26)
Industry x Patenting office	-87.68*** (33.61)	-34.25 (44.23)	41.48 (230.90)	226.900* (117.60)
TTO x Human capital: university faculty	-0.099** (0.04)	0.002 (0.06)	0.032 (0.13)	-0.147** (0.07)
TTO x VC	0.007 (0.03)	-0.055 (0.06)	0.135*** (0.05)	0.062 (0.04)
TTO x Human capital: university students	-0.074 (0.05)	-0.153** (0.07)	-0.232*** (0.07)	0.040 (0.08)
TTO x Patenting office	7.571 (15.90)	-9.494 (22.11)	22.80 58.27	62.87* (35.13)
Human capital: university faculty x VC	0.030 (0.06)	0.059 (0.10)	0.182** (0.08)	-0.008 (0.12)

Human capital: university faculty x Human capital: university students	-0.030 (0.07)	-0.060 (0.09)	0.166 (0.23)	0.205 (0.15)
Human capital: university faculty x Patenting office	11.290 (33.20)	21.460 (42.73)	252.700 (160.37)	-0.134 (73.86)
VC x Human capital: university students	0.101* (0.05)	0.0217 (0.09)	0.024 (0.08)	0.230** (0.11)
VC x Patenting office	-39.700* (20.98)	-23.660 (27.38)	160.700** (73.77)	-2.602 (53.45)
University established year	-0.001* (0.00)	0.001** (0.00)	-0.001** (0.00)	-0.001*** (0.00)
Top 5 universities members of Russel group	0.411*** (0.08)		0.569*** (0.08)	
University fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Time fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes
Constant	11.97*** (0.21)	10.67*** (0.38)	11.94*** (0.35)	14.37*** (0.46)
N	992	593	168	210
R2	.88	.82	.91	.67
RMSE	.33714	.37	.15	.17
F stat	167.27	59.67	33.11	8.42
Loglikelihood	-306.55	-232.19	103.71	93.81

Source: Higher Education Business and Community Interaction Survey, Higher Education Statistic Agency

Note: Significance *.05%, **.01%, ***0.001% do not include zero; Standard errors are in parenthesis

by 0.067% ($\beta = -0.067$, $p < 0.01$), while the creation of university spin-offs ($\beta = 0.063$, $p < 0.001$) and graduate start-ups ($\beta = 0.019$, $p < 0.01$) positively contribute to income generation by 0.063% and 0.019%.

Concerning the control variables included in the model (1), incentives for staff to engage with business can affect university income generation positively by 0.031% ($\beta = 0.031$, $p < 0.01$), while having strategic plans to engage with business is negatively associated with income generation ($\beta = -0.030$, $p < 0.01$).

We conclude that our hypotheses H1, H2, and H4 were supported for Polytechnic universities. TTOs positively affected income generation (column 4, Table 3). Our H3, which argued that TTOs and patenting agencies do not affect university income in teaching-oriented universities, is thus not supported. TTOs at Polytechnic universities increase university income.

Interaction effects

Interaction analysis for Polytechnic universities is illustrated in column 4 (Table 3). A combination of stakeholders – Industry and TTOs – increases university income by 0.275% ($\beta = 0.275$, $p < 0.01$), as does a combination of VC and human capital by 0.230% (students)

($\beta = 0.230$, $p < 0.01$). This demonstrates that in Polytechnic universities, students may raise VC funds. There is also a significant negative association between science parks, business incubators, and government ($\beta = -0.143$, $p < 0.05$); government and human capital (faculty) ($\beta = -0.186$, $p < 0.05$); and TTOs and human capital (faculty) ($\beta = -0.147$, $p < 0.05$).

Teaching-led Universities

The concept of knowledge transfers at teaching-led universities, or universities not included in any of the previously mentioned groups, is illustrated in column 2, Table 3.

First, an increase in government funding by 1% positively affects university income generation by 0.020% ($\beta = 0.020$, $p < 0.001$). As for the collaboration with Industry, an increase in consultancy by 1% rise university revenues by 0.125% ($\beta = 0.125$, $p < 0.001$), however, an increase in contract research by 1% could affect the income generation negatively at the university by 0.042% ($\beta = -0.042$, $p < 0.001$).

From the faculty perspective, rise in the number of research ($\beta = 0.142$, $p < 0.001$) and a mix of research and teaching capital ($\beta = 0.020$, $p < 0.05$) by 1% increases university income by 0.142% and 0.020% respectively (column 2, Table 3).

An increase in the number of doctoral students ($\beta=0.146$, $p<0.001$) and other degree-holding students ($\beta=0.060$, $p<0.001$) as well as biology, physics and medicine postgraduates ($\beta=1.684$, $p<0.001$) each by 1% would lead to the growth of university income by 0.146%, 0.060% and 1.684% accordingly. Meanwhile, rise in the number of STEM postgraduates ($\beta=-0.975$, $p<0.001$) as well as biology, physics and medicine undergraduate ($\beta=-1.140$, $p<0.001$) and business and administrative studies undergraduate students ($\beta=-1.194$, $p<0.001$) negatively affect university income by 0.975%, 1.140%, and 1.194% respectively.

At the organizational level, having TTOs at universities would lead to an increase in university income by 0.134% ($\beta=0.134$, $p<0.001$), growth in IP revenues by 1% would increase university income by 0.063 ($\beta=0.063$, $p<0.001$). At the same time, collaboration with patenting offices could be damaging for generating university income for teaching universities ($\beta=-35.14$, $p<0.001$).

Collaboration with external business incubators increases university income by 0.179% ($\beta=0.179$, $p<0.05$) while on- and off-campus science parks, as well as off-campus business incubators, seem do not affect university income (Table 3, column 2). Staff start-ups created at the university ($\beta=0.064$, $p<0.01$) are drivers of university income and an increase in 1% of staff start-ups created can increase university income by 0.064%.

Among the control variables, utilization of equipment-related services increases university income by 0.020% ($\beta=0.020$, $p<0.001$), while incentives for staff to engage with business increase university income by 0.065% ($\beta=0.065$, $p<0.01$). Across all specifications, university age (establishment year) is negatively associated with income, meaning that earlier established universities have a higher income than those established earlier.

For the other teaching-oriented universities, all stakeholders contribute to income generation, supporting our hypotheses H1, H2, and H4. Our H3 is not supported as the presence of a TTO at a university increases university income in both teaching-led and research-led universities.

Interaction analysis for the rest of the teaching universities is illustrated in Table 3, column 2. The following combinations of stakeholders are positive and significant for university income: science parks/business incubators and TTO ($\beta=0.179$, $p<0.01$); science parks/business incubators and university faculty ($\beta=0.196$, $p<0.05$); government and industry ($\beta=0.140$, $p<0.01$) and industry and university faculty ($\beta=0.168$, $p<0.05$). There was a negative association between science parks/business incubators and human capital (faculty) ($\beta=-0.297$, $p<0.01$); government support and human capital (students) ($\beta=-0.346$, $p<0.001$); and TTOs and human capital (students) ($\beta=-0.153$, $p<0.01$).

Discussion

Via analyzing the impact of stakeholders, this paper analyzed the effect of stakeholders at different levels of engagement on university income.

For the general concept of the entrepreneurial university, all the stakeholders initially considered thus represent or shape the university revenues.

Both government and Industry contribute to university income. The government's provision of financial resources is one of the critical elements of entrepreneurship [Fini et al. 2011]. The positive influence of Industry is explained by their financial support [Klepper 2007] and their facilitation and exchange of ideas and information [Deeds et al. 1997]. In addition, the Industry boosts patenting activity and IP generation by providing access to relevant resources and competencies [Kortum and Lerner 2001].

Faculty, holding different roles (engaging purely in teaching or research, or a combination of both) contribute positively to entrepreneurial university income. In addition, postgraduate students also increase university income [Meoli and Vismara 2016].

At the organizational level, both IPO and TTOs increase university income. This has been found in the previous literature [Siegel and Waldman 2019; Siegel 2018].

Other stakeholders at the organizational level, such as science parks, business incuba-

tors, and venture capitalists, positively contribute to university income. For example, according to Marzocchi et al. [Marzocchi et al. 2019], their influence is shown through achieving the entrepreneurial mission, including using knowledge through creating new companies. In addition, the venture capitalist funding available at science parks and business incubators is one of the most vital instruments needed to promote the creation of new ventures [M'Chirgui et al. 2018; Florida et al. 2020].

One common conceptual problem is to ignore the realities of the entrepreneurial process. For instance, many public venture capital initiatives are abandoned after a few years: the programs' designers should consider that these initiatives take many years to bear fruit.

Others have added requirements—such as the stipulation that portfolio companies focus only on explicitly "precommercial" research—that, while seemingly reasonable from a public policy perspective, run counter to the entrepreneurial process. In other cases, reasonable programs have been created that are too tiny to have any impact or so large that they swamp existing funds.

A second common conceptual problem is to ignore the market's dictates. Far too often, government officials have sought to encourage funding in industries or geographic regions with a lack of private interest. Whether driven by political considerations or hubris, these efforts have wasted resources. Effective programs address this problem by demanding credible private sector players provide matching funds.

Concerning the Russel Group universities, the concept of university collaboration is mainly similar to that of the general entrepreneurial university model. However, there are several differences.

The first contradiction is thus related to the adverse effects of a teaching-oriented faculty on the outcomes for Russel Group universities. According to Somers et al. [Somers et al. 2018], one of the challenges facing entrepreneurial universities is related to a lack of resources that focus on teaching orientation. However, much more is expected from the fac-

ulty being more diverse and multidirectional, as they will be able to perform different activities simultaneously (teaching, research, entrepreneurship, engaging with society, etc.) [Mccowan 2017].

In the Russel Group universities, we see significant positive complementarities between TTOs and science parks, business incubators, venture capitalists. This might show a strong connection between the research and entrepreneurship missions of universities in this subgroup. In this context, spin-off companies are a crucial part of the university's entrepreneurial mission. They include the development of business activity based on the technology which emerged from the academic engagement [Markman et al. 2008]. In this way, they represent an entrepreneurial output directly connected to the university's capacity to transfer research benefits to society [Rasmussen et al. 2011].

Turning to the polytechnic universities, collaborations with businesses work better only through consultancies and training with Industry, while the complementarities between knowledge Government and business incubators are antagonistic. We believe that the negative sign of this combination is impacted by the negative effect of the business incubators separately. These findings support the results of Kolympiris and Klein [Kolympiris and Klein 2016]. They identified that business incubators seem to diminish the quality of scientific and technical innovation, while average licensing revenues reduce the income generated by the university's innovative activities (related to the university's research mission). However, business incubators also positively affect university income by creating new companies (university entrepreneurship mission) [Marzocchi et al. 2019].

Looking at teaching-led universities, knowledge providers – or human capital – are significant, following the traditional human capital view [Sideri and Panagopoulos 2018; Pavone 2019]. For this university type, collaboration with Industry based on the contract research has a negative effect. This shows that the research at this university type might not have a commercial focus.

Regarding the government and Industry, they are a significant factor for these universities when stakeholders complement the collaboration from the organizational level. At the same time, TTOs, science parks, and business incubators positively contribute to the outcome, both separately and by complementing each other. There are negative associations between government and university students and university students and TTOs. Above, we have described the potential reasons the direction of the connection would have negative associations. These include the bureaucracy and/or an aggressive policy on intellectual rights from the TTO side [Siegel et al. 2003; Huyghe et al. 2016], and issues of IP sharing with the university from the students' perspective [Bradley et al. 2013].

As for other factors supporting previous findings, our research shows that being a member of a Russell Group university has a reputational impact on the university's outputs, significantly boosting research-related entrepreneurial outcomes [Sengupa and Ray 2017].

For entrepreneurial and teaching-oriented universities, facility- and equipment-leasing income has a positive association with knowledge transfer income. Such interactions between university and industry help strengthen existing collaborations and enhance the likelihood of future links between the two. These results are consistent with the previous literature, indicating that collaboration with Industry forged via using university equipment and facilities can increase knowledge transfer activities [Hewitt-Dundas 2012].

Our results are also supportive of the literature about university strategy, showing that university strategic orientation and its entrepreneurial component shape the entrepreneurial outcomes of the university [Wright et al. 2017].

Conclusions

To conclude, income generated by university academic staff is among the most vital resources to ensure sustainability and the

development of an entrepreneurial university. Two objectives were achieved in this research: types of third-stream activities undertaken by university staff and students while collaborating with stakeholders at different levels of engagement and the extent of their influence at different university types. The most popular income generation activities at both teaching and research-oriented entrepreneurial universities are research contracts from the government and Industry. However, our results clearly show that actors at the organizational level, such as technology transfer offices primarily for research-focused universities and science parks and business incubators for all the types of the entrepreneurial university, play a significant role in generating additional income and thus achieving sustainability. Thus, academic involvement with stakeholders is not restricted to one level but is influenced by the interplay of factors from three levels: individual, organizational, and system [Perkmann et al. 2021]. Organizational support provided by the university is considered to be among the most important factors for academic engagement [Perkmann et al. 2013]. Thus, how academics perceive university support at various levels might determine their decision to engage with others for third-stream income generation [Borch 2010], contributing to its sustainability.

An essential role for academics to participate in third-stream income for universities of all types would play incentives for staff to engage with business and university mission towards achieving particular entrepreneurial outcomes. This research can be helpful for university managers as a guide to explain different paths of collaboration with stakeholders that can lead to different strategies to increase university income. The results of this study could help certain parties to get to know some issues in university collaboration with stakeholders for income generation. It should guide the university managers to decide on better directions for collaboration with different actors in attaining optimal results in university income generation.

Appendix A

Table A1
Universities included into the sample by subgroups

Polytechnic University	Russel Group University	Rest Teaching-oriented university
Anglia Ruskin University; Bournemouth University; The University of Brighton; Birmingham City University; The University of Central Lancashire; Coventry University; The University of East London; The University of Greenwich; The University of Lincoln; Kingston University; Leeds Beckett University; Liverpool John Moores University; The Manchester Metropolitan University; Middlesex University; De Montfort University; University of Northumbria at Newcastle; The Nottingham Trent University; Oxford Brookes University; University of Plymouth; The University of Portsmouth; Sheffield Hallam University; London South Bank University; Staffordshire University; The University of Sunderland; Teesside University; The University of West London; University of the West of England, Bristol; The University of Westminster; The University of Wolverhampton; London Metropolitan University	The University of Birmingham; The University of Bristol; The University of Cambridge; University of Durham; The University of Exeter; The University of Leeds; The University of Liverpool; Imperial College of Science, Technology and Medicine; King's College London; London School of Economics and Political Science; Queen Mary University of London; University College London; Newcastle University; University of Nottingham; The University of Oxford; The University of Sheffield; The University of Southampton; The University of Warwick; The University of York; The University of Edinburgh; The University of Glasgow; Cardiff University; The Queen's University of Belfast; The University of Manchester	The Open University; Cranfield University; Royal College of Art; Buckinghamshire New University; University of Chester; York St John University; University of St Mark and St John; Falmouth University; The University of Winchester; Liverpool Hope University; University of the Arts, London; University of Bedfordshire; The University of Northampton; Ravensbourne; Rose Bruford College; Royal Academy of Music; Royal College of Music; Southampton Solent University; University of Cumbria; Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance; University of Worcester; Bath Spa University; The University of Bolton; University of Gloucestershire; University of Derby; University of Hertfordshire; The University of Huddersfield; The University of Chichester; The University of Wales, Newport; Glyndŵr University; Cardiff Metropolitan University; University of South Wales; Swansea Metropolitan University; Trinity University College; University of Abertay Dundee; Glasgow School of Art; Queen Margaret University, Edinburgh; The Robert Gordon University; The University of the West of Scotland; Glasgow Caledonian University; Edinburgh Napier University; Aston University; The University of Bath; The University of Bradford; Brunel University London; The City University; The University of East Anglia; The University of Essex; The University of Hull; The University of Keele; The University of Kent; The University of Lancaster; The University of Leicester; Birkbeck College; Goldsmiths College; Institute of Education; London Business School; London School of Hygiene and Tropical Medicine; Royal Holloway and Bedford New College; The Royal Veterinary College; St George's Hospital Medical School; The School of Pharmacy; University of London; Loughborough University; The University of Reading; The University of Salford; The University of Surrey; The University of Sussex; The University of Strathclyde; The University of Aberdeen; Heriot-Watt University; The University of Dundee; The University of St Andrews; The University of Stirling; University of Wales Trinity Saint David; Aberystwyth University; Bangor University; Swansea University; University of Ulster; The Institute of Cancer Research; Norwich University of the Arts; Royal Agricultural University; University of the Highlands and Islands; The University of Buckingham; University for the Creative Arts

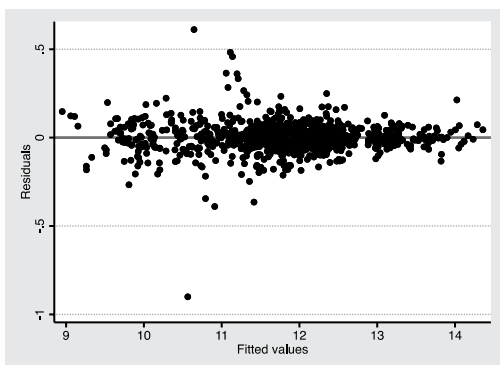
Table A2
Descriptive statistics of the sample

Variable	Entrepreneurial University			Russel Group Universities			Polytechnic Universities			Rest Teaching Universities		
	Obs	Mean	Std. Dev.	Obs	Mean	Std. Dev.	Obs	Mean	Std. Dev.	Obs	Mean	Std. Dev.
University total income	952	11.87	0.95	168	13.15	0.46	210	12.05	0.27	566	11.44	0.83
Total income from facilities and equipment services	953	4.85	2.84	168	6.94	2.42	210	5.18	2.06	567	4.09	2.88
Business plan for business engagement	953	4.22	0.80	168	4.29	0.76	210	4.28	0.78	567	4.17	0.82
Incentives for staff to engage with business	953	3.74	0.83	168	4.04	0.77	210	3.54	0.89	567	3.71	0.79
Regional strategy	953	0.33	0.47	168	0.20	0.40	210	0.37	0.48	567	0.34	0.47
Contribution to ec. develop.: widening participation access	953	0.68	0.47	168	0.62	0.49	210	0.80	0.40	567	0.67	0.47
Contribution to ec. develop.: graduates' retention into the region	953	0.42	0.49	168	0.33	0.47	210	0.54	0.50	567	0.40	0.49
Contribution to ec. develop.: support for community	953	0.34	0.47	168	0.32	0.47	210	0.31	0.46	567	0.35	0.48
Contribution to ec. develop.: developing local partnership	953	0.48	0.50	168	0.44	0.50	210	0.51	0.50	567	0.47	0.50
Contribution to ec. develop.: meeting regional skills needs	953	0.48	0.50	168	0.33	0.47	210	0.64	0.48	567	0.47	0.50
Contribution to ec. develop.: knowledge exchange	953	0.57	0.50	168	0.81	0.39	210	0.54	0.50	567	0.51	0.50
Contribution to ec. develop.: supporting SME	953	0.59	0.49	168	0.45	0.50	210	0.67	0.47	567	0.61	0.49
Contribution to ec. develop.: research collaboration	953	0.63	0.48	168	0.93	0.25	210	0.51	0.50	567	0.60	0.49
External Science park	953	0.23	0.42	168	0.30	0.46	210	0.24	0.43	567	0.20	0.40
Science park at the university	953	0.21	0.41	168	0.39	0.49	210	0.18	0.39	567	0.17	0.38
Business incubator support at the university	953	0.66	0.47	168	0.81	0.39	210	0.64	0.48	567	0.63	0.48
Business incubator support out of the university	953	0.04	0.19	168	0.08	0.28	210	0.01	0.12	567	0.03	0.17
Number of university spin-offs	951	0.49	0.68	168	0.97	0.74	210	0.36	0.57	565	0.40	0.64
Number of graduate start-ups	953	2.03	1.66	168	1.95	1.48	210	2.79	1.62	567	1.76	1.65
Number of staff start-ups	953	0.23	0.50	168	0.27	0.53	210	0.25	0.56	567	0.21	0.46
Number of patents granted	953	0.00	0.00	168	0.00	0.00	210	0.00	0.00	567	0.00	0.00

Other UK Government departments funding	952	5.38	2.95	168	7.71	2.19	210	5.66	1.98	566	4.67	3.04
Collaborative contribution other funding	952	2.91	2.93	168	4.41	3.51	210	2.93	2.63	566	2.50	2.70
Consultancy and CPD courses per staff	950	8.14	1.65	168	9.46	0.69	210	8.75	0.68	565	7.55	1.79
Contract research total value	953	7.10	2.66	168	10.17	0.78	210	7.08	0.88	567	6.29	2.69
IPI revenues generation	953	3.56	2.85	168	6.99	1.47	210	2.78	2.09	567	2.88	2.66
TTO exist at the university	953	0.54	0.50	168	0.79	0.41	210	0.50	0.50	567	0.48	0.50
TTO and external agency for commercialisation	953	0.31	0.46	168	0.21	0.41	210	0.44	0.50	567	0.29	0.45
Employment rate per 1000 students	953	4.35	0.66	168	4.81	0.36	210	3.97	0.25	567	4.34	0.72
Number of students on doctorate degree	953	4.03	1.66	168	6.19	0.46	210	3.92	0.66	567	3.48	1.60
University teaching capital (number of faculty)	953	4.79	2.11	168	5.90	0.91	210	4.95	2.07	567	4.42	2.24
University research capital (number of faculty)	953	5.62	1.62	168	6.73	0.67	210	6.08	1.43	567	5.15	1.65
University teaching & research capital (number of faculty)	953	2.89	1.86	168	4.65	1.66	210	2.91	1.58	567	2.40	1.69
External investment: Spin-offs with univ. ownership	953	3.13	3.97	168	7.84	3.63	210	1.29	2.52	567	2.47	3.45
External investment: Staff start-ups with univ. ownership	953	0.59	1.80	168	1.17	2.75	210	0.33	1.26	567	0.51	1.58
External investment: Graduate start-ups	953	1.64	2.61	168	2.67	3.58	210	1.71	2.42	567	1.28	2.23
Share of stem undergraduates	953	0.07	0.06	168	0.10	0.04	210	0.08	0.03	567	0.06	0.06
Share of stem postgraduates	953	0.03	0.04	168	0.05	0.04	210	0.02	0.03	567	0.02	0.05
Share of biology physics and medicine postgraduates	953	0.03	0.07	168	0.07	0.05	210	0.02	0.03	567	0.03	0.08
Share of biology physics and medicine undergraduates	953	0.10	0.07	168	0.17	0.05	210	0.08	0.03	567	0.08	0.07
Share of business & administrative studies postgraduates	953	0.04	0.06	168	0.04	0.02	210	0.04	0.04	567	0.04	0.07
Share of business & administrative studies undergraduates	953	0.07	0.05	168	0.04	0.02	210	0.11	0.04	567	0.07	0.06
Number of students studying on other higher degree	953	6.56	1.25	168	7.81	0.40	210	6.94	0.49	567	6.07	1.29

Appendix B

Figure 1
Heteroscedasticity plot – Entrepreneurial universities
(general sample)



Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

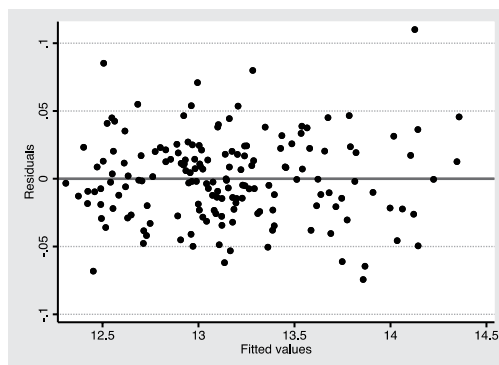
Variable: Fitted values of University income

H0: Constant variance

$\chi^2(1) = 182.39$

Prob > $\chi^2 = 0.0000$

Figure 2
Heteroscedasticity plot – Russel universities



Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

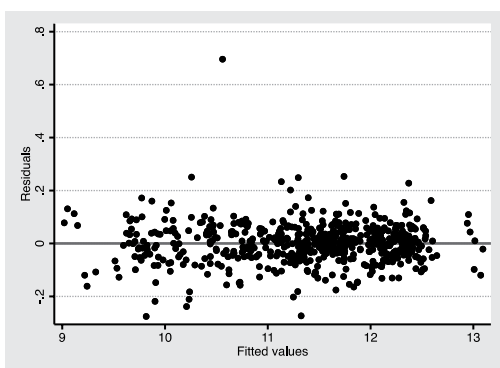
Variable: Fitted values of University income

H0: Constant variance

$\chi^2(1) = 4.89$

Prob > $\chi^2 = 0.0271$

Figure 3
Heteroscedasticity plot – Rest teaching universities



Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

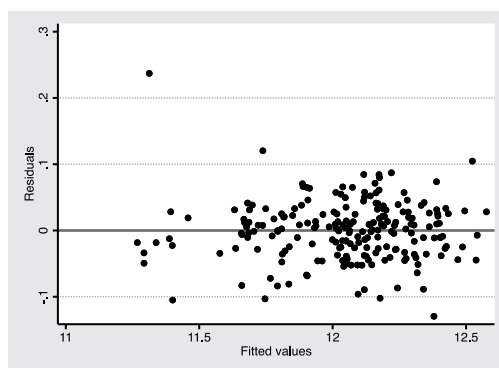
Variable: Fitted values of University income

H0: Constant variance

$\chi^2(1) = 45.48$

Prob > $\chi^2 = 0.0000$

Figure 4
Heteroscedasticity plot – Polytechnic universities



Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of University income

H0: Constant variance

$\chi^2(1) = 12.16$

Prob > $\chi^2 = 0.0005$

References

- Acosta M., Coronado D., Flores E. (2011). University spillovers and new business location in high-technology sectors: Spanish evidence. *Small Business Economics*. No. 36 (3). P. 365–376.
- Alshubiri F.N. (2020). Analysis of financial sustainability indicators of higher education institutions on foreign direct investment: Empirical evidence in OECD countries. *International Journal of Sustainability in Higher Education*. No. 22 (1). P. 77–99.
- Alsos G., Carter S., Ljunggren E., Welter F. (2011). Introduction: Researching Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. In: Alsos G.A., Carter S., Ljunggren E. and Welter F. (eds.) *The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development*. Cheltenham, UK: Edward Elgar. P. 1–20.
- Astebro T., Bazzazian N., Braguinsky S. (2012). Start-ups by Recent University Graduates and Their Faculty: Implications for University Entrepreneurship Policy. *Research Policy*. No. 41 (4). P. 663–677.
- Audretsch D. B., Kuratko D. F., Link A. N. (2016). Dynamic entrepreneurship and technology-based innovation. *Journal of Evolutionary Economics*. No. 26. P. 603–20.
- Audretsch D.B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. *The Journal of Technology Transfer*. No. 39 (3). P. 313–321.
- Audretsch D.B., Belitski M. (2017). Entrepreneurial ecosystems in cities: establishing the framework conditions. *The Journal of Technology Transfer*. No. 42 (6). P. 1030–1051. DOI: 10.1007/s10961-016-9473-8.
- Autio E., Kenney M., Mustar P., Siegel D., Wright M. (2014). Entrepreneurial innovation ecosystems and context. *Research Policy*. No. 43 (7). P. 1097–1108.
- Barbero J.L., Casillas J.C., Ramos A., Guitart S. (2012). Revisiting incubation performance: how incubator typology affects results. *Technological Forecasting and Social Change*. No. 79 (5). P. 888–902.
- Bartell M. (2003). Internationalization of Universities: A University Culture-Based Framework. *Higher Education*. No. 45 (1). P. 43–70.
- Belitski M., Aginskaja A., Marozau R. (2019). Commercializing university research in transition economies: technology transfer offices or direct industrial funding? *Research Policy*. No. 48 (3). P. 601–615.
- Belitski M., Heron K. (2017). Expanding entrepreneurship education ecosystems. *Journal of Management Development*. No. 36 (2). P. 163–177.
- Bell A., Jones K. (2015). Explaining Fixed Effects: Random Effects Modeling of Time-Series Cross-Sectional and Panel Data. *Political Science Research and Methods*. No. 3 (1). P. 133–53. DOI: 10.1017/psrm.2014.7
- Bock C., Huber A., Jarchow S. (2018). Growth factors of research-based spin-offs and the role of venture capital investing. *Journal of Technology Transfer*. No. 43 (5). P. 1375–1409.
- Bradley S., Hayter C.S., Link A.N. (2013). Models and methods of university technology transfer. *Foundations and Trends in Entrepreneurship*. No. 9 (6). P. 571–650.
- Bramwell A., Wolfe D. A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University of Waterloo. *Research Policy*. No. 37 (8). P. 1175–1187.
- Braunerhjelm P., Acs Z.J., Audretsch D.B., Carlsson B. (2010). The missing link: Knowledge diffusion and entrepreneurship in endogenous growth. *Small Business Economics*. No. 34 (2). P. 105–125.
- Burrows P. (1999). Combining regulation and legal liability for the control of external costs. *International Review of Law and Economics*. No. 19 (2). P. 227–244.
- Cronbach L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*. No. 16. P. 297–334. DOI: 10.1007/BF02310555.
- D'Este P., Perkmann M. (2011). Why Do Academics Engage with Industry? The Entrepreneurial University and Individual Motivations. *Journal of Technology Transfer*. No. 36 (3). P. 316–339. DOI: 10.1007/s10961-010-9153-z.
- Deeds D.L., Decarolis D., Coombs J.E. (1997). The impact of firm-specific capabilities on the amount of capital raised in an initial public offering: Evidence from the biotechnology industry. *Journal of Business Venturing*. No. 12 (1). P. 31–46.
- Donaldson Th., Preston L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*. No. 20 (1). P. 65–91.
- Etzkowitz H. (2003). Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. *Social Science Information*. No. 42 (3). P. 293–337. DOI:10.1177/05390184030423002.
- Etzkowitz H., Ranga M., Benner M., Guarany L., Maculan M. & Kneller R. (2008). Pathways to the entrepreneurial university: towards a global convergence. *Science and Public Policy*. No. 35 (9). P. 681–695.
- Fayolle A., Linan F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. *Journal of Business Research*. No. 67 (5). P. 663–666.

- Finì R., Grimaldi R., Santoni S., Sobrero M. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. *Research Policy*. No. 40 (8). P. 1113–1127.
- Florida R., Adler P., King K., Mellander C. (2020). The City as Startup Machine: The Urban Underpinnings of Modern Entrepreneurship. In Iftikhar M., Justice J., Audretsch D. (eds.) *Urban Studies and Entrepreneurship*. The Urban Book Series. Springer: Cham. P. 19–30.
- Foss L., Gibson D. V. (eds.). (2015). *The entrepreneurial university: Context and institutional change*. Abingdon: Routledge.
- Freeman R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, MA: Pitman.
- Frølich N., Schmidt E. K., Rosa M. J. (2010). Funding systems for higher education and their impacts on institutional strategies and academia: A comparative perspective. *International Journal of Educational Management*. No. 24 (1). P. 7–21. DOI: 10.1108/09513541011013015.
- Gray D.O., Boardman C. (2010). Special issue on cooperative research centres: policy, process, and outcome perspectives. *Journal of Technology Transfer*. No. 35(5). P. 445–459.
- Grimaldi R., Grandi A. (2005). Business incubators and new venture creation: an assessment of incubating models. *Technovation*. No. 25 (2). P. 111–121.
- Guerrero M., Cunningham J.A., Urbano D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities' activities: An exploratory study of the United Kingdom. *Research Policy*. No. 44 (3). P. 748–764.
- Guerrero M., Urbano D. (2012). The development of an entrepreneurial university. *The Journal of Technology Transfer*. No. 37 (1). P. 43–74.
- Guerrero M., Urbano D. (2014). Academics' start-up intentions and knowledge filters: An individual perspective of the knowledge spillover theory of entrepreneurship. *Small Business Economics*. No 43 (1). P. 57–74.
- Hassan N. A. (2020). University business incubators as a tool for accelerating entrepreneurship: theoretical perspective. *Review of Economics and Political Science*. DOI: 10.1108/REPS-10-2019-0142.
- Hayter C. S. (2016). A trajectory of early-stage spin-off success: the role of knowledge intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. *Small Business Economics*. No. 47(3). P. 633–656. DOI: 10.1007/s11187-016-9756-3.
- Hayter C.S., Nelson A.J., Zayed S., O'Connor Alan C. (2018). Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: a review, analysis and extension of the literature. *Journal of Technology Transfer*. No. 43. P. 1039–1082. DOI: 10.1007/s10961-018-9657-5.
- Hayter C.S., Nelson A.J., Zayed S., O'Connor A. C. (2018). Conceptualizing academic entrepreneurship ecosystems: a review, analysis and extension of the literature. *Journal of Technology Transfer*. No.43. P. 1039–1082.
- Henrekson M., Rosenberg N. (2001). Designing efficient institutions for science-based entrepreneurship: lessons from the US and Sweden. *Journal of Technology Transfer*. No. 26. P. 207–231.
- Hewitt-Dundas N. (2012). Research intensity and knowledge transfer activity in UK universities. *Research Policy*. No. 41 (2). P. 262–275.
- Huyghe A., Knockaert M., Piva E., Wright M. (2016). Are researchers deliberately bypassing the technology transfer office? An analysis of TTO awareness. *Small Business Economics*. No 47 (3). P. 589–607.
- Jongbloed B., Enders J., Salerno C. (2008). Higher education and its communities: Interconnections, interdependencies and a research agenda. *Higher Education*. No. 56. P. 303–324.
- Jongbloed B. (2004). Funding higher education: Options, trade-offs and dilemmas. *Paper for Fulbright Brainstorms 2004 – New trends in Higher Education*. URL: <https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6155740/engpap04fundinghe.pdf> (accessed: 18.02.2022).
- Kasim R. S. R. (2011). Malaysian Higher Education Institutions: Shaping an Entrepreneurial Agenda. *The International Journal of Information and Education Technology*. Vol. 1. No. 2. P. 163–170. DOI: 10.7763/IJET.2011.V1.27.
- Klepper S. (2007). Disagreements, spin-offs, and the evolution of Detroit as the capital of the US automobile industry. *Management Science*. No. 53 (4). P. 616–631.
- Kortum S., Lerner J. (2001). Does venture capital spur innovation? In: *Entrepreneurial inputs and outcomes: New studies of entrepreneurship in the United States*. Bingley: Emerald Group Publishing Limited. P. 1–44.
- Link A.N., Scott J.T. (2006). US university research parks. *Journal of Productivity Analysis*. No. 25. P. 43–55.
- Liu Y., Huang Q. (2018). University capability as a micro-foundation for the Triple Helix model: the case of China. *Technovation*. No. 76–77. P. 40–50.
- M'Chirgui Z., Lamine W., Mian S., Fayolle A. (2018). University technology commercialization through new venture projects: an assessment of the French regional incubator program. *Journal of Technology Transfer*. No. 43 (5). P. 1142–1160.

- Malairaja C., Zawdie G. (2008). Science parks and university–industry collaboration in Malaysia. *Technology Analysis and Strategic Management*. No. 20 (6). P. 727–739.
- Markman G. D., Gianiodis P. T., Phan H. P. (2009). Supply-side innovation and technology commercialization. *Journal of Management Studies*. No. 46 (4). P. 625–649.
- Markman G. D., Siegel D. S., Wright M. (2008). Research and technology commercialization. *Journal of Management Studies*. No. 45 (8). P. 1401–1423.
- Marzocchi C., Kitagawa F., Sánchez-Barrioluengo M. (2019). Evolving missions and university entrepreneurship: academic spin-offs and graduate start-ups in the entrepreneurial society. *Journal of Technology Transfer*. No. 44. P. 167. DOI: 10.1007/s10961-017-96193.
- Mccowan T. (2017). Higher education, unbundling, and the end of the university as we know it. *Oxford Review of Education*. No. 43 (6). P. 733–748.
- Meoli M., Vismara S. (2016). University support and the creation of technology and nontechnology academic spin-offs. *Small Business Economics*. No. 47. P. 345–362. DOI: 10.1007/s11187-016-9721-1.
- Miller D. J., Acs Z. J. (2017). The campus as entrepreneurial ecosystem: the University of Chicago. *Small Business Economics*. No. 49. P. 75.
- Miller K., McAdam M., McAdam R. (2014). The changing university business model: a stakeholder perspective. *R&D Management*. No. 44 (3). P. 265–287.
- Mitchell R. K., Bradley R. A., Wood D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What really Counts. *The Academy of Management Review*. No. 22. P. 853–885.
- Modugno G., Di Carlo F. (2019). Financial Sustainability of Higher Education Institutions: A Challenge for the Accounting System. *Financial Sustainability of Public Sector Entities*. No. 2 (6). P. 165–184.
- Nalwoga M. (2021). Financial Sustainability of Private Universities in Uganda; A Critical Perspective. *African Journal of Education, Science and Technology*. No. 6 (3). P. 114–125. URL: <http://www.ajest.info/index.php/ajest/article/view/537> (accessed: 18.02.2022).
- Neave G. (2000). *The Universities' Responsibilities to Society: International Perspectives*. Issues in Higher Education Series. 1st Edition, Elsevier Science, Ltd.
- O'Gorman, C., Byrne O., Pandya D. (2008). How scientists commercialise new knowledge via entrepreneurship. *Journal of Technology Transfer*. No. 33. P. 23–43.
- O'Kane C., Mangematin V., Geoghegan W., Fitzgerald C. (2015). University technology transfer offices: The search for identity to build legitimacy. *Research Policy*. No. 44 (2). P. 421–437.
- Pavone C. (2019). STEM Students and Faculty Can Gain Entrepreneurial Thinking and Skills. *Entrepreneur & Innovation Exchange*.
- Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A., D'Este P., Fini R., Geunae A., Grimaldi R., Hughes A., Krabel S., Kitson M., Llerena P., Lissoni F., Salter A., Sobrero M. (2013). Academic Engagement and Commercialisation: A Review of the Literature on University-Industry Relations. *Research Policy*. No. 42 (2). P. 423–442.
- Perkmann M., Salandra R., Tartari V., et al. (2021). Academic engagement: A review of the literature 2011–2019. *Research Policy*. No. 50 (1). P. 1–20.
- Phan P.H., Siegel D.S., Wright M. (2005). Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. *Journal of Business Venturing*. No. 20. P. 165–182.
- Powers J. B., McDougall P. P. (2005). University Start-Up Formation and Technology Licensing with Firms that go Public: a Resource-Based View of Academic Entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*. No. 20 (3). P. 291–311.
- Rasmussen E., Mosey S., Wright M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin-off venture emergence. *Journal of Management Studies*. No. 48 (6). P. 1314–1345.
- Robles N. (2017). *Development of university's business incubators in Panama*. Master Thesis, Faculty of Engineering Economics and Management, Institute of Business, Riga Technical University
- Roura J.C. (2015). Business incubation: innovative services in an entrepreneurship ecosystem. *Service Industries Journal*. No. 35 (14). P. 1–18.
- Sazonov S.P., Kharlamova, E.E., Chekhovskaya I.A., Polyanskaya E.A. (2015). Evaluating Financial Sustainability of Higher Education Institutions. *Asian Social Science*. No. 11 (20). P. 34–40.
- Sengupta A., Ray A. (2017). University Research and Knowledge Transfer: A Dynamic View of Ambidexterity in British Universities. *Research Policy*. No. 46 (5). P. 881–897.
- Sideri K., Panagopoulos A. (2018). Setting up a technology commercialization office at a nonentrepreneurial university: an insider's look at practices and culture. *The Journal of Technology Transfer*. No. 43 (4). P. 953–965.
- Siegel D. S., Wright M. (2015). Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? *British Journal of Management*. No. 26. P. 582–595.

- Siegel D.S. (2018). Academic Entrepreneurship: Lessons Learned for Technology Transfer Personnel and University Administrators. *World Scientific Reference on Innovation*. P. 1–21.
- Siegel D.S., Waldman D. (2019). Organizational and Psychological Issues in the Commercialization of Research at Universities and Federal Labs. *Les Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society*. No. 54 (2).
- Siegel D.S., Waldman D., Link A. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study. *Research Policy*. No. 32. P. 27–48.
- Siswanto E., Djumahir Ahmad-Sonhadji K. H., Idrus M. S. (2013). Good University Income Generating Governance in Indonesia: Agency Theory Perspective. *International Journal of Learning & Development*. No. 3 (1). P. 67–78. DOI: 10.5296/ijld.v3i1.3134.
- Somers P., Davis C., Fry J., Jasinski L., Lee E. (2018). Academic capitalism and the entrepreneurial university: some perspectives from the Americas. *Roteiro*. No. 43. P. 21–42.
- Van Looy B., Landoni P., Callaert J., Van Pottelsberghe B., Sapsalis E., Debackere K. (2011). Entrepreneurial Effectiveness of European Universities: An Empirical Assessment of Antecedents and Trade-Offs. *Research Policy*. No. 40 (4). P. 553–564.
- Vohora A., Wright M. and Lockett A. (2004). Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies. *Research Policy*. No. 33 (1). P. 147–175.
- Wächter B. et al. (2012). *Trying it all together. Excellence, mobility, funding and the social dimension in higher education*. Bonn: Lemmens.
- Wooldridge J. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach, South Western, Cengage Learning*. URL: https://economics.ut.ac.ir/documents/3030266/14100645/Jeffrey_M._Wooldridge_Introductory_Econometrics_A_Modern_Approach_2012.pdf (accessed: 18.02.2022).
- Wooldridge J.M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press.
- Wright M., Siegel D.S., Mustar P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. *Journal of Technology Transfer*. No. 42 (4). P. 909–922.
- Xu L. (2009). Business incubation in China: effectiveness and perceived contributions to tenant enterprises. *Management Research Review*. Vol. 33. No. 1. P. 90–99.
- Yusef S. (2008). Intermediating knowledge exchange between universities and businesses. *Research Policy*. No. 37. P. 1167–1174.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

НАТАЛЬЯ РАДЬКО

Редингский университет, Рединг, Великобритания
МГИМО МИД России, Москва, Россия

Резюме

В работе рассматривается влияние различных стейкхолдеров на формирование приносящей доход деятельности университета. На сегодняшний день способность университета самостоятельно поддерживать своё финансовое благополучие в условиях ограниченной финансовой помощи со стороны государства находится в фокусе внимания как учёных, так и администраций университетов. Профессорско-преподавательский состав является одним из ключевых стейкхолдеров, применяющих различные инструменты для привлечения дохода в вуз, в том числе через взаимо-

действие с различными субъектами экономической деятельности. В рамках данного исследования были применены количественные методы анализа. На основе вторичных данных о взаимодействии высших школ и предприятий в Великобритании автор провёл оценку воздействия различных стейкхолдеров на доходность вуза. Согласно полученным результатам государство и предприятия являются основными стейкхолдерами, которые оказывают значимое влияние на финансирование университетов, тогда как другие субъекты хотя и важны, но эффективность их воздействия зависит от каждого конкретного вуза. Это исследование может быть полезным для административного аппарата высшей школы, поскольку показывает различные стратегии взаимодействия со стейкхолдерами, что, в свою очередь, может привести к разработке своей стратегии поведения для увеличения доходности вуза.

Ключевые слова:

университеты; приносящая доход деятельность; профессорско-преподавательский состав; экономическая стабильность.

ХОЛОДНО – О ГОРЯЧЕМ

ЛОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА? ПОПУЛИСТСКИЙ ВЫЗОВ СОЛИДАРНОСТИ ЕС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

СЕРГЕЙ ШЕИН
АРТЁМ АЛИКИН

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Резюме

Рост популизма в государствах–членах Европейского Союза, как масштабный внутренний вызов евроинтеграционному проекту, имеет проекцию на сферу внешней политики Брюсселя. Отклонение популистских программ и стратегий от позиций мейнстрима наиболее ярко проявляется в политике ЕС по отношению к России. В этой связи встаёт вопрос о соотношении внешнеполитических ориентаций европейских популистов с ключевой ценностью ЕС – принципом солидарности. В статье авторы стремятся ответить на вопрос, как формулируются и реализуются внешнеполитические программы популистов и способны ли они нанести ущерб воплощению принципа солидарности во внешней политике ЕС на российском направлении. Используя идейный или идеологический подход к пониманию популизма и сравнительный анализ внешнеполитических программ популистских акторов Германии, Великобритании и Венгрии, авторы приходят к выводу, что отклонения партий правопопулистской (АдГ, ПНСК, Фидес) и левопопулистской («Левые») окраски выражены в разной степени и предполагают различные акценты: «стратегический союз» по отношению к России у АдГ и «Левых»; прагматичная пророссийскость у Фидес, амбивалентное отношение у ПНСК. Европейские правые и левые популисты с разной степенью радикальности подходят к реализации принципа солидарности во внешнеполитическом курсе ЕС по отношению к России. При этом отчётливо проявляется ограниченность возможностей транслировать программы и установки популистов во внешнеполитический курс Брюсселя по отношению к России. Как следствие, несмотря на преимущественно пророссийскую риторику, популизм у власти и в оппозиции не способен демонтировать существующий консенсус во внешней политике ЕС. Природа популизма как идеологии и инструментальное использование левыми и правыми популистами темы России для «внутреннего потребления» выступают барьерами для реального оспаривания курса, проводимого Брюсселем. Более того, популисты становятся удобным «спарринг-партнёром» для укрепления солидарности государств–членов ЕС в выстраивании внешней политики в отношении Российской Федерации.

Ключевые слова:

популизм; внешняя политика ЕС; солидарность; Россия.

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 20-78-00103 «Популизм как фактор онтологического измерения безопасности ЕС: вызовы для России».

Дата поступления рукописи в редакцию: 11.05.2021

Дата принятия к публикации: 24.06.2021

Для связи с авторами / Corresponding author:

Email: sshein@hse.ru

«Популистский дух времени» [Mudde 2004] или «популистский момент» [Brubaker 2017] стали устойчивыми характеристиками политического процесса в Европе. Популистские партии левой и правой окраски не только прочно «закрепились» в legislatures стран—членов Европейского Союза (в 2019 г. совокупный процент голосов за популистов на национальных выборах в странах ЕС составил 25%)¹, но и получили доступ к власти. Например, в 2018 г. популисты были представлены в правительствах 12 европейских стран (в 2021 г. — в 10 странах²).

При оценке эффектов подъёма этих политических сил важно учитывать, что популизм уже не представляет собой феномен, изолированный во внутренней политике [Chrysogelos 2019]. Вопрос о том, как популистские игроки могут влиять на внешнюю политику национальных государств и ЕС, получает отражение в академической дискуссии [Cadier 2020; Destradi and Plagemann 2019; Verbeek and Zaslove 2014, Chrysogelos 2010], однако наталкивается на ряд барьеров. Речь идет, *во-первых*, об идеологической природе явления и многообразии его национальных вариаций. Фрагментарный характер популизма как идеологии [Мусихин 2009: 40] вынуждает его использовать концептуальные наработки других, комплексных, идеологий. Это объясняет появление правой и левой вариаций популизма, а также эклектичность их программных установок. Например, антиисламские и антимигрантские позиции соседствуют с защитой прав женщин и сексуальных меньшинств в программе Партии свободы в Нидерландах [Vossen 2011], а требование сократить миграционный приток во Францию соседствует с требованием снизить пенсионный

возраст и сократить рабочую неделю в программе лидера французского Национального фронта (с 1 июля 2018 г. — Национальное объединение) Марин Ле Пен³.

Во-вторых, играют роль и структурные ограничения популистского импульса, созданные международной средой. В терминологии политолога Ф. Джирландо — «геополитическое структурное давление» [Giurlando 2021]. Указанное давление позволяет популистам бросить вызов истеблишменту лишь в отдельных направлениях внешнеполитического курса, другие же — выступают предохранителем от его крутой трансформации. Исходя из этого, природа явления и неоднозначное влияние внешней среды делает тему взаимоотношений популизма и внешней политики «белым пятном» для исследователей, несмотря на растущий к ней интерес.

Популистская парадигма, основанная на идее антагонистического соперничества народа и элиты, отражается и во внешнеполитическом курсе национальных государств, и во внешней политике Брюсселя, включая отношения с Россией. Популистские силы, как правило, воспринимают Москву как органичную часть нового «нелиберального» мирового порядка и потенциального партнёра в борьбе с традиционными элитами, который способствует размытию институциональной конструкции, закрепляющей их доминирование.

Авторы настоящей статьи поставили целью ответить на вопрос, как формулируются и реализуются внешнеполитические программы популистов и способны ли они нанести ущерб воплощению принципа солидарности во внешней политике ЕС на российском направлении. При этом популизм определяется как «тонкоцентрированная», или фрагментарная, идеология

¹ The PopuList project. [Электронный ресурс]. URL: <https://popu-list.org/explore-data/> (accessed: 08.10.2021).

² Populists in office// TIMBRO Authoritarian Populism Index. [Электронный ресурс]. URL: https://populismindex.com/report/#post-87-_3q7m5qakg2re <https://popu-list.org/explore-data/> (accessed: 08.10.2021).

³ Factbox: Marine Le Pen's French presidential election policies //Reuters. 14.04.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.reuters.com/article/us-france-election-programme-lepen-factbox/USKBN17G197> (accessed: 25.10.2021).

[Mudde 2014; Stanley 2008], видящая общество разделённым на две гомогенные и антагонистические группы: «чистый народ» и «коррупцированную элиту» [Mudde 2014]. Концептуальные черты популизма, выделяемые в рамках этого подхода, такие как антиэлитизм, евроскептицизм и антиплюрализм, позволяют идентифицировать носителей идеологии в партийно-политических системах государств-членов ЕС на основе анализа их программных установок.

Основной метод исследования — сравнительный анализ репрезентативных случаев. Выборка для анализа произведена по результатам поиска случаев с максимальными различиями [Przeworski, Teune 1970: 34–46]. Метод максимальных отличий позволяет подсветить общие черты популизма во внешней политике при различном контексте функционирования популистской партии или движения. *Во-первых*, выбраны примеры, исходя из различного веса в политических системах: популизм у власти — Фидес в Венгрии; популизм как ведущая оппозиционная сила в парламенте — Левая партия в 2013–2017 годах и Альтернатива для Германии (АдГ) в 2017–2019 годах в немецком Бундестаге; популизм как внепарламентская оппозиция — Партия независимости Соединённого Королевства (ПНСК) в 2014–2019 годах⁴ в Великобритании. *Во-вторых*, выбранные случаи охватывают правую и левую вариации популизма⁵. Отдельно стоит отметить, что присутствие в логике политического функционирования дихотомии «народ–элиты» позволяет нам вслед за Хриссогелосом [Chrysogelos 2010] относить к числу популистских немецкую Левую партию — политическую силу, которую принято считать крайне левой. *В-третьих*, в анализ включены примеры как консолидированной демократии

(Германия, Великобритания), так и стран демократического транзита (Венгрия), что позволяет увидеть внешнеполитические ориентации популистских сил в различных институциональных контекстах.

Эмпирической базой исследования выступили партийные документы, заявления популистских лидеров, результаты голосования в национальных парламентах и Европарламенте за 2014–2020 годы: от «евроскептического землетрясения» на выборах в Европейский парламент до последнего года членства Великобритании в ЕС, что позволило включить в анализ британский случай.

Принцип солидарности и «популистская волна»

В соответствии с Лиссабонским договором солидарность выступает одним из ключевых принципов, которым Европейский Союз руководствуется не только в своей международной деятельности, но и во внутренних делах [Manners 2020]. В статье 3 Договора о Европейском Союзе (ДЭС) зафиксировано, что «ЕС содействует экономическому, социальному и территориальному сплочению и солидарности государств-членов»⁶, что подчёркивает разнотрановую применимость этого термина в официальном дискурсе ЕС.

В контексте поставленного в статье исследовательского вопроса важность представляет именно внешнеполитическое преломление принципа солидарности. ДЭС говорит о том, что «солидарность лежит в основе внешнеполитических действий ЕС: государства-члены активно и безоговорочно поддерживают внешнюю политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и взаимной солидарности», а также «воздерживаются от любых дей-

⁴ В 2015–2017 годах ПНСК имела одного депутата в Палате общин.

⁵ В Венгрии левый популизм не получил выражения в партийно-политическом поле. В Великобритании партия «Респект» может считаться левопопулистской, однако, исходя из её гипертрофированного акцента на социально-экономических вопросах, отношения с Россией остались проигнорированными, что позволяет не включать её в фокус данного анализа.

⁶ Consolidated version of the Treaty on European Union // Official website of the European Union. [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT> (accessed: 13.11.2021).

ствий, противоречащих интересам Союза или способных нанести ущерб его эффективности в качестве спланирующей силы в международных отношениях»⁷.

Прочное место термина «солидарность» в официальном дискурсе ЕС объясняется во многом процессом дифференциации в рамках интеграционного проекта, получившим импульс для интенсивного развития после его расширения на восток. Принцип солидарности должен был стать «клеем» в условиях различных ориентаций и предпочтений государств-членов, их готовности участвовать в интеграционных инициативах. В особенности это касается внешнеполитических действий ввиду их ярко выраженного межправительственного и консенсусного характера.

Перечень вопросов и направлений внешней политики, которые должны осуществляться на основе принципа солидарности, не закрыт. К примеру, статья 80 ДФЕС указывает, что политику ЕС как в области охраны границ, так и в сфере предоставления убежища и иммиграции следует согласовывать с указанным принципом⁸. Сверх того, ДЭС, ДФЕС, а также многочисленные официальные документы ЕС (доклад Еврокомиссии «Солидарность в Европе», заявление Европейской службы внешних действий «Европа — континент солидарности», совместное заявление Европейской комиссии «Солидарность ЕС в действии»)⁹ не дают точного определения солидарности, равно как и способов, метрик

или ориентиров для объективной оценки следования принципу солидарности. Более того, отсутствует и понимание, какие механизмы и в каком случае должны применяться для реализации принципа солидарности. Например, статья 222 ДФЕС, которая обязывает государства поддерживать государство-члена ЕС, ставшего объектом атаки (военной, террористической и др.), говорит о том, что «порядок реализации Союзом настоящего условия солидарности определяется решением, принимаемым Советом по совместному предложению Комиссии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности»¹⁰. Однако логично, что подобный механизм действия касается ограниченного круга вопросов. Тем самым не только вопросы и направления внешней политики, но и механизмы и субъекты реализации принципа солидарности вызывают вопросы.

В отсутствие закреплённого законодательно понимания принципа солидарности, его сфер и норм применения у государств-членов возникает «коридор возможностей» в интерпретации и соблюдении названного принципа. Они могут трактовать принцип солидарности как:

- готовность выполнять в полном объёме свои обязательства перед наднациональными институтами в логике принципал-агентских отношений, но не более [Grimmel, Giang 2017];

- добровольную, транснациональную взаимопомощь [Gould 2020];

⁷ Consolidated version of the Treaty on European Union // Official website of the European Union. [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT> (accessed: 13.11.2021).

⁸ Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // Eur-lex. [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT> (accessed: 15.09.2021).

⁹ European Commission. 2018. Solidarity in Europe: Alive and Active. P. 3 and 9. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/solidarity_in_europe.pdf (accessed: 15.06.2021); European Commission. 2021 EU Solidarity in action. [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1111 (accessed: 15.08.2021); European External Action Service (EEAS). 2018. Europe — the Continent of Solidarity. [Электронный ресурс]. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/migration_opportunities_protection_us.pdf (accessed: 15.06.2021).

¹⁰ Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // Eur-lex. [Электронный ресурс]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT> (accessed: 15.09.2021).

– способ разделения ответственности с Брюсселем, с возможностью переложить на него ответственность за неэффективные и/или непопулярные внешнеполитические решения в логике двухуровневой игры [Putnam 1988].

Вступление ЕС в череду кризисов (экономическая стагнация, миграционный кризис, Брекзит, подъём популизма, внешнеполитическая напряжённость в приграничных регионах, пандемия коронавируса и др.) повлекло за собой растущее количество апелляций к принципу солидарности со стороны различных игроков – от общественных групп до Европейской комиссии и Европейского парламента [Потёмкина 2016].

Популистская волна представляет особенно значимую угрозу солидарности, поскольку политические силы, которые с ней ассоциируются, сознательно отринули данный принцип, обратившись к идеологическим конструкциям национального суверенитета [Pirro, Kessel 2017] и тем самым поставив сохранение европейской солидарности в зависимость от своих успехов в публичной политике.

Внешнеполитическая активность ЕС в отношении России превратилась в точку наращения принципа солидарности, в которой внешнеполитические идеи и ориентиры популистов могут быть транслированы на наднациональный уровень. Во внешнеполитическом курсе стресс-тестом для солидарности государств-членов ЕС стало выстраивание стратегии на российском направлении после украинского кризиса 2013–2014 годов. Политический режим и деятельность Москвы на мировой арене выполняют роль референса мышления, программ и ориентиров партий и политиков популистской волны

[Diesen 2020]. Программы и стратегии популистов демонстрировали отклонение от концептуального оснащения внешней политики ЕС в отношении России, в частности курса ЕС лишь на избирательное взаимодействие с Москвой, зафиксированного в «пяти принципах» Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2014–2019 годах Ф. Могерини¹¹.

Россия во внешнеполитических установках популистов в ЕС

Политические программы популистов демонстрируют внутреннюю неоднородность популистского феномена. Восприятие России может быть диаметрально противоположным или двойственным не только у представителей двух основных вариаций популизма (левого и правого), но и внутри каждой из них.

Включённые в анализ партии правопопулистской окраски (АдГ, ПНСК, Фидес) демонстрируют отклонения от восприятия России, зафиксированного во внешнеполитических документах ЕС и риторике официальных лиц. Эти отклонения выражены в разной степени и предлагают различные акценты: стратегический союз у АдГ; прагматичная пророссийскость у Фидес; союз в борьбе с исламским терроризмом у ПНСК.

«Альтернатива для Германии» характеризует Москву как стратегического союзника, сотрудничество с которым охватывает широкий спектр направлений: от торгово-экономических связей и сферы энергетики до общеевропейской архитектуры безопасности¹². Важно, что АдГ не просто напоминает немецким элитам о завершении «холодной войны» и призывает снять антироссийские санкции¹³, но и пытается ин-

¹¹ Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the Foreign Affairs Council // European External Action Service. 14.03.2016. [Электронный ресурс]. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5490/remarks-by-high-representativevice-president-federica-mogherini-at-the-press-conference-following-the-foreign-affairs-council_en (accessed: 14.10.2021).

¹² Unser Grundsatzprogramm für Deutschland. Alternative für Deutschland. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.afd.de/grundsatzprogramm/> (дата обращения: 15.06.2021).

¹³ Ibid.

ституционализировать пророссийский курс. В январе 2019 г. предложение АдГ по налаживанию «сотрудничества, а не конфронтации с Россией» не было поставлено на голосование в Бундестаге¹⁴. В 2017 и 2019 годах депутаты партии продвигали в Бундестаге требование снять санкции и укреплять экономические отношения с Россией¹⁵. В июне 2020 г. депутаты фракции АдГ подготовили доклад с требованием от федерального правительства выступить против продления антироссийских санкций¹⁶, бросающий вызов внешнеполитическому курсу ЕС.

Ориентация на сотрудничество с Россией является производной от электоральной стратегии АдГ, одной из целей которой является борьба за голоса русскоязычного электората. Доля «русских немцев» составляет, по разным оценкам, 3–5% населения страны. Традиционно они голосовали за ХДС [Захарова 2019], но миграционный кризис 2015–2016 годов усилил их мигрантофобию и несколько трансформировал электоральные предпочтения. По заявлениям лидеров партии, голоса русскоязычного населения составляют треть её поддержки¹⁷, но в литературе приводится иная, видимо, более достоверная оценка — 15% [Kretter 2020]. На выборах в Бундестаг 2017 г. Альтернатива выставила шестерых кандидатов, родившихся в Советском Союзе, из них депутатами ста-

ли двое — Антон Фризен и Вальдемар Хердт¹⁸. Русские немцы видят в АдГ партию, которая способна защищать традиционные ценности, в числе прочего предоставляя политические и экономические преференции не мигрантам-мусульманам, а русскоязычным, что помогло бы им почувствовать себя «своими среди почти своих» [Захарова 2019: 233]. Вместе с тем АдГ пошла дальше, выдвинув кандидатов из числа российских немцев, переведя предвыборную литературу на русский язык и выступив против продолжения санкционной политики ЕС в отношении России¹⁹. АдГ предложила пересмотреть европейский консенсус в отношении России на основе альтернативного понимания солидарности. В данном случае можно говорить как о солидарности внутри Германии, так и между государствами-членами ЕС. С точки зрения АдГ, альтернативная солидарность должна выстраиваться на концептуально иной основе: межгосударственных соглашений между европейскими странами-партнёрами и их общих действиях, а не на базе ОВПБ²⁰.

Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», выросшая из студенческого антикоммунистического Альянса молодых демократов, с течением времени существенно сместилась вправо. Партийное руководство всё громче отстаивает отличный от опыта Западной Европы вектор

¹⁴ Für eine neue Russlandpolitik — Kooperation statt Konfrontation. Deutscher Bundestag. [Электронный ресурс]. URL: <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/074/1907427.pdf> (дата обращения: 15.06.2021).

¹⁵ Sanktionen gegen Russland aufheben. Deutscher Bundestag. [Электронный ресурс]. URL: <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914349.pdf> (дата обращения: 15.06.2021).

¹⁶ Auswärtiges/Antrag. Deutscher Bundestag. [Электронный ресурс]. URL: <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920077.pdf> (дата обращения: 15.06.2021).

¹⁷ Shuster S. How Russian Voters Fueled the Rise of Germany's Far-Right // Time. 25.09.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://time.com/4955503/germany-elections-2017-far-right-russia-angela-merkel/> (accessed: 15.06.2021).

¹⁸ Decker P. Immigrants Are Big Fans of Germany's Anti-Immigrant Party // Foreign Policy. 15.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://foreignpolicy.com/2020/01/15/russian-german-immigrants-fans-afd-anti-immigrant/> (accessed: 15.06.2021).

¹⁹ Chazan G. AfD deploys double-headed eagle to snare Russian-German voters // Financial Times. 31.08.2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ft.com/content/1e58cfcc-897a-11e7-bf50-e1c239b45787> (accessed: 28.09.2021).

²⁰ Manifesto for Germany. The Political Program of the Alternative for Germany. 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/04/2017-04-12_afd-grundsatzprogramm-englisch_web.pdf (accessed: 15.06.2021).

развития страны. Лидер партии и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к диверсификации внешнеполитических связей, декларируя открытость к диалогу и сотрудничеству не только с Россией, но и с Китаем [Chrysogellos 2017]. Венгерский политик часто говорит о возвышении Евразии и подчёркивает, что Венгрия находится в центре треугольника Берлин—Москва—Стамбул²¹. Как и АдГ, Фидес критикует санкционный курс в отношении России. Ещё в октябре 2014 г. венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ставил под вопрос эффективность санкций. Вместе с тем внешнеполитическая линия правительства Orbana не оспаривала единства ЕС в этом вопросе²².

Призывы к отмене санкционного курса сочетаются с пониманием того, что членство в НАТО и Европейском Союзе отвечает национальным интересам Венгрии. Более того, Фидес только под давлением европейских правоцентристов покинула респектабельную фракцию Европейской народной партии в Европейском парламенте. На фоне противоречий с западноевропейскими элитами, считающими внутреннюю политику В. Orbana попыткой демонтажа системы сдержек и противовесов, поддержка России используется для дискредитации идеи безальтернативности модели либеральной демократии. Как указывает известный политолог И. Крастев, именно усталость венгерского общества от имитации западноевропейских норм и институтов и стала залогом успеха В. Orbana, продвигающего концепцию «нелиберальной демократии» [Krastev 2020]. В этом контексте логична солидаризация и диалог с Россией, которая не похожа на продвига-

емый Западной Европой образец политической организации общества.

В отличие от АдГ, выступающей за пересмотр европейского консенсуса в отношении России, Фидес, в условиях перманентного конфликта с западноевропейскими государствами—членами ЕС, выстраивает солидарность с Россией на двусторонней основе. Условно такой курс можно рассматривать как конфликтующую солидарность, как результат приоритетности в выстраивании солидарности не членам собственного политического сообщества, а аутсайдеру за его пределами [Gould 2020].

В программе Партии независимости Соединённого Королевства Россия называлась важнейшим партнёром Великобритании в борьбе с исламским терроризмом. В контексте украинского кризиса ПНСК подчёркивала недальновидность и непродуманность политики ЕС на восточном направлении и, как следствие, высказывалась за переориентацию внешней политики Британии на национальные интересы, за приоритет двусторонних соглашений над многосторонними²³. Партийный манифест 2015 г. сообщал о том, что растущее вовлечение Великобритании в экспансионизм Европейского Союза всё больше (и напрасно) ссорит Великобританию с Россией²⁴.

Хотя украинский конфликт продемонстрировал недостатки политики ЕС, ПНСК не нашла оснований оправдывать действия Москвы. Такая двойственность подтверждает сделанный ранее в литературе вывод относительно амбивалентного характера восприятия России этой партией [Бышок 2020]. «Мы вселили ложные надежды в людей на Западной Украине, и они были на-

²¹ Hungary questions EU sanctions on Russia. Financial Times. 2014. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ft.com/content/3af681ee-550f-11e4-b616-00144feab7de> (дата обращения: 15.06.2021).

²² Ibid.

²³ Osborn A., James W. UK's anti-EU leader accused of being apologist for Russia before vote // Reuters. URL: <https://2https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-britain-politics-idUSBREA2Q16A20140327> (accessed: 08.02.2021).

²⁴ Believe in Britain. UKIP Manifesto 2015. P. 67. [Электронный ресурс]. URL: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIP_Manifesto2015.pdf (accessed: 12.11.2021).

столько возбуждены, что фактически свергли своего избранного лидера. Это спровоцировало Путина, и я думаю, что, честно говоря, у Евросоюза на Украине руки в крови», — так комментировал лидер партии Найджел Фарадж начало украинского кризиса²⁵.

В британском кейсе правого популизма существенную роль играют «особые отношения» с США, определяющие внешнеполитический курс Великобритании и ограничивающие пространство для манёвра, в том числе и в отношениях с Россией. ПНСК является верной сторонницей членства в НАТО и мыслит Британию частью не Европы, а «англосферы»²⁶. Как следствие, ПНСК воспринимает Россию не более как союзника по борьбе с исламским терроризмом. В отличие от АдГ и Фидес, ПНСК фактически отвергает идею солидарности как с государствами-членами, так и в отношении России. Восприятие ПНСК России находится вне сферы действия принципа солидарности.

Представляется логичным, что германские Левые будут демонстрировать позитивное отношение к России и выберут стратегию солидаризации с ней, ориентируясь на социалистическое прошлое ГДР. У немецких «Левых» пророссийская ориентация присутствует в явном виде: подобно АдГ, эта партия провозглашает свою ориентацию на стратегическое сотрудничество с Москвой. Позитивное восприятие России во многом есть следствие антиамериканизма, антиимпериализма и антимилитаризма левых популистов: они рассматривают НАТО как выбор в пользу войны, а Россию — в пользу мира [Chrissygelos 2010].

Представления Левых относительно безопасности в Европе диссонирует с реалиями трансатлантического сотрудничества: «Левые» считают, что Брюсселю необходимо развивать более тесные контакты со своими соседями, отказавшись от нормативной повестки прошлого. ЕС и Россия могут совместно противостоять «военственной деятельности» Вашингтона в Европе и установить прочный мир на континенте, создав общеевропейскую систему безопасности на основе ОБСЕ (не НАТО), направленную на постепенное разоружение²⁷. «Левые» также выступают против санкционного давления на Россию. Во время российско-грузинского конфликта летом 2008 г. они определённо стояли на пророссийских позициях в Бундестаге и Европейском парламенте [Cadier 2019]. Для деэскалации ситуации кризиса на Украине, по мнению этой партии, требуется активизировать диалог с Москвой путём восстановления работы Совета Россия—НАТО²⁸.

Приведённый пример свидетельствует о том, что левые популисты также демонстрируют альтернативное понимание солидарности: новая европейская солидарность в отношении России должна складываться вместе с реформой ОВПБ и изменением архитектуры европейской безопасности в целом.

Несмотря на зафиксированные выше отклонения от принятого в ЕС понимания солидарности (табл.), отчётливо проявляется ограниченность возможностей транслировать программы и установки популистов во внешнеполитический курс Брюсселя по отношению к России. На дебатах в Европейском парламенте в ходе украин-

²⁵ Osborn A., James W. UK's anti-EU leader accused of being apologist for Russia before vote // Reuters. 27.03.2014. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-britain-politics-idUSBREA2Q16A20140327> (дата обращения: 08.02.2021).

²⁶ Believe in Britain. UKIP Manifesto 2015. [Электронный ресурс]. URL: <https://d3n8a8pro7vnm.cloudfront.net/ukipdev/pages/1103/attachments/original/1429295050/UKIPManifesto2015.pdf> (дата обращения: 12.11.2021).

²⁷ A fundamentally new Common Foreign and Security Policy // DIE LINKE. im Europaparlament. 06.09.2015. URL: https://en.die-linke.de/fileadmin/download/english_pages/programme_of_the_die_linke_party_erfurt_2011.pdf (дата обращения: 08.09.2021).

²⁸ Lösing S. A fundamentally new Common Foreign and Security Policy // DIE LINKE. Im Europaparlament. 2015. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dielinke-europa.eu/de/article/9910.a-fundamentally-new-common-foreign-and-security-policy.html> (дата обращения: 08.09.2021).

Таблица
Внешиполитические ориентации по отношению к России и европейской солидарности

Партия	Внешиполитические ориентации по отношению к России	Позиция относительно европейского консенсуса в отношении России
АдГ	Стратегический союз	Альтернативная солидарность
Левые	Стратегический союз	Альтернативная солидарность
Фидес	Прагматичная пророссийскость	Конфликтующая солидарность
ПНСК	Амбивалентность	Отрицание солидарности как принципа

Источник: составлено авторами.

ского кризиса популистские партии прибегали к пророссийской риторике, но не пытались её институционализировать, например, в рамках совместных резолюций. Иными словами, популистские партии бросают вызов солидарности, достигнутому европейскому консенсусу во внешней политике ЕС, но не стремятся повлиять на результаты этой политики. Во многом этот тезис проявился на не вошедшем в наш анализ примере «коалиции перемен» Лиги и «Движения 5 звёзд» в Италии в 2018–2019 годах [Cadier 2019].

Популисты идут на уступки мейнстриму при формировании пророссийской повестки на уровне ЕС. В голосовании 2019 г. в Европейском парламенте фракция «Идентичность и демократия», куда входит АдГ, поддержала резолюцию о равной вине Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Правда, по сравнению с другими голос фракции «Идентичность и демократия» был наименее сплочённым: из 73 её членов 16 воздержались²⁹.

Казалось бы, популизму у власти доступно больше рычагов для изменения ситуации, если принять во внимание, что решения по санкциям Совет ЕС принимает на основе консенсуса. Тем не менее Фидес не оспаривала и не ограничивала использование санкций против России. Таким образом, в настоящее время солидарность и общеевропейский консенсус демонстрируют устойчивость к альтернативным версиям

внешнеполитического курса в отношении России, которые декларируют популисты. Более того, судя по продлению антироссийских санкций Советом ЕС каждые полгода, несмотря на устойчивость популистского феномена, можно предположить, что, сталкиваясь с возражениями популистов, европейский консенсус не ослабевает, а скорее проходит очередной «тест на прочность». Выдерживая каждый такой тест, как ни парадоксально, он скорее укрепляется вопреки программам и логике популистов.

* * *

Природа популизма как идеологии, позволяющей сочетать взаимоисключающие элементы, препятствует приведению внешнеполитических ориентаций популистов к единому знаменателю и их трансляции в политический курс при приходе к власти. Тема России используется популистами инструментально, для демонстрации антисистемности своей партии и отстройки от позиций истеблишмента. Солидарность в отношении России понимается ими скорее как ещё одна возможность переложить на Брюссель ответственность за неэффективные и/или непопулярные решения. Само восприятие России зависит от пространства для манёвра, которое есть во взаимодействии популизма с мейнстримом в национальном контексте.

Проведённый анализ подтверждает озвученный в академической литературе тезис, что популистские партии продвигают дис-

²⁹ EKRE MEP abstains from European remembrance resolution vote // ERR. 25.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://news.err.ee/984071/ekre-mep-abstains-from-european-remembrance-resolution-vote> (accessed: 14.10.2021).

курс Realpolitik и примат национальных интересов в международной политике. Эта позиция противоречит ценностям и идеям европейской внешней политики. Популисты, особенно правого толка, укрепляют своё видение суверенных государств, отсылаясь на универсальные ценности или предшествующие институциональные обязательства [Cryssogelos 2017].

Проведённое исследование выявило и новые эффекты. Левые и правые популисты конструируют альтернативные подходы (разной степени радикальности) к реализации принципа солидарности во внешнеполитическом курсе ЕС по отношению к России. При этом континентальные популисты выступают за то, чтобы (как минимум ситуативно) реформировать принцип солидарности и/или выстроить контр-солидарность, тогда как британские популисты эксплицитно отвергают солидарность как таковую. В конструкциях левых и правых популистов прослеживается противопоставление народа и элиты, переносимое на область мировой политики.

Среди правых популистов лишь Фидес не только концептуально одобряет, но и прямо поддерживает внешнюю политику

ЕС, при этом солидаризируясь с государством, не входящим в интеграционное объединение (Россия), что ставит под сомнение сам принцип европейской солидарности. Отметим, что левые популисты, судя по казусу немецких «Левых», менее радикальны в своих подходах к солидарности, чем их коллеги из АдГ, поскольку они принимают идею внешней политики ЕС, хотя и выдвигают ряд серьёзных требований к её реформе. Ситуация с левопопулистскими ориентациями относительно солидарности требует дальнейшей разработки для подтверждения высказанного выше тезиса ввиду анализа в работе единичного случая данного типа популистской партии

В то же время популистские подходы к отношениям с Россией, их аргументы и логика при сложностях с институционализацией не достигают цели — демонтажа консенсуса и солидарности на уровне ЕС в отношении России. Вопреки программам и заявлениям популистских партий, движений и их лидеров, в рутинных столкновениях с популистскими «спарринг-партнёрами» существующий европейский консенсус скорее укрепляется, нежели размывается.

Список литературы

- Бышок С.О. Образ России в программных установках партий-евроскептиков: сравнительный анализ: Дис. ... канд. полит. наук. М.: МГУ им. Ломоносова, 2020. 274 с.
- Мусихин Г.И. Популизм: структурная характеристика политики или ущербная идеология? // Полития. 2009. № 4 (55). С. 40–53.
- Потёмкина О.Ю. Вишеградская группа и «гибкая солидарность» // Современная Европа. 2016. № 6 (72). С. 43–52.
- Brubaker R. Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective // Ethnic and Racial Studies. 2017. Vol. 40. No. 8. P. 1191–1226.
- Cadier D. 'How populism spills over into foreign policy' // Carnegie Europe. 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/78102> (accessed: 15.06.2021).
- Cadier D., Lequesne C. How Populism Impacts EU Foreign Policy? // EU LISTCO. Policy Paper. 2020. 12 p.
- Chryssogelos A. Is there a populist foreign policy? // Chatham House Research Paper. 2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-03/2021-03-26-populist-foreign-policy-chryssogelos.pdf> (accessed: 15.06.2021).
- Chryssogelos A. Populism in foreign policy. The Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-467> (accessed: 15.06.2021).
- Chryssogelos A. Undermining the West from Within: European Populists, the Us and Russia // European View. 2010. Vol. 9. I. P. 267–277.
- Destradi S., Plagemann J. Populism and International Relations: (Un)predictability, personalisation, and the reinforcement of existing trends in world politics // Review of International Studies. 2019. Vol. 45. No. 5. P. 711–730.

- Diesen G.* Russia as an international conservative power: the rise of the right-wing populists and their affinity towards Russia // *Journal of Contemporary European Studies*. 2020. Vol. 28. № 2. P. 182–196.
- Giurlando P.* Populist foreign policy: the case of Italy // *Canadian Foreign Policy Journal*. 2021. Vol. 27. No. 2. P. 251–267.
- Gould C.* Solidarity between the national and the transnational: what do we owe to “outsiders”? // *Transnational Solidarity* / ed. by H. Krunke, H. Petersen, I. Manners. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. P. 22–41.
- Grimmel A., Giang S.* Solidarity in the European Union: A Fundamental Value in Crisis. Berlin: Springer, 2017. 175 p.
- Manners I.* Symbols and Myths of European Union Transnational Solidarity // *Transnational Solidarity* / ed. by H. Krunke, H. Petersen, I. Manners. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. P. 76–100.
- Mudde C.* The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave. C-REX WORKING PAPER SERIES. 2014. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-working-paper-series/Cas%20Mudde:%20The%20Study%20of%20Populist%20Radical%20Right%20Parties.pdf> (accessed: 08.02.2021).
- Mudde C.* The Populist Zeitgeist // *Government and Opposition*. 2004. Vol. 39. No. 4. P. 541–563.
- Pirro A., Kessel S.* United in opposition? The populist radical right's EU-pessimism in times of crisis // *Journal of European Integration*. 2017. Vol. 39. No. 4. P. 405–420.
- Putnam R.D.* Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // *International Organization*. 1988. Vol. 42. No. 3. P. 427–460.
- Stanley B.* The thin ideology of populism // *The Journal of Political Ideologies*. 2008. Vol. 13. No. 1. P. 95–110.
- Vossen K.* Classifying Wilders: The Ideological Development of Geert Wilders and His Party for Freedom // *Politics*. 2011. Vol. 31. No. 3. P. 179–189.

FLASE ALARM? POPULISM AS A CHALLENGE TO SOLIDARITY IN EU POLICY TOWARDS RUSSIA

SERGEY SHEIN
ARTYOM ALIKIN

HSE University, Moscow, Russia

Abstract

Being a large-scale internal challenge to the European integration project, the growth of populism in the EU has a projection on the foreign policy of both national states and the European Union. A Russian vector of the EU's policy is a domain where the deviation of populist programs and strategies from the positions of the mainstream parties is most evident. In this regard, it is crucial to understand how the foreign policy orientations of European populists affect the most important principle and value of the EU – solidarity, in particular, in the EU's foreign policy towards Russia. Using an ideological approach to understanding populism and a comparative analysis of the foreign policy programs of populist actors in Germany, United Kingdom and Hungary, the article concludes that the deviations of right-wing populist parties (AfD, UKIP, Fidesz) and left-wing populist (“Left”) are expressed in different ways, degrees and suggest different accents: the “strategic alliance” towards Russia among in the cases of AfD and the “Left”; pragmatic pro-Russian attitude in the case of Fidesz, ambivalent attitude in the case of UKIP. Despite the predominantly pro-Russian rhetoric, populism in power and in the opposition does not have the capacity to dismantle solidarity and the European consensus in the EU's foreign policy towards Russia.

The nature of populism as an ideology and the instrumental use by left and right populists of the "Russian issue" for "domestic consumption" are a significant barrier to a real challenge to the EU's policy towards Russia. Moreover, the populists serve as a convenient "sparring partner" to strengthen the existing solidarity in the EU on the issue of relations with Russia.

Keywords:

populism; EU foreign policy; solidarity; Russia.

References

- Bishok S. O. (2020). *Obraz Rossii v programnykh ustanovkakh partij-evroskeptikov: sravnitel'nyj analiz* [Image of Russia in Program Guidelines of Eurosceptic Parties: Comparative Analysis]. Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata politicheskikh nauk. Moscow: MSU. 274 p.
- Brubaker R. (2017). Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective. *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 40. No. 8. 1191–1226.
- Cadier D. (2019). *How populism spills over into foreign policy*. Carnegie Europe. URL: <https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/78102> (accessed 15.06.2021).
- Cadier D., Lequesne C. (2020). *How Populism Impacts EU Foreign Policy?* EU LISTCO. Policy Paper. 12 p.
- Chrysosgelos A. (2010). Undermining the West from Within: European Populists, the Us and Russia. *European View*. Vol. 9. I. P. 267–277.
- Chrysosgelos A. (2017). Populism in foreign policy. *The Oxford Research Encyclopaedia of Politics*. URL: <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-467> (accessed: 15.06.2021).
- Chrysosgelos A. (2021). *Is there a populist foreign policy?* Chatham House Research Paper. URL: <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-03/2021-03-26-populist-foreign-policy-chrysosgelos.pdf> (accessed: 15.06.2021).
- Destradi S., Plagemann J. (2019). Populism and International Relations: (Un)predictability, personalisation, and the reinforcement of existing trends in world politics. *Review of International Studies*. Vol. 45. No. 5. P. 711–730.
- Diesen G. (2020). Russia as an international conservative power: the rise of the right-wing populists and their affinity towards Russia. *Journal of Contemporary European Studies*. Vol. 28. No. 2. P. 182–196.
- Gould C. (2020). Solidarity between the national and the transnational: what do we owe to "outsiders"? In: Krunke H., Petersen H., Manners I. (eds) *Transnational Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 22–41.
- Grimmel A., Giang S. (2017). *Solidarity in the European Union: A Fundamental Value in Crisis*. Berlin: Springer. 175 p.
- Manners I. (2020). Symbols and Myths of European Union Transnational Solidarity In: Krunke H., Petersen H., Manners I. (eds) *Transnational Solidarity*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 76–100.
- Mudde C. (2014). *The Study of Populist Radical Right Parties: Towards a Fourth Wave*. C-REX WORKING PAPER SERIES. Available at: <https://www.sv.uio.no/c-rex/english/publications/c-rex-working-paper-series/Cas%20Mudde:%20The%20Study%20of%20Populist%20Radical%20Right%20Parties.pdf> (accessed: 08.02.2021).
- Mudde C. (2004). The Populist Zeitgeist. *Government and Opposition*. Vol. 39. No. 4. P. 541–563.
- Pirro A., Kessel S. (2017). United in opposition? The populist radical right's EU-pessimism in times of crisis. *Journal of European Integration*. Vol. 39. No. 4. P. 405–420.
- Potemkina O. Y. (2016). Vishegradskaya gruppa i "gibkaya solidarnost". *Sovremennaya Evropa*. No. 6 (72). P. 43–52.
- Putnam R. D. (1988). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. *International Organization*. Vol. 42. No. 3. P. 427–460.
- Stanley B. (2008). The thin ideology of populism. *The Journal of Political Ideologies*. Vol. 13. No. 1. P. 95–110.
- Vossen K. Classifying Wilders: The Ideological Development of Geert Wilders and His Party for Freedom. *Politics*. 2011. Vol. 31. No. 3. P. 179–189.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

ИЛЛЮЗОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА И СНОВА О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДАХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ*

АЛЕКСЕЙ ФЕНЕНКО

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Резюме

Данная статья представляет собой продолжение полемики о количественных методах в международных отношениях. В 2019 г. сразу две группы авторов опубликовали критические отзывы на мою статью «Статистика против истории»: 1) «Второй большой спор в контексте становления российской науки о международных отношениях» (Денис Дегтерёв); 2) «Наука без метода?» (Игорь Истомин, Андрей Байков, Константин Худолей). В данной статье автор последовательно рассматривает аргументы оппонентов и приводит свои контраргументы. Автор указывает, что в естественных науках учёные имеют дело с долгосрочными, относительно стабильными явлениями и процессами. Они объективны и имеют преимущественно повторяющийся характер, что позволяет выявлять устойчивые закономерности в их структуре, поведении, развитии, изменении. Автор указывает, что в гуманитарных науках по-прежнему исключительно важна договорённость по базовым понятиям, то есть научная конвенция. Здесь невозможно выразить математическими символами некое явление, поскольку оно имеет исторический контекст и ценностную нагрузку, изменчиво во времени и само зависимо от переменных. Объекты изучения гуманитарных наук полностью детерминированы социумом, историческим контекстом, установками исследователя. Изменение даже одной из указанных переменных способно привести к изменению смысла строго выверенного понятия, что обесмысливает математическое уравнение, положенное в его основу. Они не существуют вне человека и помимо человека, что делает невозможным разрыв с дескриптивной логикой Аристотеля. Попытки такого разрыва (а именно его мы часто видим в тех самых «количественных методах») приводит к появлению методологических проблем, а зачастую и к возникновению методологических бессмыслиц.

Ключевые слова:

теория международных отношений; методология международных исследований; количественные и качественные методы исследований; естественные науки; гуманитарные науки; математические методы; математическая статистика; индексы; рейтинги.

* Настоящий материал представляет собой ответ А.В. Фененко на критические отзывы относительно его статьи, опубликованной в журнале «Международные процессы» в 2018 г. В этой связи он публикуется в виде, в котором он был представлен изначально без каких-либо уточнений на стадиях рецензирования и редактирования (кроме технической корректуры).

Дата поступления рукописи в редакцию: 24.06.2021

Дата принятия к публикации: 06.08.2021

Для связи с автором / Corresponding author:

Email: afenenko@gmail.com

Опубликовав в 2018 г. на страницах «Международных процессов» статью о количественных методах в международно-политических исследованиях [Фененко 2018: 56–83], я, как автор, был приятно удивлён тому, какой отклик она вызвала у читателей. За минувшие три года я получил как минимум три отклика [Дегтерёв 2019; Истомин, Байков, Худолей 2019; Юдин 2020], причём один из них написали сразу три автора. Призыв этих исследователей начать полемику вокруг моей статьи вызывает безусловную благодарность. Однако с рядом их аргументов трудно согласиться, тем более что некоторые высказанные авторами критические замечания, на мой взгляд, скорее подтверждают, чем опровергают мои выводы. Поэтому в данной статье я постараюсь ответить на критику и обосновать свой главный тезис: количественные методы в гуманитарных науках напрямую зависят от нормативно-ценностного консенсуса исследователей, и потому с изменением системы ценностей мы, применяя одни и те же количественные методы, получим абсолютно разные результаты.

1

Ключевая методологическая проблема, которую А.А. Байков, И.А. Истомин и К.К. Худолей квалифицируют как глубоко ошибочную, обозначена ими как «логическая интуиция». Они пишут, что «проблема состоит не в том, какое семейство методов выбрать, а в том, чтобы любое исследование не сводилось к логико-интуитивному высказыванию, эмпирическая и теоретическая составляющие которых жили бы каждая своей отдельной жизнью, а общая методология угадывалась бы только по косвенным признакам, если вообще систематически применялась» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 65]. К сожалению, определения столь опасной «логической интуиции» в статье нет: его подобие можно выловить только из следующей далее пространной цитаты: «Не случайно в МГИМО в 1990-х годах под влиянием работ М.А. Хрусталёва под методологией стало подниматься

именно такое синкретическое единство теоретического подхода, метода (под которым он понимал прежде всего логико-интуитивный метод структурированного анализа и рассуждения, и противопоставленного ему более-менее формального рассуждения) и конкретных информационно-аналитических методик... Так, традиционному методу (историко-нарративному, или логико-интуитивному) и отчасти логическому моделированию соответствует набор качественных методик проведения исследования, тогда как методы формального и количественного моделирования соотносятся с преимущественным использованием количественных методик» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 69]. *Видимо, логическая интуиция — это для авторов способность формировать логическую схему на основе фактов и процессов, когда исследователь пришёл к результату отчасти интуитивно.*

Специальная литература даёт похожее определение логико-интуитивного анализа как исследовательской практики, в ходе которой специалист, используя свои знания, логику и интуицию, создаёт модель изучаемой ситуации или процесса [Баранчев, Масленникова, Мишин 2014: 617–627]. Данная модель чаще всего конструируется на основе систематизации содержательных понятий, тесно связанных с предметной спецификой изучаемого явления и эмпирическим массивом относящихся к нему информационных данных. К логико-интуитивным методам в теории систем управления относятся, например, методы тестирования, «дерева» целей, SWOT-анализ, матричный метод Бостонской консультативной группы и методы творческих совещаний [Мишин 2015: 135–199]. Методы, как видим, вполне научные и признанные: на первый взгляд даже не понятно, почему мои оппоненты призывают к борьбе с «логической интуицией».

Ещё более критическое мнение высказывают авторы в отношении методов гуманитарных наук — историко-нарративного и логико-интуитивного, а также тех, кто использует данные методы в своих иссле-

дованиях: «...сообщество международников в России по-прежнему разделено на тех, кто владеет современной методологией исследований, количественными или качественными методами, и тех, кто предпочитает опираться на традиционный историко-нарративный, или логико-интуитивный подход, компенсируя дефицит компетенций напористым критическим настроем в отношении первой охарактеризованной группы исследователей» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 65]. Историко-нарративный подход, таким образом, не только не современный, но ещё и как минимум недостаточно валидный, что ставит под сомнение не только достигнутые с его помощью результаты, но и научную компетентность пользующегося им исследователя. Увеличивая градус критического настроя, авторы словно не замечают, как приходят к парадоксальному выводу о некоем «ненормальном» характере науки о международных отношениях, в противовес «нормальным» естественным наукам. «Можно найти аргументы, — читаем в статье, — обосновывавшие допарадигмальный, по Куну, уровень зрелости международно-политических наук, не достигших пока стадии “нормальной науки”» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 66].

Здесь я вынужден огорчить авторов: естественные науки вовсе не так точны, как это, видимо, им представляется. Не случайно, что они называются именно естественные, а не точные науки, как математика или логика, которые совершенствуют методы познания, а не познают сам окружающий мир. Стоит, думаю, напомнить, что методологически все современные естественные науки построены на принципах английского философа Дэвида Юма (1711–1776), который отделил «физику» от «метафизики». Границы нашего познания, по Юму, определяются опытом (экспериментом), а что лежит за его пределами — Бог или материя — человеческому сознанию неизвестно и не может быть познано с помощью математического аппарата. Естественные науки в «парадигме Юма» (а мы с некоторыми вариациями и допол-

нениями живём в ней до сих пор), — это набор гипотез, выведенных на основе эмпирических знаний об окружающем нас мире и контролируемых экспериментальным познанием, за границей которого лежит спекулятивное познание.

В любой естественной науке есть фундаментальные проблемы, которые не проверяются эмпирически. Ни один физик или биолог пока не в состоянии ответить на базовые вопросы бытия о существовании Бога или загробной жизни, наличия или отсутствия у человека и других живых существ души, о природе времени и пространства: о них мы знаем так же мало, как и в античности. Наши современные представления о зарождении жизни на Земле, эволюции, антропогенезе и даже строении нашей планеты — это пока преимущественно набор гипотез и моделей, которые невозможно ни полностью подтвердить, ни полностью опровергнуть. Соответственно, во всех естественных и точных науках существуют аксиомы — исходные положения теории, которые принимаются в её рамках как истинные без требования доказательства и используемые при доказательстве других её положений. (Использование естественными науками математического аппарата — это, кстати, тоже аксиома Галилео Галилея, согласно которой природа общается с человеком математическим языком: без неё естественные науки вновь станут философией.) Выдвигая гипотезы, специалисты в области естественных наук не могут избежать «логической интуиции» ввиду ограниченности возможностей познания и без знания фундаментальных законов бытия, отнесённых к разряду «метафизики».

Авторы статьи предлагают международникам следовать методологии естественных («нормальных» в их определении) наук, словно не замечая, что сами физики уже без малого сто лет говорят о методологическом кризисе своей науки. Его начало было связано с появлением эмпириокритицизма, когда австрийский физик Эрнст Мах (1838–1916) и швейцарский философ Рихард Авенариус (1843–1896) доказали,

что физический ряд элементов познаётся человеком через его восприятие нашим сознанием и психикой, а насколько оно соответствует объективной реальности — это отдельный вопрос. Кризис усугублялся в связи с явлением, получившим название «потеря / исчезновение материи» из-за серии научных открытий конца XIX века: от электромагнитного излучения и радиоактивности до расщепления атомного ядра и сомнений в реальности абсолютного пространства. Французский математик Анри Пуанкаре (1854–1912) в работе «Ценности науки» утверждал, что «электронная теория материи» подрывает принципы сохранения вещества и энергии: у физиков создалось впечатление, что атом дематериализуется, а «материя исчезает» [Пуанкаре 1990]. Попытки В.И. Ленина вернуться в книге «Материализм и эмпириокритицизм» [Ленин 1968(1909)] к позитивизму XIX в. не принесли ожидаемого результата: профессиональные физики, по сути, не восприняли (а за пределами СССР даже не заметили) его теорию диалектического материализма и вытекающую из неё теорию “качественных скачков” в эволюции материи¹.

Появление так называемой неклассической физики (квантовой теории и теории относительности) на время отсрочило методологический кризис, но не смогло его остановить. *Во-первых*, изучая новые явления (вроде расщепления атомного ядра, тёмной энергии и античастиц), физики потеряли возможность наблюдать многие из них с помощью визуального опыта. Существование ряда физических явлений и процессов стало достоянием теоретического познания: допустимости их существования на основе логико-математических моделей [Kragh 1999]. *Во-вторых*, новые физические открытия зачастую вступали в противоречия с законами классических

разделов физики — механики и термодинамики [Храмов 1983: 390–394]. В современной физике сосуществуют две параллельные друг другу теоретические системы:

- стандартная модель (СМ) — теоретическая конструкция в физике элементарных частиц, описывающая электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие всех элементарных частиц;

- общая теория относительности (ОТО), описывающая тяготение как проявление геометрии пространства-времени и постулирующая, что гравитационные эффекты обусловлены деформацией самого пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии [Томилин 2006].

Схожие процессы произошли в XX в. и в другой естественной науке — биологии. В ней, как и в физике, остаётся незавершённым большой методологический спор между эволюционистами и креационистами, несмотря на многочисленные заявления представителей обеих школ о смерти своих оппонентов. По ожесточённости эти споры даже превосходят все «три больших спора» в теории международных отношений, однако на этой основе никто не отрицает биологию как науку. Одновременно учёные с возникновением в 1953 г. молекулярной биологии лишились возможности проводить визуальные эксперименты целого ряда явлений [Стернберг 2002], перейдя на уровень моделирования, подтверждающего или опровергающего гипотезы. Изучение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) потребовало от биологов выйти на уровень настолько малых единиц, что непосредственный опыт стал всё больше, как и у физиков, заменяться теоретическими моделями. Единственный способ получить изображение ДНК — это электронный микроскоп, но качество изображения при его использовании пока далеко от точности. *И физика, и*

¹ «Впрочем, для Ленина метафизический материализм (как и для Плеханова) недостаточен, он должен быть восполнен диалектическим материализмом. В самом деле, вся тайна “превращения” внешней энергии в “факт сознания”, будучи уложена в рамки “диалектически” обусловленного “скачка”, не может уже тревожить поклонника диалектического материализма. Всё это философски убого; если угодно, всё это было бы и смешно, если бы не было столь трагично», — писал об этом историк русской философии В.В. Зеньковский [Зеньковский 2001: 707].

биология все больше отходят от своей базовой методологической посылки: им приходится переходить от опыта к изучению мира посредством теоретического моделирования зачастую без опыта, что разрушает прежнее понятие опыта и увеличивает роль логико-интуитивного метода познания.

Эти процессы в естественных науках — лучшее опровержение процитированного выше пассажа о допарадигматическом уровне исследований, не достигших пока стадии «нормальной науки», когда «между учёными устоялись бы широко разделяемые конвенции о предмете и методах, о канонных исследованиях и их эталонных образцах; о неоспариваемых началах науки — выверенных дефиниций её фундаментальных категорий и понятий» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 66]. Под такое описание «нормальной» науки подпадает разве что механика XVIII века, которая давно стала достоянием учебников по истории физики. Современная физика — это дискуссия по комплексу проблем, а не раз и навсегда данные «неоспоримые начала». Далеко не все физики согласны с предположением А. Эйнштейна об отсутствии нединамических частей геометрии пространства-времени; не все физики принимают четырёхмерное «пространство Минковского»² в качестве геометрической интерпретации пространства-времени; в современной физике нет консенсуса о «неоспоримых началах» между представителями специальной теории относительности (СТО) и ОТО: в первой пространство-время является плоским, во второй — искривлённым [Lykken 2010: 101–109]. Если за эталон «нормальности» принимать позитивистскую теорию познания позапрошлого столетия, то авторам следует признать: у историка, изучающего франкскую хронику X века, научной «нормальности» больше, чем, например, в уравнениях австрийского математика Курта Гёдля, доказывающего теоретическую воз-

можность изменения хода и направления течения времени во Вселенной, или в теории спонтанно делящихся изомеров советского физика Георгия Флёрва.

Авторы статьи утверждают, что развитие социальных наук, в которых, как правило, соседствуют несколько теоретических традиций, не вполне постигается и описывается логикой Куна [Истомин, Байков, Худолей 2019: 67]. Здесь хочется вновь напомнить, что в современной физике мы имеем, как минимум, четыре различных механики: классическую (ньютоновскую), релятивистскую, квантовую и стоящую особняком квантовую теорию поля. Например, в релятивистской механике события происходят в четырёхмерном пространстве Минковского, объединяющем физическое трёхмерное пространство, хотя далеко не все физики признают адекватность этой модели [Паули 1991]. Второй закон Ньютона превратился в релятивистское обобщение: в инерциальных системах отсчёта ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе. В квантовой механике для проверки выполнения закона сохранения энергии необходимо провести измерение, представляющее собой взаимодействие исследуемой системы с неким прибором, поскольку с его наличием система более не является изолированной и её энергия может не сохраниться. Авторы снова влекут нас к методологии естественных наук времен Петра I и Ломоносова, когда «ньютоновские начала» казались первоосновой.

Ещё интереснее тезис авторов о том, что политическая философия «не является, строго говоря, наукой», а история международных отношений также не может быть отнесена к социальным наукам в современном понимании [Истомин, Байков, Худолей 2019: 69]. Оставляя в стороне вопрос о том, специалистами в области какой

² Пространство Минковского — четырёхмерное псевдоевклидово пространство сигнатуры, предложенное в качестве геометрической интерпретации пространства-времени специальной теории относительности. Предложено немецким математиком Германом Минковским (1864–1909).

науки являются тогда наши уважаемые авторы (явно не химии и не экономики!), остановлюсь на их тезисе, что содержанием деятельности политической философии не выступает получение «объективных знаний о мире в форме проверяемых научных гипотез» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 69]. Могу только порекомендовать авторам ознакомиться с работами современного американского физика Ли Смолина [Smolib 2007], который даже в СМ выделил три базовые проблемы: построение универсальной общей теории, поиск физического (не только математического) обоснования квантовой механики и обобщение её до теории с более понятным физическим смыслом. Иначе говоря, современная физика пока не имеет физического (то есть эмпирического) обоснования целых разделов своей науки: они остаются математической моделью, то есть гипотезой.

На этом фоне вызывает недоумение фраза авторского коллектива: «речь фактически идёт о делении исследователей на тех, кто ищет причины наблюдаемых явлений и стремится к концептуальному раскрытию лежащих в их основе каузальных зависимостей, и тех, кто занимается эмпирическим подтверждением уже высказанных предположений о природе междисциплинарно-политических феноменов». На следующей странице авторы называют это «патологическим состоянием науки» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 67, 68]. Возникает вопрос: разве в «нормальных» (с точки зрения авторов) науках дело обстоит как-то иначе? С того момента, как Альберт Эйнштейн предложил в 1905 г. СТО, физики разделились на два лагеря: тех, кто вырабатывает новую общую теорию физической структуры мира, и тех, кто ищет ей экспериментальное подтверждение (последнее означает, что фундаментальные для СТО преобразования Лоренца имеют скорее математическое, а не физическое, то есть экспериментальное, обоснование). Палеонтология с появлением в 1950-х годах молекулярной биологии также разделилась на традиционные дискуссии вокруг эволюционной теории и молекулярную палеон-

тологию, которая изучает биохимическими методами ископаемые геологические объекты. Не ясно, почему наши авторы не называют это деление физиков или палеонтологов «патологическим» для современного состояния науки (оно, наверное, в самом деле «патологическое» с точки зрения методологии науки образца 1720 года).

Идею создания сугубо научного мета-языка, очищенного от любых метафизических двусмыслиц, выдвигал ещё австрийский философ Людвиг Витгенштейн (1889–1951). Он предположил, что основная проблема учёных как в естественных, так и в гуманитарных науках лежит в неверных философских посылах: учёные изучают факты, а не объекты [Витгенштейн 2018]. Простые факты должны описываться простыми предложениями, сложные — сложными предложениями. Стоит ли напоминать, что попытка Л. Витгенштейна оказалась неудачной? *Во-первых*, как указали неопозитивисты «Венского кружка», сведение языка к определению терминов ставит вопрос об определении новых базовых посылок, что означает редукцию в бесконечность. *Во-вторых*, объект исследования оказывается зависим от используемого языка, то есть от категорий нашего мышления, что означает отказ от самого понятия объективной истины как существующей вне человеческого сознания. Удивительно, что в 2019 г. мы всё ещё слышим призывы вернуться к реализации идей Витгенштейна, которые были признаны тупиковыми в философии 1950-х годов.

В естественных науках давно произошёл переход от классической (механической) к неклассической, а затем и к постнеклассической науке. Если первая из них предполагает жесткую иерархию причинно-следственных связей, вторая признаёт сложность и многовариативность объективных процессов, то третья допускает возможность множественности теорий для объяснения текущих явлений и процессов [Алексеева 2017: 30–41]. Уже неклассическая картина мира в физике начала XX века строилась на оспаривании универсальности законов классической механики и тер-

модинамики, отвергая их жёсткий детерминизм. Постнеклассическая наука, начавшая своё утверждение через синергетику 1970-х годов, предполагает взгляд на естественные науки как на систему, которая не может находиться в стабильном состоянии — она постоянно меняется и требует обновления теорий познания [Пригожин, Стенгерс 1986: 229]. Традиционные различия между естественными и гуманитарными науками смотрятся иначе, чем столетия назад. Естественные науки сблизились с гуманитарными, отказавшись от жёсткого детерминизма и единственно возможного причинного объяснения наблюдаемых явлений; гуманитарные сблизились с естественными через идею включённости человека и общества в естественную среду жизнедеятельности — биосферу, по терминологии В.И. Вернадского.

Наука о международных отношениях — такая же наука, как и все остальные. Строго говоря, она не лучше и не хуже других гуманитарных или естественных наук: у неё есть свой объект (изучение межгосударственного взаимодействия), предмет (выражение этого взаимодействия в нормативных и / или институциональных формах) и методология. Отрицать её реальность — это все равно что отрицать, например, реальность химии на том основании, что она не делит атомы, в то время как физика расщепляет атомное ядро. В науке о международных отношениях есть свои научные школы, которые по-разному решают различные проблемы, но это явление присутствует практически в любой современной науке. Естественные науки без малого столетия назад признали невозможность преобладания одного методологического направления, сближившись в этом с науками гуманитарными. В этой связи противопоставлять количественные методы некой опасной «логической интуиции» методологически как минимум некорректно.

2

Не таинственная «логическая интуиция» разделяет гуманитарные и естественные науки — логико-интуитивные методы дав-

но используются в обеих группах наук. Линия раздела проходит по другим критериям, которые вскрыл австрийский философ Карл Раймунд Поппер (1902–1994). Гуманитарные (и социальные, как их порождение) науки строятся в дескриптивной логике древнегреческого философа Аристотеля (384–322 гг. до н.э.), которая требует жёсткого определения базовых посылок и терминов; в естественных науках, построенных на номиналистской теории английского философа Уильяма Оккама (ок. 1285–1347), не обязательно давать жёсткие определения терминов: здесь важнее изучать их свойства, поведение, функции. «Мы всегда сознаём, что наши термины несколько неясны (поскольку мы научились использовать их только в ходе практических применений), и мы достигаем точности не путём уменьшения связанного с ними полумрака неясности, а, скорее, действуя в нём и тщательно формулируя наши утверждения таким образом, чтобы возможные оттенки значений используемых терминов не играли особой роли», — писал о этом К.Р. Поппер [Поппер 1992].

В естественных науках учёные имеют дело с долгосрочными, относительно стабильными явлениями и процессами. Они объективны и имеют преимущественно повторяющийся характер, что позволяет выявлять устойчивые закономерности в их структуре, поведении, развитии, изменении. Скорость или радиоволны существуют вне нас, помимо нас и не зависят от наших представлений. В такой ситуации исследователи в самом деле могут позволить себе известные терминологические вольности, о которых писал ещё древнегреческий философ Эвбулид (IV в. до н.э.): «С какой скоростью должен передвигаться воздух, чтобы мы считали его ветром?» или «Сколько песчинок нужно для того, чтобы песчаная горка стала дюной?» Здесь можно в самом деле заменять термины математическими символами и математическим аппаратом.

В гуманитарных науках по-прежнему исключительно важна договорённость по базовым понятиям, то есть научная кон-

венция. Здесь невозможно выразить математическими символами некое явление, поскольку оно имеет исторический контекст и ценностную нагрузку, изменчиво во времени и само зависимо от переменных. Объекты изучения гуманитарных наук полностью детерминированы социумом, историческим контекстом, установками исследователя. Изменение даже одной из указанных переменных способно привести к изменению смысла строго выверенного понятия, что обесмыслит математическое уравнение, положенное в его основу. Они не существуют вне человека и помимо человека, что делает невозможным разрыв с дескриптивной логикой Аристотеля. Попытки такого разрыва (а именно его мы часто видим в тех самых количественных методах) приводят к появлению методологических проблем, а зачастую и к возникновению методологических бессмыслиц.

Аналитические конструкты, по терминологии немецкого социолога М. Вебера, в гуманитарных (и производных от них социальных) науках изначально условны и призваны только сформулировать аналитический аппарат и / или методологический инструментарий, который никогда не соответствует реальности. Такого «феодализма» и «капитализма», как их описал К. Маркс, не существовало никогда и ни в одной стране мира: это искусственный аналитический конструкт, созданный для описания определённых социальных явлений и процессов [Блок 2003]. Никогда не существовало феодалов или крестьян вообще: были английские, французские, испанские, немецкие дворяне и крестьяне, у которых различались правовой статус, культура, мировоззрение и др. Не существовало и обобщённой «протестантской этики», которую выделил М. Вебер [Вебер 1990: 44–271]: нормативная этика англикан и адвентистов седьмого дня очень сильно отличается друг от друга, хотя и те и другие — условные протестанты. Объекты изучения естественных наук существуют в окружающем нас мире; объекты изучения гуманитарных наук существуют как аналитические конструкты, что обуславливает

их динамичность и нестабильность. Если, например, мы завтра изменим определение бозона или нейтрона, они продолжают существовать в окружающем мире; если мы откажемся от термина «феодал», то феодалы не будут существовать как объект изучения. В этой связи при изменении смысла понятия «феодал» его прежнее математическое выражение должно будет подвергнуться ревизии.

Термины гуманитарных наук меняют своё значение в связи с изменением историко-политического контекста и подходов исследователей. Можно выразить математическим символом понятие скорости или частоты: они существуют вне человека и не имеют жёсткой привязки к временному промежутку. Между тем невозможно выразить математическим символом «демократию» как «власть народа», ибо сразу встают вопросы: 1) какую общность людей мы считаем народом? 2) в какой исторический период времени мы помещаем эту общность? 3) что следует понимать под реализацией права народа на власть? Определив их, мы, в свою очередь, поставим термин «демократия» в зависимость от понимания категорий «общности» и «права». Изменение даже одной из указанных переменных приведёт к изменению смысла понятия «демократия», что обесмыслит само изначально выверенное математическое уравнение.

В науке о международных отношениях термины имеют во многом ценностную основу, что обнуляет попытку их абсолютной математизации. Дело здесь даже не в политических симпатиях к демократии, или авторитаризму, или даже реализму, или либерализму: проблема глубже. «В случае с МО обособление международно-политических дисциплин от прочих наук об обществе и человеке стало результатом шока двух мировых войн, а чуть позднее, в 1960-х, — общей тенденции к “модернизации” социогуманитарного знания и связанной с этим профессионализации относящихся к нему наук», — пишут авторы [Истомин, Байков, Худолей 2019: 65–66]. Тем самым они показывают: зарождение

науки о МО было связано со стремлением предотвратить новую мировую войну, а не с желанием, например, приблизить её или просто отстранённо понаблюдать за ней как за значимым событием. Можно продолжить мысль авторов статьи: современная наука о МО написана в подавляющем большинстве с позиции режимов статус-кво, а не ревизионистов по отношению к Ялтинско-Потсдамскому порядку. Исследователи МО чаще всего разделяют лежащие в его основе морально-этические нормы: равенство народов и рас, формальное равенство государств, ограничение суверенного права государств на ведение войны и гарантии прав всевозможных меньшинств. Работа, написанная с иных морально-этических позиций, будет встречена в наши дни с резким неприятием как в России, так и на Западе, даже если приведённый в ней фактологический анализ будет методологически корректным³.

«Обсуждаемый автор уже не первый раз обращает внимание читателя на некую идеологическую “заданность” зарубежной науки о международных отношениях», — пишут А.А. Байков, И.А. Истомин и К.К. Худолей [Истомин, Байков, Худолей 2019: 70]. Скажу больше — идеологическая заданность присуща всей современной и западной, и незападной науке по МО, как и большинству гуманитарных наук. Вопрос в том, какая это «заданность»: открытая (симпатия к определённым политическим режимам или идеологиям), скрытая (написание работы в определённой морально-ценностной шкале) или глубинная (зависимость от определённого нарратива).

Об открытой идеологизации количественных методов нам говорят сами А.А. Байков, И.А. Истомин и К.К. Худолей. «Выбранные А.В. Фененко примеры могут быть показательны с точки зрения влияния экспертных и псевдоэкспертных инструментов на общественное мнение или даже политику отдельных правительств» [Исто-

мин, Байков, Худолей 2019: 71]. Им вторит другой мой оппонент Д.А. Дегтерёв: «в науке о международных отношениях, как и в любой общественно-научной дисциплине, много идеологического. Соответственно, приверженец любого идеологического направления создаёт индексы и рейтинги, исходя из своих ценностных ориентиров» [Дегтерёв 2019: 54]. Но разве политология, как наука о политике, не должна изучать воздействие политических элит на общественное мнение? Если огромная масса математических (точнее, псевдоматематических) индексов — это, по признанию моих оппонентов, инструмент пропаганды, то, как и любая пропаганда, она должна преследовать определённую политическую цель. Тогда надо изучить, какую политическую цель преследуют создатели псевдоматематических индексов, чтобы понять их назначение.

Скрытый вариант идеологизации буквально пронизывает науку о МО через этическую нагрузку терминов. Мы часто пишем о стратегической стабильности, редко задумываясь над тем, а нужно ли сохранять стабильность, или кому-то предпочтительнее её распад и новая схватка идеологических непримиримостей, открывающая окно возможностей. Мы дежурно используем термин «популизм» в негативном ключе, но если, допустим, кто-то хочет нового тура войн и революций, то ничего плохого в популизме для него нет. Мы спорим о «глобальном управлении», редко задумываясь над тем, а нужно ли в принципе управлять миром, или наша мечта — новая борьба великих держав с последующим изменением базовых правил межгосударственного взаимодействия. Мы дискутируем о «глобальных проблемах человечества» и не часто размышляем над тем, что само понятие «глобальные проблемы» — это результат базовых норм нашего, Ялтинско-Потсдамского порядка. В мире, где постулируется естественное неравенство рас и право госу-

³ См., например, дискуссию на сайте Российского совета по международным делам вокруг статьи: Алексеев В.А. Миф ядерного сдерживания // РСМД. 15 марта 2019 г. [<https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/>].

дарств на свободное ведение войн (как, например, в Венском порядке XIX века), нет и не может быть «глобальных проблем человечества»: в нём считается нормой ситуация, когда одни государства решают свои проблемы за счёт других. *Иначе говоря, наша терминология во многом носит нормативно-ценностный характер, и он отражается в выведенных из неё математических индексах, обнуляя их «математичность».*

Существует и более серьёзная, глубинная идеологизация: зависимость выводов от преобладающего нарратива, что исследовал французский философ Мишель Фуко [Фуко 1994]. Американская теория МО построена на прогрессивном нарративе: либеральная демократия американского типа рассматривается как прогрессивный режим по сравнению с остальными, что и породило концепцию «демократического транзита» и саму идею ранжировать страны по рейтингам. Вместе с тем если мы мыслим в категориях цикличной истории — «вечного возвращения», по Ницше, согласно которой человечество обречено проходить одни и те же фазы движения, то многие положения либеральной политической теории будут нам казаться бессмыслицей. Если мы считаем, что любой этнос (культура) имеет ограниченный срок жизни [Шпенглер 1993: 147], то понятия «прогрессивное» и «отсталое» для нас некорректны — народы просто живут в разных возрастных фазах. Если мы считаем, что войны обречены повторяться через определённый промежуток времени [Цымбурский 1996: 27–55], то понятия «борьба за мир» или «кризисное регулирование» для нас абсурдны. Если мы считаем, что международное право, созданное по итогам Второй мировой войны, — это новая норма на все времена, у нас один взгляд на мировые процессы; если мы полагаем, что оно так же преходяще, как все существовавшие ранее правовые системы, — другой; если мы считаем наше право временным отклонением от существовавшей ранее нормы — третий.

Подобное наблюдаем и в естественных науках. Находку ископаемого трилобита,

например, по-разному оценят палеонтологи-эволюционисты и креационисты, а среди эволюционистов её также по-разному оценят дарвинисты и ламаркисты. Другое дело, что окаменелости трилобита существуют объективно: можно провести замеры останков, их биохимический анализ, дать научное описание пластов, где была обнаружена находка, и др. Специалист в области гуманитарных наук вряд ли может дать подобное описание явления, вокруг которого идёт полемика (за исключением особого случая лингвистики): чаще всего дискуссия идёт о сконструированных общностях. Даже если мы изменим название, трилобит останется трилобитом со стандартными показателями, а не превратится в другого ископаемого моллюска эндоцераса. Если же мы изменим смысл терминов «мировой порядок» или «динамическая стабильность», они не сохранятся или перейдут в иное качество, что делает невозможным фиксацию их математически.

Авторы, кажется, сами понимают этот момент. «Количественные методы позволяют сравнить по ограниченному набору заранее выделенных параметров большое число однотипных случаев, каждый из которых предстаёт в качестве единичного наблюдения (в этой связи они также получили обозначение “large-N studies”)), — отмечают они [Истомин, Байков, Худолей 2019: 78]. Обратим внимание на интересную коннотацию: «ограниченный набор», «заранее выделенные [кем? — А.Ф.] параметры», «большое число однотипных случаев». Сразу возникает серия вопросов:

1) кто и как определил эти заранее выбранные параметры?

2) доказано ли, что данные случаи действительно являются однотипными, или их однотипность сконструирована исследователями?

3) на основе каких критериев ограничен набор заранее выбранных параметров?

«Однотипность» объектов и процессов в естественных науках можно сравнить на основе количественных показателей; «однотипность» объектов в гуманитарных науках, многие из которых носят характер

аналитических конструкторов, доказать возможно только аргументацией исследователей. Представим, что некий физик, химик или астроном провёл сложные расчёты, получил математические формулы, узнав затем, что в их основе лежали заранее ложные посылки. Максимум, что он может сделать — это указать на системный характер повторяющейся ошибки в расчётах. Так сделал, например, американский астроном Роберт Рассел Ньютон при анализе «Альмагеста» — сочинения древнеримского астронома и географа Клавдия Птолемея (II век н.э.) [Ньютон 1985].

Иллюстрацией этого положения может служить следующий пассаж из статьи А.А. Байкова, И.А. Истомина и К.К. Худолея: «регулярные отсылки А.В. Фененко к возможности возникновения неограниченного ревизионизма должны рассматриваться в контексте мощной тенденции к социализации в международной политике» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 72]. Определения «социализации» авторы нам, к сожалению, не дают: вероятно, под ней, как и в социологии, понимается процесс интеграции индивида в социальную систему через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями. Государства, дескать, усваивают международно-правовые нормы, установленные после Второй мировой войны, а потому и появление неограниченного ревизионизма исключено. Тут сразу возникают, как минимум, три альтернативные интерпретации происходящего. Возможно, эти нормы действуют лишь до тех пор, пока в мире сохраняется силовое превосходство держав-победительниц во Второй мировой войне. Возможно, эта социализация — процесс построения новой имперской системы в Североатлантическом регионе, в центре которой будут находиться США, а за её пределами — остальной мир. Возможно, для многих государств такая «социализация» — просто приспособление под мир, где пока преобладают победители во Второй мировой войне, и, соответственно, возможность дожидаться своего часа. Проверить это мы пока не можем, ибо не знаем

сценария краха нашего мирового порядка. Тут вступает в действие парадокс Д. Юма: находясь внутри системы, мы не можем представить себе условий, при которых она прекратит своё существование.

В социальных науках математика может выполнять три функции:

- привлечение статистических данных смежных наук для фиксации общественно-политического явления или процесса, как, например, данные экономической или военной статистики;

- проведение количественных исследований для получения определённых первичных результатов вроде социологических исследований;

- прогнозирование (причём условное) долгосрочных социально-экономических тенденций на основе статистического материала.

Однако построение математической модели, полностью отражающей реальность и адекватно прогнозирующей изменения, вряд ли возможно ввиду самой специфики объекта изучения гуманитарных наук. Математическая модель, как справедливо отмечали американские исследователи Чарльз Лейв и Джеймс Марч, это — упрощённая картина реального мира, которая обладает некоторыми, но не всеми его свойствами [Lave, March, 1975: 3]. Как и любая картина, модель проще тех явлений, которые она по замыслу отображает или объясняет. Если в естественных науках такое моделирование возможно ввиду объективного и долгосрочного характера изучаемых явлений, то в гуманитарных науках упрощение нередко ведёт к потере сути изучаемых явлений и их изменению до неузнаваемости.

З

Невозможность «математизации» МО хорошо доказывает замечание И.А. Истомина, А.А. Байкова и К.К. Худолея: «Кодификация подходов к проведению качественных исследований в зарубежной практике свидетельствует, что никакого традиционного “сравнительно-исторического” метода, о котором пишет А.В. Фененко,

в действительности не существует» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 81]. К досаде авторов, отмечу: сравнительно-исторический метод исследования как раз существует, а вот вырывание из исторического контекста отдельного события (ситуация, характерная для количественных методов) зачастую играет с исследователями злую шутку. И.А. Истомин, А.А. Байков и К.К. Худолей возражают: «Отдавая должное обширному эмпирическому материалу, аккумулированному автором, стоит отметить: сама по себе мысль о том, что воевать нужно “не числом, а умением”, не является ни слишком оригинальной, ни особенно оспариваемой» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 71]. И, к сожалению, ошибаются: под «умением» в разные исторические эпохи понималось разное, а без исторического контекста эта фраза Суворова не ясна.

Авторы словно забывают, что максима А.В. Суворова появилась в конкретно-исторических условиях ограниченных войн XVIII века, которые велись на локальных театрах военных действий (ТВД) небольшими профессиональными армиями. Эталон победы в них выступало не уничтожение противника как политического субъекта, а навязывание ему компромисса. Всего через несколько лет Французская революция противопоставит им войны большими массами «вооружённого народа» [Дельбрюк 1999]. На смену идее «воюй не числом, а умением» придёт максима Наполеона Бонапарта: «Большие батальоны всегда правы!» Такие многочисленные армии буквально сметали небольшие, хотя и лучше подготовленные, профессиональные армии XVIII столетия, что идеально соответствовало эталону победы как уничтожения противника. Зато к началу XXI века идеалом военного строительства вновь стали маленькие профессиональные армии и специальные подразделения, приспособленные для ведения локальных конфликтов.

Более того: под «умением» полководцы разных исторических эпох понимали разное [Klingberg 1970: 505]. В период «осени Средневековья» XIV–XV веков «умением» было нанесение поражения с помощью

малых сил относительно небольшому войску противника. В период раннего Нового времени (XVI – середина XVII века) «умением» было руководство действиями огромных масс наёмников вкупе со стратегией длительного измора противника. В эпоху кабинетных войн XVIII века «умением» считалась тактика локальных уколов оппоненту небольшими силами с целью принуждения противника к компромиссу. Великая французская революция породила преобладавшее до середины XX века искусство войны большими массами, и «умением» стала стратегия сокрушения противника. После неё с утверждением идей «гибкого реагирования» в 1960-х гг. «умением» вновь стало считаться точное поражение комплекса целей при минимальных потерях. Никто не даёт нам гарантии, что через несколько десятилетий в мир не вернётся стратегия, провозглашающая «умением» вести войны большими массами на сокрушение или измор противника. «Клаузевиц, оракул германской военной науки, предписывал добиваться быстрой победы в результате “решающей битвы” как первой цели наступательной войны... “Постепенное уничтожение” противника, или война на истощение, было для него сущей преисподней, — писал он во времена Ватерлоо, и с тех пор его труды почитались библией германской стратегии», — отмечала британский историк Барбара Такман [Такман 1999]. Военачальники времён Карла V и Валленштейна с их культом «истощения» с ужасом бы отшатнулись от такого «умения», видя в нём путь к самоуничтожению собственной армии.

Похожий скепсис у меня вызывает и предложение моего другого критика, Д.А. Дегтерёва, ввести критерий оценки готовности населения к войне [Дегтерёв 2019: 55]. Ведь население не может быть готово к одной конкретной войне: оно готово к разным войнам по-разному. Можно быть неготовым даже к ограниченной войне и отвергать заранее любые потери, как это произошло с американским обществом во время войны во Вьетнаме и с советским во время войны в Афганистане. Можно

быть готовым только к ограниченной войне с небольшими людскими потерями, как были готовы американское и российское общественное мнение к современным войнам на Ближнем Востоке. Можно быть готовыми к тотальной войне на ограниченном театре и с ограниченными потерями: к такой войне было готово в 1914 г. общественное мнение практически всех европейских стран. Опыт Второй мировой войны доказал, что общества Великобритании, Германии, СССР и Японии были готовы к тотальным войнам с неограниченными материальными людскими потерями, а общества Франции и Италии оказались к таким войнам не готовы. Понять заранее, к какой войне готов народ той или иной страны, а к какой не готов, невозможно: это можно проверить только эмпирически, то есть в соответствующих условиях.

Что, собственно, мы будем считать эмпирической базой для проверки подобных настроений? Вариант может быть только один — социологические опросы, ответы на которые мы будем использовать при анализе готовности населения к войне. Между тем ответы на вопросы в мирное время и реальная готовность населения к войне — вещи разные: одно дело — заявить о готовности к войне в ситуации, когда тебе ничего не угрожает и в душе ты в неё не веришь, другое дело — в ситуации реального военно-политического кризиса или при получении реального извещения о гибели члена своей семьи. В условиях мирного времени о готовности к войне могут заявить и солдат на манёврах (потому что должен), и респектабельный пожилой человек на прогулке (показать молодёжи, какими были люди в наше время — «богатыри — не вы!»), и студент после занятий (под влиянием яркой лекции об Отечественной войне 1812 г.), и бизнесмен на даче («щегольнул патриотизмом»). Будут ли они все готовы к войне, например, в состоянии реальной общей мобилизации, большой вопрос, ответить на который можно будет только по итогам ситуации.

Д.А. Дегтерёв предлагает мне создать собственный «Индекс готовности стран

к войне», основанный, однако, на всё той же количественной методологии [Дегтерёв 2019: 55]. Я сразу представляю летний вечер в Санкт-Петербурге где-то в 1909-м году, толпу праздно гуляющих по набережной Васильевского острова, которая обсуждает последние события в Боснии, Болгарии или Османской империи. На словах к войне готовы все, утверждая, что, если она начнётся, мы должны показать «австрияку» или «турку». Летом 1914 г. эта толпа будет радостно кричать «На Берлин!», осенью 1915 г. — ругать своё правительство за неудачи на фронте, зимой 1917 г. — кричать «Долой войну! Долой царя!». Количественную методику оценки их реальной готовности к войне найти невозможно, ибо проверить их слова в мирное время можно только реальным военным конфликтом. «При корректном методологическом обеспечении его можно будет презентовать и за рубежом, популяризируя его точку зрения», — указывает Д.А. Дегтерёв. Встречный вопрос: а так ли уж нужен рейтинг ради рейтинга, составленный просто для того, чтобы все выглядело «математично», хотя и предельно далеко от реальной действительности?

Другое возражение И.А. Истомина, А.А. Байкова и К.К. Худолей: «Наиболее последовательно тезис о том, что государства с большим валовым хозяйственным потенциалом не в отдельных столкновениях, а в долгосрочной перспективе выходят победителями в междержавной конкуренции, отстаивался не адептами количественных методов, а британским историком Полом Кеннеди» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 71]. Но с какой временной перспективы мы должны оценивать победителей и побеждённых? С высоты 2019 года, когда была написана их статья, побеждёнными кажутся все прошлые империи, ибо они распались. Но почему именно 2019 г. должен считаться вершиной и финалом мирового развития? Оценить результаты соперничества империй подобным образом — это всё равно, что сказать: «Все жизни предшествующих поколений были неудачными, коль скоро все люди умерли».

Если мы оцениваем мир, например, с высоты 1900 года, то самыми эффективными империями нам будут казаться Британская и Российская, за которыми в колониальных делах следует империя Французская. Если мы посмотрим на мир из 1810 года, то увидим среди самых успешных империй Французскую, Российскую, китайскую империю Цин и ещё сохранявшуюся в то время империю Османскую. Спустившись в 1700 год, мы увидим в Европе всего две империи — Священную Римскую и Османскую, ибо Россия станет империей только в 1721 году, а Франция, несмотря на своё растущее могущество, по-прежнему оставалась королевством. Современники не знали финала их борьбы — он ясен только потомкам.

«Последний [П. Кеннеди. — А. Ф.] аргументировал свои выводы обширным содержательным исследованием развития международной системы с конца XV века», — отмечают И.А. Истомин, А.А. Байков и К.К. Худолей [Истомин, Байков, Худолей 2019: 71 — 72]. Не следует забывать, что с конца XV до конца XX века прошло всего 500 лет на фоне предшествующих 4500 лет мировой истории. Более интересный вопрос: а в какой «долгосрочной перспективе» выходили победителями государства с большим валовым внутренним продуктом? Если мы, например, возьмем Великобританию, то «мастерской мира» она стала сравнительно поздно (в 1830-х годах) и лишилась этого статуса сравнительно рано (в 1870-х годах), то есть через 40 лет — период, меньший, чем активная жизнь одного поколения [The Oxford History of the British Empire.... 1999]. Империей Великобритании стала в 1876 году, когда королева Виктория (1837—1901) приняла титул императрицы Индии, и оставалась империей до 1949 года, то есть не в период своего промышленного преобладания, а как раз в период его потери [Lawrence 1997]. Да и имперский период 1876—1949 годов — это всего 73 года, цикл полной жизни одного поколения и активной жизни полутора поколений. Сравним эту «долгосрочную перспективу», например, с 500 лет суще-

ствования Римской империи, почти тысячелетием существования Византийской империи и даже с двумястами лет существования Российской империи.

С другими победителями в междержавной конкуренции дело обстоит не лучше. Франция в рамках Вестфальского порядка (1648—1815 годы) была ведущей державой по совокупности ресурсов, но при этом постоянно боролась с другими державами за установление своей гегемонии. Утвердить её в континентальной Европе ей удалось только на короткий период от заключения Тильзитского мира (1807) до Отечественной войны 1812 года, то есть на пять лет. Да и в эту пятилетку Великобритания господствовала на океанах и продолжала войну с Францией. Объединённая империя Габсбургов (альянс условной Испании и Священной Римской империи) господствовала в Западной Европе с 1519 по 1558 год, то есть 40 лет, причём бесконечно воюя с Францией и Османской империей. Более или менее длительный период продолжалась только морская гегемония Голландии (XVII век) и Великобритании (XIX век), но и они не были абсолютными и не имели мощной сухопутной армии. Цифры, которые кажутся «долгосрочной перспективой» в масштабах 300 лет, становятся мигмом в масштабе 5000 лет достоверно известной человеческой истории. Империи Древнего Востока существовали зачастую столько же по времени, как вся Вестфальская система, а случалось, что и в два раза больше.

Рассчитывая графики развития государств, мы зачастую забываем, что совсем недавно государства имели совершенно иную идентичность, чем в наши дни. Международники часто пишут об «испанской гегемонии XVI века», хотя до 1558 г. Испании не было как самостоятельного субъекта: она была частью наднациональной империи немецкой династии Габсбургов, с 1580 г. находилась в личной унии с Португалией, а внутри Испании существовало формально самостоятельное королевство Арагон до 1707 года. Экономисты пишут о китайском промышленном

преобладании до начала XIX века, как-то забывая, что Китая в современном понимании не было: он был составной частью маньчжурской империи Цин. (Современная КНР, существующая только с 1949 года, формально не правопреемник ни империи Цин, ни даже гоминьдановского Китая, преемник которого — правительство Тайваня.) Со школьных лет мы помним выражение Карла Маркса «британское владычество в Индии». На самом деле вряд ли корректно говорить о британском владычестве в Индии, поскольку не существовало Индии как политического субъекта. Большую часть Индостана занимали Империя Великих Моголов во главе с мусульманской элитой и с мусульманской идентичностью, Империя маратхов (Маратхская конфедерация), «полугосударственные» образования ситхов, индуистские княжества южного Индостана. Всех их объединила британская Ост-Индская компания, а в современном качестве Индия существует и вовсе только с 1947 года. Насколько корректно сравнивать статистику по мусульманской Империи Великих Моголов и современного индуистского Индийского союза, созданного британской администрацией, вопрос, мало, к сожалению, интересующий «количественников».

Вернёмся теперь к тезису И.А. Истомина, А.А. Байкова и К.К. Худолея, что «государства с большим валовым хозяйственным потенциалом выходят победителями в междоудержавной конкуренции, не в отдельных столкновениях, а в долгосрочной перспективе». Что считать этой «долгосрочной перспективой», если многие государства родились через отрицание своих предшественников? Современная Турция — не продолжение Османской империи, а страна, ликвидировавшая её в 1922 году. Современная Германия — не продолжение прусского Второго Рейха или полупрусского Третьего Рейха: Пруссия, их опора, была официально ликвидирована державами-победительницами в 1947 году, а её исконная территория разделена между Польшей и СССР. Выселенное немецкое население этих земель не сохранило своей

прусской идентичности: в современной Германии нет крупной общности, называющей себя «пруссакими», в отличие от баварцев или саксонцев. Читая, например, эссе немецкого консерватора Артура Мёллера ван ден Брука «Прусский стиль» (1916), мы должны помнить, что речь фактически идёт об исчезнувшей в современном мире народности «пруссаки». Насколько корректными будет на этом фоне сопоставление статистических данных о социально-экономическом развитии прусской и современной Германии? И как выделить победителей и побеждённых, если современная Германия была создана победителями как «анти-Пруссия»? (Возможно, кстати, она ещё только готовится вступить в новое междоудержавное соперничество.)

Здесь можно вспомнить ещё одно любопытное замечание авторов: «К дескриптивным инструментам также может быть отнесено выявление линии тренда на графике. Такого рода приём выступает значимым компонентом ивент-анализа» (с. 76). Звучит вроде бы логично, но сколько раз в истории тренды внезапно меняли свою направленность? Стремительный территориальный рост Третьего рейха в 1938—1942 годах сменился столь же стремительным его распадом в 1943—1945 годах. Рост британских колониальных владений в течение всего XIX века сменился стремительным распадом Британской империи в 1931—1949 годах. Мир либеральной свободной торговли, преобладавший между 1815 и 1870 годами, стремительно сменился в 1870-х годах миром протекционистских барьеров и культа национального производства. Столь же стремительной была смена в 1914 году мира «открытых границ» и свободы передвижения на мир закрытых границ и визовых ограничений, от которого мы не отошли до сих пор. Не будем забывать, что эти сломы трендов заметны нам, потомкам: современникам они были не очевидны, и мы рационализируем предпосылки к переменам уже задним числом.

«Более того, исторический опыт, на который ссылается сам А.В. Фененко, сви-

детельствует как раз о том, что влиятельные ревизионисты появляются нечасто», — пишут И.А. Истомин, А.А. Байков, К.К. Худолей [Истомин, Байков, Худолей 2019: 73]. Авторы насчитали за двести лет двух ревизионистов — революционную Францию и нацистскую Германию. Добавив к ним императорскую Японию и императорскую Германию, мы получаем уже четырёх ревизионистов за два столетия. Сравнив это с общим периодом существования Вестфальской системы (которой нет ещё и 400 лет) и с предшествующим периодом 5000 лет истории, мы получаем внушительную цифру режимов-ревизионистов на один промежуток времени. Вопрос в том, какой промежуток времени мы выбираем для оценки событий, а без достижения этой договоренности все сравнения оказываются сложными.

Возникает и ещё одна проблема — аберрация времени. Промежутки времени, которые прожиты в нашем, Ялтинско-Потсдамском, порядке зачастую кажутся нам невероятно длинными, в то время как прошлые эпохи — излишне короткими. В российской политологии уже стало банальным писать о культуре «ядерного табу» и отказа от войн между великими державами в период «холодной войны». При этом мы как-то забываем о том, что аналогичные периоды отсутствия войн между великими державами существовали и в периоды от Венского конгресса (1815) до начала Крымской войны (1853), а затем в период от окончания Франко-прусской (1871) до начала Первой мировой войны (1914). Первый промежуток составляет 38 лет, второй 43 года, что равно 44 годам «холодной войны» (1946–1990). На этом фоне мы можем пересмотреть штампы о невероятной стабилизирующей роли ядерного сдерживания и отказе из-за него от войн между великими державами: в прошлом мы видели аналогичные промежутки времени без ЯО⁴. Аналогично на фоне российско-британской «Большой игры» XIX века, пола-

гая, можно пересмотреть и такие «новые» явления «холодной войны», как вытеснение конфликтности из центра на периферию, опосредованные конфликты между великими державами и др.

Этот вопрос имеет не только историческое, но и политологическое значение. В пылу дискуссий об «американском лидерстве» мы часто забываем, что наш эмпирический материал — это всего лишь события последних тридцати лет; меньше, чем активная жизнь одного поколения. Даже если мы примем за факт, что лидерство США установилось в 1990 г. и пошатнулось в середине 2010-х годов, то нам следует признать: речь идёт о промежутке времени в 25 лет. Поколение, родившееся в 1990 году, только закончило университеты в середине 2010-х годов и сейчас вступает в активную профессиональную жизнь. В исторической перспективе это меньше, чем промежуток времени от Венского конгресса (1815) до резолюций 1848 г. или примерно тождественно царствованиям Наполеона III (1852–1870) или Александра II (1855–1881). Оценим этот промежуток в масштабах 350 лет существования Вестфальской системы или 5000 лет мировой истории... В советских учебниках истории был популярен параграф «Империализм как высшая и последняя стадия капитализма (1871–1917)». В масштабах мировой истории звучало комично, но наш якобы «однополярный» мир существовал меньше даже этого срока.

Предвижу стандартное возражение: ведь существует же закон ускорения всемирно-исторического прогресса! Однако данный закон характерен только для марксистского понимания истории. Если мы воспринимаем историю иначе (например, как историю дискретных цивилизаций, как движение по кругу, как более-менее равномерный процесс), то её ускорение — лишь мнимая величина марксизма. Сложность проблемы понимал уже известный немецкий историк Освальд Шпенглер: «Почему

⁴ Арбатов А.Г. Ядерное сдерживание — гарантия навсегда (<http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d5e0ef47-e751-408e-bdd7-183c3dc4e792>).

с морфологической точки зрения XVIII столетие должно считаться более важным, чем одно из шестидесяти предшествующих? Не смешно ли “Новое время”, то есть несколько столетий, да к тому же локализованных преимущественно в Западной Европе, противопоставлять “Древности”, которая обнимает столько же тысячелетий и к которой масса всех догреческих культур причисляется просто как привесок, без попытки какого-либо более глубокого расчленения? Разве ради спасения устарелой схемы не разделяются с Египтом и Вавилоном как с прологом к античности? С теми самыми Египтом и Вавилоном, замкнутые в себе истории которых, каждая в отдельности, далеко превосходят всю мнимую “всемирную историю” от Карла Великого до мировой войны» [Шпенглер 1993: 146].

На эту цитату Шпенглера можно посмотреть с другой стороны. Немецкий историк обучался в гимназии в конце XIX века, когда «самым важным» считалось восемнадцатое столетие. Сегодня нам точно так же кажется, что XX столетие важнее всех предыдущих, включая восемнадцатое. Здесь и видна та самая глубинная идеологизация, которая гораздо важнее симпатий к тому или иному политическому режиму. Мы делаем наши построения на материале очень короткого промежутка времени, отрывая его от всей предшествующей истории и считая его более значимым, чем все предшествующие тысячелетия. Достаточно поставить под сомнение этот исходный постулат, и все построения развеются как дым. Без учёта временной перспективы, её сопоставления с другими историческими периодами, количественные методы становятся просто набором неких абстрактных цифр, существующих в оторванном от реальности пространстве.

4

Другая проблема количественных методов — пренебрежение историческим контекстом. «Гораздо важнее, что они (модернисты. — А. Ф.) побудили к перестройке всей дисциплины в сторону большей

методологической дисциплинированности» [Истомин, Байков, Худолей 2019: 79]. На практике эта «методологическая дисциплинированность» оборачивается антиисторичностью: попыткой распространить некие оторванные от реальности методы на все времена. В науке о МО эта проблема так же важна, как и в истории, потому что, например, политическая ситуация и расстановка сил на 1 июля 1995 года были принципиально иными, чем 1 июля 2005 года, а 20 июня 2021 года иными, чем 20 июня 2017 года. Попытка стандартизировать эти ситуации через набор математических символов размывает их специфику и создаёт ложные представления об их одинаковой природе. Для иллюстрации данной проблемы в качестве примера я возьму те рейтинги, на которые А.А. Байков, И.А. Истомин и К.К. Худолей обращают моё внимание.

Классический пример — индекс «Polity IV», который меня призывают использовать авторы [Истомин, Байков, Худолей 2019: 71]. Проект «Polity» был основан ещё в 1960-х американским исследователем Тедом Гарром. Нынешняя его версия «Polity IV» скорректировала набор переменных до конца 2000-х годов. Политический режим по методике Polity определяется следующими базовыми параметрами:

- состязательность процесса формирования органов исполнительной власти;
- открытость каналов формирования органов исполнительной власти;
- ограниченность, наложенная на органы исполнительной власти;
- институционализированность конкурентного политического участия.

Выведенные на этой основе индексы демократии (DEMOC) и автократии (AUTOC) основаны на одних и тех же критериях, но разных политических институтах. Демократия представляет собой переменную, показывающую общий уровень открытости политических институтов, и предполагает шкалу от 0 до 10 (где 0 — самое низкое значение, а 10 — самое высокое). Автократия представляет собой переменную, демонстрирующую общий уровень закрытости политических институтов,

и также предполагает шкалу от 0 до 10 (со знаком «—»).

Американские исследователи Г. Манк и Д. Феркуйлен указали, что «Polity IV» имеет свои недостатки — избыток набора переменных и ненадлежащую процедуру агрегирования [Munck, Verkuilen 2002: 7]. Что ещё важнее, рейтинги «Polity IV» рассчитываются не на основе электоральной или криминальной статистики, а на основе экспертных оценок политических систем разных стран. Когда мы видим индексы демократии и автократии, то должны сразу делать поправку: это не обработка первичных источников по электоральной системе той или иной страны и не данные документов государственных учреждений конкретных стран, а всего лишь оценки экспертов. Как именно были выработаны эти оценки и на основе чего — мы этого точно не знаем. Историк бы назвал эти рейтинги даже не вторичными, а третичными источниками: они презентуют позицию определённой экспертной группы, но никак не саму объективную реальность, познаваемую через первичные источники. Политологам, полагаю, было бы намного полезнее принять классификацию источников, чем постоянно иметь дело с отраженным светом.

Российский политолог А.Ю. Мельвиль пишет об этой методике: «Используемые переменные отражают характеристики формальных институтов» [Мельвиль, Ильин 2008: 44]. Однако не стоит забывать, что «либеральная демократия» с такими её атрибутами, как всеобщее избирательное право, равенство всех граждан перед законом, мирная сменяемость власти посредством демократических выборов, — явление исторически недавнее. Например, в США только в 1964 г. XXIV поправка к конституции отменила имущественный избирательный ценз на федеральных выборах, а афроамериканское население южных штатов по факту получило его Законом об избирательных правах 1965 года (с учётом внесения поправок в конституции южных штатов данный процесс затянулся до начала 1970-х годов). Во Франции женщины получили избирательные права

в 1945 году, в Греции в 1952, в Швейцарии в 1971-м. Весь период до середины XX века мы должны отбросить в расчётах, как цивилизацию, построенную на иной ценностной основе. «Великие демократии» Афин, Рима, Флоренции, Венеции, Новгорода, Голландии не подпадают под нашу современную шкалу оценки, ибо они строились на других принципах: под «народом» понимался узкий слой граждан, а не всё взрослое население.

Исторически демократия была явлением многовариативным. В античных демократиях Афин, Карфагена и Рима рабы не имели никаких прав, неграждане делились на категории с различным количеством прав. В Средние века существовали аристократические демократии — демократии для дворянства, которое имело больше прав, чем остальное население. В Западно-Франкском королевстве X века крупный феодалитет (герцоги и графы) регулярно отстранял от власти королей и заменял их королями другой династии через институт ассамблеи. В Священной Римской империи курфюрсты с XI века выбирали императора; в Речи Посполитой Сейм выбирал королей на конкурентной основе и имел право их низложения. Британская демократия как минимум до парламентской реформы 1884 г. имела совершенно особую политическую систему, которую немецкий социолог Вернер Зомбарт сравнил с советом акционерной компании: избирательным правом обладал ограниченный слой лиц (в основном — крупные землевладельцы), а парламент состоял из них самих или их представителей, тесно связанных общими интересами и даже родством. И далеко не факт, что принципы либеральной демократии 1970-х годов — это последняя в истории модификация идеи демократии: достаточно посмотреть на утверждающиеся в США и странах ЕС концепции позитивной дискриминации и ограничения свободы слова под предлогом политкорректности.

Авторы «Polity IV» пошли по пути смещения эпох, начав отсчёт демократических принципов с 1800 года. Вопрос о том, чем так значим 1800 г. для истории демократий,

остается непрояснённым: это даже не дата начала Американской или Французской революции. Если критериями демократии считать не волеизъявление всех граждан (всеобщее избирательное право), а наличие «демократических институтов» и системе институциональных ограничений власти, то сразу возникает вопрос: «Что мы понимаем под демократическими институтами?»

Авторы «Polity IV» позиционируют США как демократию начиная с 1810-х годов, несмотря на отсутствие всеобщего избирательного права, наличие имущественных и оседлых цензов для граждан, наличие института рабства, а затем поражение в избирательных правах афроамериканского населения в течение десятилетий после запрета последнего. Главным критерием выступают, видимо, институты регулярной смены власти через не прямые выборы президента. В таком случае под «демократию» подпадает любое раннефеодальное государство европейского типа, построенное на основе «варварской правды» и допускавшее смену монарха крупной аристократией. Ещё больше под неё подпадает любое европейское государство времён феодальной раздробленности: ведь для него были характерны:

- политическое участие неограниченное, открытое и полностью конкурентное (причём не только крупного, но и мелкого феодалитета);

- формирование исполнительной власти основывается на выборах (и королей, и императоров в ряде государств, не говоря уже о выборах главы христианского мира — Римского первосвященника — на конкурентной основе);

- наложение ограничений на деятельность главы исполнительной власти является существенным (вплоть до права сеньора иметь свою частную крепость — замок и оборонять его с оружием в руках, а также печатать свою монету и вершить суд).

Разумеется, феодализм был только частью населения, властью немногих. Тем не менее если демократия — это не реализация права на власть всего взрослого на-

селения, а набор институтов, то и аристократическая демократия подпадает под это определение. В США 1810-х годов власть тоже была в руках очень узкого числа избирателей: масса населения была отстранена цензами. В таком случае не ясно, где проходит граница между «демократией» и «открытой автократией», которую проводят авторы «Polity IV».

Создатели «Polity» при этом оставили себе методологическую лазейку. С их точки зрения, существует три состояния, в которых невозможно установить тот или иной политический режим: внешняя интервенция, периоды междоусобия или анархии (*Interregnum*), периоды сильных режимных трансформаций и политических транзитов. В этом случае палитра критериев демократии ещё больше размывается. В Германии и Японии, например, демократические режимы были установлены в результате их внешней оккупации в конце Второй мировой войны, и до сих пор США сохраняют в этих странах как своё военное присутствие, так и режимы ограничения их суверенитета. (Интересный вопрос: сохраняются ли они в нынешнем качестве в случае свертывания американского присутствия?) Еще более туманны «периоды политических трансформаций»: сколько лет они в себя включают? В учебниках истории мы можем прочитать интересные разделы «Переход к системе национальных государств (XVI — середина XVII века)». Кто поручится, что будущий историк не определит все минувшие 30–40 лет (а возможно, и всё прошлое столетие) как период некой трансформации или перехода от чего-то к чему-то?

Подобные проблемы характерны и для математической модели гонки вооружений, разработанной английским математиком и физиком Льюисом Фраем Ричардсоном (1881–1953) [Мангейм, Рич 1997]. Её суть сводится к следующему: *страна 1* вооружается, опасаясь войны со *страной 2*. В свою очередь *страна 2*, видя рост затрат на вооружение у потенциального противника, ускоряет своё вооружение. Далее следует допущение, что скорость роста за-

трат на вооружение каждой из стран пропорциональна уровню затрат противника: чем больше противник тратит на вооружение, тем быстрее страна сама стремится вооружиться. Л. Ричардсон попытался выработать математическое описание этой системы, где $x(t)$ — расходы на вооружение страны 1 к моменту времени t , $y(t)$ — то же для страны 2.

Строго научно, но только на первый взгляд. Во-первых, данная модель построена под два политических режима, которые изначально не хотят войны: они принимают ответные меры на действия противника. Для режима, который уже наметил дату начала войны и ведёт подготовку к военным действиям, это уравнение будет бессмысленно. Гитлер, например, не отменил план «Барбаросса» после намеренной демонстрации СССР новейших образцов военной техники на параде 1 мая 1941 года.

Во-вторых, более слабая сторона может не продолжать гонку вооружений, а просто в соответствии с рекомендациями немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица нанести превентивный удар, уничтожив образцы новейшего вооружения оппонента. В этом случае уравнение гонки вооружений переворачивается на 180 градусов: внакладе оказывается сторона, которая вкладывала больше средств в новое оружие.

В-третьих, страна 2 может вполне ответить асимметрично на гонку вооружений: поддержать сепаратизм или оппозицию в стране 1, заключить союз с её противниками, пресечь ей поставки оружия союзников...

Вопрос в том, насколько системны режимы в стране 1 и стране 2, насколько они хотят сохранения статус-кво (причём следует определить, какого именно — глобального или регионального), насколько они допускают силовые меры в своей политике и насколько они (оба или один) придерживаются правового нигилизма.

Сам Ричардсон разработал свою модель под гонку вооружений между великими державами 1909–1913 годов, что сразу ста-

вит несколько проблем. В период до Первой мировой войны великие державы жили в режиме экономик и политических систем мирного времени: не случайно весь период 1871–1913 годов (то есть 43 года!) называется периодом «долгого мира». Насколько это уравнение справедливо для стран с мобилизационными экономиками 1930-х годов — большой вопрос. Кроме того, начало XX в. было временем подготовки войны массовыми армиями, что требовало производства вооружений крупными партиями. Современные преимущественно профессиональные армии предназначены для ведения военных действий без введения общей мобилизации на протяжении длительного времени и могут это делать на относительно отдалённых от территории своей страны театрах военных действий. Не следует забывать и о многократном возрастании стоимости вооружений: не только затрат на сам производственный цикл от НИОКР до серийного производства вооружений, но и гораздо больших затрат на сопутствующие производства. На этом фоне можно подвергнуть сомнению все три базовых постулата Ричардсона: 1) скорость роста военных расходов пропорциональна уровню военных расходов противника; 2) экономические ограничения приводят к уменьшению скорости роста военных расходов пропорционально их размерам; 3) государство стремится увеличить свой военный бюджет даже в условиях отсутствия внешней угрозы. Разные политические режимы в разных государствах по-разному воспринимали эти постулаты.

В модели Ричардсона коэффициенты $a > 0$ обычно называются коэффициентами обороны, $b > 0$ — усталости, а c — коэффициентами доброй воли (если $c < 0$) или претензий ($c > 0$). Хотя зачем нам высчитывать коэффициенты, если один из противников решил нанести первый разоружающий удар по оппоненту? Ему незачем резко увеличивать и расходы на оборону — он может нанести первый удар силами своей армии мирного времени, а затем объявит общую мобилизацию или вовсе

будет воевать профессиональной армией. Ему незачем массово производить «винтовку Мосина» или ППШ⁵ для массы новобранцев — при сценарии блицкрига можно обойтись профессиональной армией мирного времени (особенно если противник или заведомо слабее, или оперативное построение его вооружённых сил и расположение административных и промышленных центров таково, что с началом войны противник окажется в тяжёлом положении).

«Модель Ричардсона» игнорирует две важные для военных математические формулы. Первая: «стоимость — эффективность», согласно которой стоимость расходов на вооружения должна окупаться эффектом от их применения. Условно говоря, можно вложить огромные деньги в создание и производство гипотетической «лазерной пушки», которая на войне будет уничтожена простой гаубицей. Страна 1, создавшая «лазерную пушку», затратила миллионы, увеличила военные расходы; а страна 2 их не увеличила, но нашла дешёвое средство их купирования. Можно резко увеличить финансирование тупиковых проектов, какими, например, в 1920-х годах были «истребители-бомбардировщики». Во Второй мировой войне такими тупиковыми, но затратными проектами оказались, например, французская «линия Мажино» или немецкая система всеобъемлющей ПВО («линия Каммхубера»). Вопрос заключается не в том, сколько потратить, а на что потратить средства из военного бюджета.

Другая формула — это количество выделяемых средств на уничтожение одной условной единицы вооружённых сил противника (чаще всего — солдата). В разные исторические эпохи это уравнение было различным. Если для уничтожения одной единицы противника нужно потратить много средств, то можно воевать массовыми армиями. Если на уничтожение живой единицы противника надо потратить мало средств, то война ведётся небольшими

контингентами высокоподготовленных профессионалов: их уничтожить тяжелее, чем солдата-новобранца. В обоих случаях мы имеем дело с двумя (как минимум) разными типами гонки вооружений. С учётом этого «Модель Ричардсона» предстаёт как попытка вывести некую обобщённую абстрактную гонку вооружений, то есть вне всякого исторического контекста.

Примером абстракции от реальной военно-политической ситуации выступает и модель ведения боевых действий английского математика Фредерика Ланчестера. Она предполагает, что силы сторон X и Y вовлечены в сражение, $x(t)$ и $y(t)$ описывают размер этих сил в момент времени t . Будем считать, что время непрерывно, а $x(t)$ и $y(t)$ есть непрерывные и, более того, дифференцируемые функции времени. Нам известны темпы (или скорости) операционных потерь (ТОП), связанных с болезнями, дезертирством и пр.; темпы боевых потерь (ТБП), темпы поставок или восстановления (ТП). Операционные потери каждой из сторон пропорциональны, таким образом, размеру её собственных вооружённых сил, а боевые потери пропорциональны размеру вооружённых сил противника. На этой основе модель Ланчестера даже выводит некоторые условия для выигрыша сторон:

- для X (условие $K < 0$) — $y_0 < \underline{c} \cdot x_0 b$
- для y (условие $K > 0$) — $y_0 > \underline{c} \cdot x_0 b$.

Присмотревшись к этой модели, мы заметим, что она написана под позиционную войну, в которой две стороны ведут почти непрерывный бой на узком участке театра военных действий. В такой войне побеждает тот, кто расстреляет больший боекомплект, а потом введёт в действие резервы. Полководческие таланты на такой войне мало предусмотрены: всё решает расстрел большего боекомплекта за единицу времени (то есть преобладание в огневой мощи) и превосходство в материально-технических силах. Фактически это образ Первой мировой войны. И действительно, модель Ланчестера была соз-

⁵ ППШ — 7,62-мм пистолет-пулемёт образца 1941 г. системы Шпагина.

дана в 1916 г. под её непосредственный опыт. Надо ли говорить, что к маневренной войне, где противники используют подвижные вооружённые силы, высокий темп проведения операций и оригинальные полководческие решения, эта модель неприменима?

Именно здесь и лежит ключевое методологическое различие между естественными и гуманитарными науками. Можно создать математическую модель для движения тела или расщепления атомного ядра; но нельзя создать математическую модель для гонки вооружений или демократии на все века и все времена. «Всё течет, всё меняется: дважды тебе не войти в одну реку» — эта заповедь древнегреческого философа Гераклита (VI век до н.э.) как нигде применима к количественным методам в МО. В гуманитарных науках нет «вечного настоящего»: здесь каждое мгновение настоящего тотчас становится прошлым. Исключение составляет только лингвистика, особенно мёртвых языков, и она как раз и подлечит высокой степени математизации. *«Интеллектуальная дисциплина», о которой пишут А.А. Байков, И.А. Истомин и К.К. Худолей, оказывается иллюзорной: она означает просто попытку подогнать реальность под некие квазиматематические уравнения. Они могут завораживать гуманитария своей «математичностью» и создавать ему иллюзии приобщения к чему-то невероятному, но не дают реального приращения знания.*

Б

Другой мой критик, Д.А. Дегтерёв, обращает меньше внимания на пробелы методологии. Его главный упрёк заключается в другом: «Описывая силы сторон, А.В. Фененко делает отсылку (не упоминая конкретных процедур и видов анализа) к “математической статистике”, “статистическим методикам”, “количественным метрикам” [Дегтерёв 2019: 50]. Что же, воспользуюсь случаем и проведу разбор тех методик и рейтингов, которые приводит сам Д.А. Дегтерёв для опровержения моей точки зрения.

Д.А. Дегтерёв относится к количественным методам с гораздо большим скепсисом, чем авторы предыдущей статьи. Вот только несколько показательных цитат из его статьи: «Зачастую неправильный выбор главных игроков и их характеристик, неполный учёт особенностей внешней среды и динамики международных отношений, имеющихся информационных потоков и взаимодействий между субъектами, наложение на общую картину развития случайных явлений (так называемых шумов) могут привести к неправильным логическим выводам». Или: «Нельзя объяснить одной моделью самые разные международно-политические ситуации с иной игровой структурой и с другим набором допущений» [Дегтерёв 2019: 48; 49]. «На начальном этапе, в 1960-х — 1970-х годах, доминировали модели системной динамики, однако к началу XXI века стала понятна их ограниченная объяснительная способность, в том числе из-за неверных предпосылок, заложенных в модели типа “Мир” и сделанных по заказу Римского клуба» [Дегтерёв 2019: 52]. Напрашивается тревожный вопрос: а скорректированы ли с учётом ошибочности модели типа “Мир” ангажированные выводы Римского клуба об исчерпаемости ресурсов Земли, «пределах роста» и необходимости перехода к модели устойчивого развития?

В 1972 г. вышел программный доклад Римского клуба под названием «Пределы роста» [Медоуз 1991]. Авторы с гордостью отмечали, что их модель является формально-верифицируемой и математической, поэтому имеет два существенных преимущества перед общими рассуждениями: каждое положение может быть проверено или опровергнуто, а поведение модели объективно вычисляется компьютером. Основные переменные в самом деле были связаны между собой 16 нелинейными дифференциальными уравнениями, а в вычислениях участвовало более 30 вспомогательных переменных и внешних параметров. Во многом под влиянием идей Римского клуба в 1972 г. в Стокгольме состоялась Конференция ООН по окру-

жающей человека среде, на базе которой была запущена Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Теперь выясняется, как подчёркивает сам Д.А. Дегтерёв, что модели типа «Мир», используемые Римским клубом, строились на ошибочной методике. Тем не менее никто уже не спешит созывать новую конференцию ООН, чтобы пересмотреть стокгольмские соглашения. Мы продолжаем жить по утвержденной в 1972 г. модели «устойчивого развития», пусть даже в её основе лежала ошибочная методика математических расчётов.

Похожий пример — пресловутая «теория игр». «Золотым временем» для теории игр была биполярность с наличием двух коалиций и жёсткой блоковой дисциплиной», — пишет Д.А. Дегтерёв [Дегтерёв 2019: 49]. На самом деле «жёсткая блоковая дисциплина» была во многом мифом исследователей. Советское руководство после кризиса 1956 г. предоставило всем странам Восточной Европы право на построение своей модели народной демократии, а в 1958 г. вывело войска с территории своих балканских союзников. «Румынская Фронта» стала постоянным фактором жизни в соцлагере — от открытого осуждения ввода войск ОВД в Чехословакию до контактов Бухареста с недружественной советскому руководству Югославией. Кремль раздражали регулярные заявления руководителя ГДР Эриха Хонеккера, что СССР занимает непропорционально много места в социалистическом содружестве, а страны ОВД не поспешили выразить полное одобрение вводу советских войск в Афганистан в 1979 году.

В НАТО блоковая дисциплина тоже оставляла желать лучшего. Напомню, что пресловутая 5-я статья Вашингтонского договора 1949 г. не предполагает в случае агрессии ни автоматического объявления противнику войны, ни объявления общей мобилизации, а имеющаяся формулировка «оказание помощи» — понятие растяжимое. В этом смысле Вашингтонский договор по уровню обязательств намного уступает австро-германскому союзному

договору 1879 г. или франко-русской военной конвенции 1892 года. Выход Франции (1966) и Греции (1974) из военной организации НАТО хорошо продемонстрировал ограниченность американских возможностей давления на союзников. Да и другие страны НАТО отнюдь не помчались выступать в защиту Британии во время Фолклендской войны 1982 года. Будут ли корректны методики «теории игр», если они заранее строятся на грубом упрощении реальных МО второй половины XX века?

Преодоление противоречий Д.А. Дегтерёв видит в индексе воспроизводимой мощи (Perceived Power, Pp), разработанном Р. Кляйном в 1975 году. Здесь уместно привести цитату из Д.А. Дегтерёва об этом индексе, который «подсчитывался следующим образом: $Pp = (C + E + M) \times (S + W)$, (1) где C — это критическая масса (Critical Mass), определяемая размером территории и численностью населения; E — это экономический потенциал (Economic Capabilities), определяемый на основе агрегирования показателей ВВП, выработки первичной энергии, добычи нетопливных минеральных ресурсов, экспорта зерновых, выплавки стали и объёма внешней торговли; M — это военный потенциал (Military Capabilities), определяемый потенциалом как стратегических ядерных вооружений, так и конвенциональных вооружённых сил (военными расходами, численностью армии и потенциалом глобального развёртывания). Сумма результатов по этим параметрам умножается на сумму S — показатель стратегического целеполагания (Strategic Purpose) и W — национальной воли (National Will). Соответственно, показатель учитывает, что такие страны, как Израиль (общий коэффициент «неосязаемой» силы равен 1,8, то есть материальная мощь страны практически удваивается), КНДР (1,6) и Куба (1,6), более мобилизованы, чем другие государства» [Дегтерёв 2019: 50–51].

Это пространное описание было бы неплохо подкрепить списком военных побед

армий КНДР и Кубы. Только вот беда — такого списка нет, ибо данные страны практически не воевали с 1950-х годов (причём КНДР в Корейской войне была спасена коалицией КНР и СССР, а переброска кубинских войск в Анголу в 1976 году, осуществлённая с помощью Советского Союза, не привела к ярким победам кубинской армии в Африке). Насколько они «более мобилизованы, чем другие государства», сказать трудно: это, собственно, никто не проверял в реальной боевой обстановке, в отличие от Израиля. В коэффициенте «неосязаемой» силы сразу допущены, как минимум, две методологические ошибки. *Во-первых*, происходит расчёт «национальной воли» для стран, которые ещё не продемонстрировали эту волю в реальной военной обстановке. *Во-вторых*, сопоставляется «национальная воля» страны, многократно её продемонстрировавшей (Израиль), со странами, о ней только заявляющими (КНДР и Куба), причём результаты между ними отличаются всего на две десятые. Интересно, кстати, почему не на три, пять или восемь, если у нас нет никакого эмпирического опыта?

Показатель *М* — расчёт военного потенциала — также вызывает серьёзные вопросы. В нём учитываются стратегические ядерные вооружения, хотя у нашей цивилизации нет опыта их применения (первым и единственным случаем применения атомного оружия остаются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, осуществлённые с авиационного, а не ракетного, носителя). Конвенциональные вооружённые силы вновь оцениваются в категориях военных расходов и численности армий. Авторам можно только порекомендовать вспомнить опыт многочисленных войн, в которых страны с меньшими по численности армиями и с меньшими военными бюджетами побеждали армии стран с большими военными бюджетами. Фридрих II, Наполеон и Мольте были бы весьма изумлены, узнав, что мощь их армий измеряется численностью и бюджетами. Что касается «потенци-

ала глобального развёртывания», то он не обходимо далеко не для каждой войны: Японии для победы в Русско-японской войне отнюдь не понадобилось брать Санкт-Петербург, зато русские 2-я и 3-я тихоокеанские эскадры совершили глобальный поход через три океана — Атлантический, Индийский и Тихий... навстречу Цусиме. Способность флотов Великобритании и Франции быстро перебрасывать экспедиционные силы на большие расстояния ничуть не помешала разгрому их войск вермахтом на Западном фронте в кампании 1940 года. Переброска войск на большие расстояния отнюдь не гарантирует эти войска от поражения в столкновении с противником, обладающим мощными вооружёнными силами и не имеющим проблем со снабжением своих войск вследствие близости коммуникаций к театру военных действий.

Экономический потенциал, оцениваемый в категориях объёма ВВП, производства электроэнергии, выработки первичной энергии, добычи нетопливных минеральных ресурсов, экспорта зерновых, выплавки стали и объёма внешней торговли опять-таки разбивается об эмпирический опыт войн. Британская империя несопоставимо превосходила по этим показателям Афганистан, что не мешало англичанам проиграть все три англо-афганские войны. США несопоставимо превосходили по этим параметрам Северный Вьетнам, а КНР — объединённый Вьетнам, что не мешало обеим державам потерпеть поражение. Кстати, интересно, каким образом на военные победы или поражения влияет экспорт зерновых или объём внешней торговли? Да и производство электроэнергии или выплавка стали имеют смысл только при сценарии затяжной тотальной войны, как и ресурсы для производства авиации или для танкостроения: при сценарии блицкрига они не дают практического результата. *Мы снова упираемся в ключевой вопрос: о какой войне, между какими противниками, на каком театре идёт речь? Вместо этого нам предлагается некая «война вообще» и «противники вообще» —*

действительно, «страна X» и «страна Y» вроде средневековых рыцарских романов, где события происходят в вымышленных кельтских королевствах с французской сословной системой, а герои, нося английские имена, говорят и думают по-старофранцузски. Действие подобных рыцарских романов происходит то ли во Франции, то ли в Англии, то ли в Окситании, то ли в Уэльсе, а точнее — «в некотором царстве, в некотором государстве», то есть в вымышленном мире или... нигде.

Подобные вопросы вызывает и приведённая Д.А. Дегтерёвым система экономических рейтингов. «В ряде индексов оценки совокупного потенциала, например, разработанных под эгидой Группы стратегических оценок (Strategic assessment Group, SAG), включался именно подушевой ВВП, так как он отражал, пусть и косвенно, уровень развития технологий и качество человеческих ресурсов» [Дегтерёв 2019: 57]. Звучит вроде бы логично, пока не вспомнишь, что подушевой ВВП можно поднимать и без высокого уровня развития технологий и даже без качества человеческих ресурсов. Если, например, у вас маленькая страна вроде Люксембурга или Лихтенштейна, то у её населения может быть очень высокий подушевой ВВП за счёт её статуса международного финансового центра и занятости большей части населения в банковском / биржевом секторе. Можно обеспечить высокий уровень подушевого ВВП в небольшой стране, богатой нефтяными ресурсами, как, например, это и происходит в ряде монархий Персидского залива. Можно иметь высокий подушевой ВВП в стране, проживающей преимущественно за счёт туризма или за счёт отказа страны от крупных военных расходов... Во всех перечисленных случаях высокая производительность труда не требуется.

Ещё интереснее критика Д.А. Дегтерёвым моего анализа Индекса человеческого развития (ИЧР). «Это один из наиболее объективных индексов в мировой практике, ведь он рассчитывается исключительно на основе статистических данных, а не на

пресловутых экспертных оценках (как, например, Индекс восприятия коррупции от Transparency International или Индекс свободы от Freedom House)». Как будто сама выборка статистических данных не может носить идеологического характера! «Рассчитывает его Программа развития ООН — пожалуй, один из немногих международных институтов, сохраняющих непредвзятость со времён биполярности». Между тем авторитетность института ещё не означает объективности и внеидеологичности приведённых им данных. «Автору вновь можно только рекомендовать рассчитать свой рейтинг наиболее влиятельных стран мира, основанный на количественной методологии» [Дегтерёв 2019: 56]. Опять-таки возникает вопрос: а так ли уж нужен рейтинг ради рейтинга, существующий в отрыве от реальности?

Можно ещё долго разбирать конкретные случаи, но лучше всего о них сказал сам Д.А. Дегтерёв: «Преодолеть неполную спецификацию можно посредством создания более сложной модели, которая привлекает во внимание упущенный аспект международной ситуации». «Ключевым допущением теоретико-игровых построений выступает абстракция методологического индивидуализма и рационального выбора (Methodological Individualism and Rational Choice, MIRC), что существенно ограничивает их возможности». Но в том-то и дело, что политики далеко не всегда руководствуются рациональным выбором (да и что считать рациональным?) и не могут действовать абстрактно, вне исторического контекста. В чём тогда ценность «полиции логики» (как называет Д.А. Дегтерёв «теорию игр»), если она даёт нам модель, предельно упрощённую и мало соответствующую реальности? Даже если мы введём в компьютер все данные о Крымской или Второй мировой войнах и решим проиграть эти войны заново, всё равно это не будет точное повторение каждого дня реальной Крымской или Второй мировой войн. Полагаю, что гораздо логичнее признать невозможность всеобъемлющего моделирования политики, чем

пытаться уложить её в квазиматематические формулы.

«Второй большой спор» в российской науке о международных отношениях в самом разгаре! — таким выводом завершает свою статью Д.А. Дегтерёв. На самом деле этот спор весьма похож на спор реалистов и номиналистов XII—XIV веков. Реалисты утверждали, что существуют «универсалии» вещей и потому можно создать «науку наук» вне времени и пространства. Номиналисты возражали, что универсалии вещей не существуют как отдельные явления — они содержатся в самих этих вещах. Количественные методы, моделирующие историю и политику в виде графиков и дифференциальных уравнений, — это не

что иное, как новое издание «науки наук» вне времени и вне пространства времен Столетней войны.

«Вневременная наука» разбивается о первое столкновение с реальностью. Международникам никуда не уйти от изменчивой «сути вещей» по Аристотелю, которую невозможно выразить системой стандартных математических символов. Хотя бы потому, что поведение людей и социальных групп не укладывается в стандартные математические системы. Д.А. Дегтерёв называет эти методы «современным биноклем с цифровым переменным увеличением (зумом), позволяющим вскрывать неявные и даже контринтуитивные закономерности». Однако бинокль даёт нам ту картину, которая зависит от установленного нами разрезания.

Список литературы

- Алексеева Т.А. Теория международных отношений в зеркалах «научных картин мира»: что дальше? // Сравнительная политика. 2017. Т. 8. № 4. С. 30–41.
- Баранчев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 711 с.
- Блок М. Феодальное общество. М.: Издательство имени Сабашниковых, 2003. 504 с.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: АСТ, 2018. 158 с.
- Гельфанд И.М., Минлос Р.А., Шапиро З.Я. Представление группы вращений и группы Лоренца. М.: Физматгис, 1958. 368 с.
- Дегтерёв Д.А. «Второй большой спор» в контексте становления российской науки о международных отношениях // Международные процессы. 2019. Т. 17. № 2 (57). С. 43–62.
- Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 4. СПб.: Новое время, 1999. 365 с.
- Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический Проект, Раритет, 2001. 880 с.
- Истомин И.А., Байков А.А., Худолей К.К. Международные отношения. Наука без метода? // Международные процессы. 2019. Т. 17. № 2 (57). С. 63–93.
- Как измерять и сравнивать уровни демократического развития в разных странах? (По материалам исследовательского проекта «Политический атлас современности») / А.Ю. Мельвиль, М.В. Ильин, Е.Ю. Мелешкина и др.; М.: МГИМО-Университет, 2008. 135 с.
- Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 18. М.: Изд-во политической литературы, 1968. 525 с.
- Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: Весь Мир, 1997. 544 с.
- Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.: Изд-во МГУ, 1991. 205 с.
- Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-Дана, 2015. 527 с.
- Ньютон Р. Преступление Клавдия Птолемея. М.: Наука, 1985. 384 с.
- Паули В. Теория относительности. М.: Наука, 1991. 328 с.
- Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Культурная инициатива, 1992. 525 с.
- Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986. 432 с.
- Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. 735 с.
- Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам. М., 2002. 142 с.
- Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 1999. 640 с.

- Томилини К.А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. М.: Физматлит, 2006. 368 с.
- Фененко А.В. Статистика против истории (Размышления о количественных методах в международных отношениях) // Международные процессы. 2018. Т. 16, № 3. С. 56–83
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-сэд, 1994. 405 с.
- Храмов Ю.А. Физики: Биографический справочник. М.: Наука, 1983. 400 с.
- Цымбурский В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // Полис. 1996. № 3. С. 27–55.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М.: Мысль, 1993. 672 с.
- Юдин Н.В. В поисках науки о международных отношениях: взгляд через призму критического реализма // Международные процессы. 2020. Т. 18. № 1 (60). С. 135–151.
- Klingberg F. Historical Periods, Trends and Cycles in International Relations // Journal of Conflict Resolution. 1970. No. 14. P. 505–511.
- Kragh H. Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century, Princeton: Princeton University Press, 1999. 494 p.
- Lave Ch., March J.G. An Introduction to Models in the Social Sciences. N.Y.: Harper & Row, 1975. 432 p.
- Lawrence J. The Rise and Fall of the British Empire. N.Y.: St. Martin's Griffin, 1997. 744 p.
- Lykken J.D. Beyond the Standard Model. CERN Yellow Report. 2010. P. 101–109.
- Munck G., Verkuilen D. Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices // Comparative Political Studies. Vol. 35 No. 1. February 2002. P. 5–34.
- Smolin L. The trouble with physics: the rise of string theory, the fall of a science, and what comes next. London: Penguin Book, 2007. 416 p.
- The Oxford History of the British Empire. Vol. III. The Nineteenth Century / Ed. by Porter A. Oxford: Oxford University Press, 1999. 800 p.

THE ILLUSION OF DISCIPLINE

CONTINUATION OF THE DISCUSSION ON QUANTITATIVE METHODS IN INTERNATIONAL RELATION

ALEXEY FENENKO

Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119234, Russia

Abstract

This article continues the dispute about the application of quantitative methods in regard to international relations. In 2019, two groups of scholars published their critical reviews of my article “Statistic Against History”: 1) «Towards “Second Great Debate” in Russian IR» (by Denis Degterev); 2) «International Relations, Science without Method?» (by Igor Istomin, Andrey Baykov, Konstantin Khudoley). This paper consistently analyses the opponents's views and puts forward some counterarguments. The author emphasizes that natural sciences deal with long-term, relatively steady phenomena and processes, which are objective and mainly of repetitive character. This enables us to identify regular patterns in their structure, behaviour, development and changes. By contrast, in the sphere of arts it is extremely important to achieve agreement on basic concepts and ideas or, in other words, scientific convention. It is impossible to use here mathematical symbols or figures to describe the concepts in the sphere which is closely connected with historical context and systems of values, which changes with the time and depends on different variables. The objects of humanities are completely determined by such factors as society, historical context as well as the stance of the author on the issue. Any attempt to change even one of these may well lead to distortion of the meaning of a concept and thus will ruin the mathematical equation underlying it. These factors do not exist regardless of humans, so it is impossible to dismiss Aristotle's

logic. Hence, any attempts of such an approach (through using quantitative methods) lead to methodological problems and even often to methodological nonsense.

Keywords:

Theory of international relations; methodology of international research; quantitative and qualitative research methods; natural sciences; humanities; mathematical methods; mathematical statistics; indexes; ratings.

References

- Alekseeva (2017). *Teoriya mezhdunarodnyh otnoshenij v zerkalah «nauchnyh kartin mira»: chto dal'she?* [The theory of international relations in the mirrors of the "scientific pictures of the world": what's next?]. *Sravnitel'naya politika*. Vol. 8. No. 4. P. 30–41.
- Barancheev V.P., Maslennikova N.P., Mishin V.M. (2014). *Upravlenie innovatsiyami* [Innovation management]. Moscow: YUrajt. 711 p.
- Blok M. (2003). *Feodal'noe obshchestvo* [Feudal society]. Moscow.: Izdatel'stvo imeni Sabashnikovyh. 504 p.
- Degtarev D.A. (2019). "Vtoroj bol'shoy spor" v kontekste stanovleniya rossijskoj nauki o mezhdunarodnyh otnosheniyah [Towards "Second Great Debate" in Russian IR]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 17. No. 2 (57). P. 43–62.
- Del'bryuk G. (1999). *Istoriya voennogo iskusstva v ramkah politicheskoy istorii* [The history of military art in the framework of political history]. SPb., Novoye Vremya, 2011. 317 p.
- Feneko A.V. (2018). Statistika protiv istorii (Razmyshleniya o kolichestvennykh metodah v mezhdunarodnyh otnosheniyah) Statistics versus History [Statistics versus History (Thoughts On Quantitative Methods in International Studies)]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 6. No. 3. P. 56–83.
- Fuko M. (1994). *Slova i veshchi. Arheologiya gumanitarnykh nauk* [Words and things. Archeology of the Humanities]. Saint Petersburg.: A-cad. 405 p.
- Gelfand I. M., Minlos R. A., Shapiro Z. YA. (1958). *Predstavlenie gruppy vrashchenij i gruppy Lorentsa* [Representation of the rotation group and the Lorentz group]. Moscow: Fizmatgiz. 368 p.
- Istomin I.A., Baykov A.A., Khudoley K.K. (2019). *Mezhdunarodnye otnosheniya. Nauka bez metoda?* [International Relations, Science without Method?]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 17. No. 2 (57). P. 63–93.
- KHramov Y.A. (1983). *Fiziki. Biograficheskij spravochnik* [Biographical reference book]. Moscow: Nauka. 400 p.
- Klingberg F. (1970). Historical Periods, Trends and Cycles in International Relations. *Journal of Conflict Resolution*. No. 14. P. 505–511.
- Kragh H. (1999). *Quantum Generations: A History of Physics in the Twentieth Century*. Princeton: Princeton University Press. 494 p.
- Lave Ch., March J.G. (1975). *An Introduction to Models in the Social Sciences*. N.Y.: Harper & Row. 432 p.
- Lawrence J. (1997). *The Rise and Fall of the British Empire*. N.Y.: St. Martin's Griffin. 744 p.
- Lenin V.I. (1968). Materialism i Empiriocriticism [Materialism and Empirio-criticism]. In: Lenin V.I. *Polnoe sobranie sochinenij*. T. 18. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. 525 p.
- Lykken, J. D. (2010). *Beyond the Standard Model*. CERN Yellow Report. P. 101–109.
- Mangejm J. B., Rich R.K. (1997). *Politologiya: Metody issledovaniya* [Political science: Research method]. Moscow: Ves' Mir. 544 p.
- Medouz D. i dr. (1991). *Predely rosta* [Limits of growth]. Moscow: Izdatel'stvo MGU. 205 p.
- Melvil A.YU, Il'in M.V., Meleshkina E.YU. et al. (2008). *Kak izmeryat' i sravnivat' urovni demokraticheskogo razvitiya v raznykh stranah? (Po materialam issledovatel'skogo proekta «Politicheskij atlas sovremennosti»)* [How to measure and compare the levels of democratic development in different countries? (Based on the materials of the research project "Political Atlas of Modernity")]. Moscow: MGIMO-Universitet. 135 p.
- Mishin V.M. (2015). *Issledovanie sistem upravleniya*. 2-e izdanie. [Research of control systems. 2nd edition]. Moscow: YUNITI-Dana. 527 p.
- Munck G., Verkuilen D. (2002). Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices. *Comparative Political Studies*. Vol. 35. No. 1. P. 5–34.
- Newton R. (1985). *Prestuplenie Klavdiya Ptolemeya* [The crime of Claudius Ptolemy]. Moscow: Nauka. 384 p.
- Pauli V. (1991). *Teoriya otnositel'nosti* [Theory of relativity]. Moscow: Nauka. 328 p.

- Popper K. (1992). *Otkrytoe obschestvo i ego vragi. T. 2* [Open Society and Its Enemies. Vol. 2]. Moscow: Kul'turnaya initsiativa. 525 p.
- Porter A. (ed.) (1999). *The Oxford History of the British Empire. Vol. III. The Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press. 800 p.
- Prigozhin I., Stengers I. (1986). *Poryadok iz haosa: Novyj dialog cheloveka s prirodoj* [Order from chaos: A new dialogue between man and nature] Moscow: Progress. 432 p.
- Poincare J.H. (1990). *O nauke* [About Science]. Moscow: Nauka. 735 p.
- Ris E., Sternberg M. (2002). *Vvedenie v molekulyarnuyu biologiyu: Ot kletok k atomam* [Introduction to molecular biology: From cells to atoms]. Moscow. 142 p.
- Smolin L. (2007). *The trouble with physics: the rise of string theory, the fall of a science, and what comes next*. London: Penguin Book. 416 p.
- Spengler O. (1993). *Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoj istorii* [The Decline of the West. Essays on the morphology of world history]. Vol. I. Moscow.: Mysl'. 672 p.
- Tomilin K. A. (2006). *Fundamentalnye fizicheskie postoyannye v istoricheskom i metodologicheskom aspektah* [Fundamental physical constants in historical and methodological aspects]. Moscow: Fizmatlit, 2006. 368 p.
- Tuchman B. (1999). *Pervyj blitzkrieg. Avgust 1914* [The Guns of August]. Saint Petersburg: Terra Fantastika. 640 p.
- Tsyburskij V.L. (1996). Sverhddlinnye voennye cikly i mirovaya politika [High-long military cycles and world politics]. *Polis*. 1996. No. 3. P. 27–55.
- Weber M. (1990). *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow: Progress. 808 p.
- Wittgenstein L. (2018). *Logiko-filosofskij traktat* [Tractatus Logico-Philosophicus]. Moscow: AST. 158 p.
- Yudin N.V. (2020). V poiskah nauki o mezhdunarodnyh otnosheniyah: vzglyad cherez prizmu kriticheskogo realizma [Searching for Science of International Relations insights from Critical Realism]. *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 18. No. 1 (60). P. 135–151.
- Zen'kovskij V. (2001). *Istoriya russkoj filosofii* [History of Russian Philosophy]. Moscow: Akademicheskij proekt. 880 p.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА НА ПЕРЕПУТЬЕ

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЕРСАЛЬСКОГО И ЛОКАРНСКОГО РЕЖИМОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Магадеев И.Э. В тени Первой мировой войны: Дилеммы европейской безопасности в 1920-е годы. М.: Аспект Пресс, 2021. 864 с.

«Невыученные уроки» Первой мировой войны, нереализованные альтернативы и упущенные возможности межвоенного периода продолжают занимать умы отечественных и зарубежных историков-международников. Значимой вехой в российских исследованиях истории XX века стал выход в свет монографии И.Э. Магадеева, посвящённой комплексному изучению проблематики европейской безопасности в 1920-х годах. Её автор — доцент Кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, известный российский международник, лауреат стипендии Президента Российской Федерации и стипендии «Дидро», конкурса «Глобальные перспективы 2011», автор более 100 научных трудов. Рецензируемая монография подводит итог многолетней кропотливой исследовательской работе [Магадеев И.Э. 2012; 2014; 2019; 2021a; 2021b]. Более того, она стала наиболее капитальным, всесторонним и доскональным исследованием международных отношений в Европе в 1920-х годах в отечественной историографии.

Целью книги стало «выявление ключевых трендов, тенденций и итогов в развитии одной из ключевых международных проблем 1920-х годов — характера и условий организации безопасности и стабиль-

ности» в Европе (С. 5). Отмечая колоссальный масштаб международных и внутренних трансформаций, произошедших после Первой мировой войны, автор указывает на то, что все международные события и процессы в то время были органично и неразрывно связаны с «Великой войной», разворачивались в «её тени» (С. 9).

Рассматриваемый период характеризуется как «эра пацифизма», эпоха несбывшихся надежд и «иллюзорного мира», короткая пауза между двумя крупнейшими катастрофами XX века. Сложность и многоликость феномена европейской безопасности в это десятилетие, выходящие за рамки какой-либо одной теории, обусловили привлечение разнообразного методологического инструментария, в частности конструктивистской и либеральной парадигм, а также методов и подходов из смежных гуманитарных дисциплин: истории, политологии, социологии. Теория режимов и сформулированные в её русле категории «дилеммы безопасности» и «режимов безопасности» — Версальского и Локарнского (С. 21–22) — стали ключевыми аналитическими концептами книги и были использованы её автором весьма плодотворно. Они позволили ему выявить сложные многообразные взаимосвязи разрозненных

элементов европейской безопасности и комплексно их проанализировать.

В своём исследовательском поиске И.Э. Магадеев опирался на широкий круг документальных публикаций, раскрывающих внешнеполитические подходы Великобритании, Франции, Германии, США и СССР, а также на многочисленные зарубежные и российские архивные документы, ранее не введённые в научный оборот. В их числе — документы из фондов Кабинета министров Великобритании и личных фондов руководителей Форин-офиса, материалы французского Дипломатического архива и Национального архива Франции, архивные военные и разведывательные документы и др.

Версальский режим безопасности определяется в монографии как «модель по реализации на практике того “проекта” территориального и военно-политического устройства Европы и мира, который был заложен в мирных договорах 1919–1920 годов» (С. 143). Его ключевыми элементами были англо-французская Антанта, Лига Наций, а также разоружение Германии и послевоенный территориальный статус-кво. В оценке Версальского мирного договора автору удалось найти «золотую середину»: дистанцироваться, с одной стороны, от его тотальной критики, традиционной для историографии XX века, а с другой — от новейших попыток его оправдания и облагораживания. Убедительно показано, что этот договор вобрал в себя всю внутреннюю противоречивость послевоенного европейского устройства, ключевые параметры которого были определены на Парижской мирной конференции. В итоге Версальский режим безопасности оказался гибридом: «с теоретической точки зрения он основывался на концепции переустройства континента на базе принципа “национального самоопределения”, а с практической — на интересах победителей по закреплению результатов Первой мировой и по недопущению реализации альтернативных “проектов” — “мировой революции” во главе с Советской Россией и “Срединной Европы” во главе с Германией» (С. 143–144).

Изначальные хрупкость и незавершённость Версальского порядка, который «предстаёт расколотым и фрагментированным сразу по нескольким направлениям» (С. 852), обусловили стремление побеждённых государств к его полному слому, а победителей — к его существенной модификации, которая произошла в 1924–1925 годах с принятием «плана Дауэса» и подписанием Локарнских соглашений.

Путь от Версаля к Локарно рассматривается в книге с разных углов, что позволяет более полно, чем это сделано в имеющейся историографии, проследить развитие этого политического процесса, а также раскрыть механизмы функционирования многосторонней европейской дипломатии. Кризис Версальского режима безопасности вполне обоснованно увязывается не только с драмой Рурского кризиса 1923 года — ещё одного эха Первой мировой, но и с фактической ликвидацией франко-британской Антанты, ключевым признаком которой был «факт выработки Великобританией и Францией совместных политических решений, перед которыми ставится третья сторона» (С. 321).

Монография убедительно демонстрирует роль США в европейском транзите от Версаля к Локарно. Подчеркивается, что, несмотря на доктринальное возвращение к изоляционизму, официальный Вашингтон и американский финансовый мир в 1920-х годах оказывали существенное влияние на характер стабилизации и решение вопросов безопасности в Европе (С. 160). После принятия «плана Дауэса» и превращения Соединённых Штатов в главного иностранного инвестора в Германии финансово-экономический базис послевоенной стабилизации Европы приобрёл трансатлантический характер, что входило в явное противоречие с отказом США от участия в её военно-политической стабилизации.

Существенной модификацией (но не радикальным сломом!) Версальского режима стал пришедший ему на смену Локарнский режим безопасности, становлению и эволюции которого в книге уделяется значи-

тельное внимание. обстоятельно проанализированы основные сходства и различия двух парадигм; показано, каким образом «от механизма Антанты, закреплявшего привилегированное место победителей в Первой мировой войне при дискриминации побеждённых, был совершён переход к системе коллективной выработки политических решений западноевропейскими державами» (С. 523–524).

Главное различие между двумя режимами безопасности усматривается в том, что «Версальский режим был программой навязывания мирных договоров побеждённым государствам и реконструкции Европы за счёт Германии, а Локарнский режим являлся по сути механизмом интеграции Германии в европейскую “большую политику”» (С. 524). Он заметно снизил уровень военно-политической напряжённости на западе Европы, а в вопросе о гарантиях безопасности сместил акцент с военных на политико-правовые инструменты. Произошла общая разрядка напряжённости («малая разрядка»), которая, однако, затронула восток и юго-восток континента в значительно меньшей степени, чем его западную часть.

После Парижа Германия с согласия Лондона и Парижа фактически встала на путь полного восстановления национального суверенитета и возвращения себе статуса великой державы; «система дискриминации Германии ... была преобразована в новый “европейский концерт”»; возможность законного применения санкций по отношению к Берлину практически исчезла» (С. 549). Вместе с тем этот концерт «имел мало общего с системой коллективной безопасности» (С. 805), поскольку Локарнский режим, как убедительно доказывает автор, опирался на слабую институциональную основу. Его главным дипломатическим механизмом были неформальные встречи министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, решения которых носили столь же неформальный характер и, как правило, держались в тайне от общественности. «Ядро Локарнского режима — концерт Велико-

британии, Франции и Германии — отнюдь не всегда функционировал слаженно и гармонично» (С. 574). Вместе с тем тренд на интеграцию Германии в послевоенный порядок получил во второй половине 1920-х годов развитие: она была принята в Лигу Наций (1926), а ключевые институты Версаля, созданные для её сдерживания (Конференция послов, Союзный военный комитет, Контрольная комиссия), были демонтированы. В 1930 году, на пять лет раньше установленного срока, был завершён вывод войск держав-победительниц из Рейнской области (что явилось неоправданной односторонней уступкой Берлину, серьёзной ошибкой гарантов Версаля, ещё не получившей должной оценки в исторической науке).

При сравнительном анализе моделей Версаля и Локарно автор подчёркивает их важные характеристики, обойдённые вниманием других исследователей. «Версальское урегулирование, — пишет он, — каким бы парадоксальным это ни казалось, учитывая его сложившийся карательный и репрессивный образ, содержало в себе целый ряд интенций к усилению глобализации (создание полноценной Лиги Наций с широким кругом участников) и к построению более или менее цельного режима безопасности в Европе» (С. 843). С другой стороны, создание и развитие Локарнского режима, предполагавшего наличие «границ первого и второго сорта», усиливало процессы регионализации на континенте (С. 842, 851). В его рамках «произошла своего рода регионализация системы безопасности, заложенной в 1919 году» (С. 818). За скобками Локарнского процесса оказались такие крупнейшие державы, как СССР и США, что стало его “родовым пятном”, а также негативным наследством Версаля» (С. 819).

Подводя итоги проведённого исследования, отвечая на его ключевой вопрос: был ли обречён Локарнский режим и вела ли его эволюция к неизбежному кризису и к разрушению европейского статус-кво (С. 816), автор делает важные научные обобщения. Он отмечает, что «непростой, но в целом

успешный процесс взаимодействия Великобритании, Франции и Германии в 1925–1929 годах на базе компромиссов и готовности идти на уступки ... свидетельствовал о том, что Локарнский режим удовлетворял на том этапе (хотя и по разным причинам) интересам всех трёх основных держав» (С. 802). Соответственно, разрядка второй половины 1920-х годов, как уже отмечалось в историографии, «прорисовала человечеству желанную перспективу развития без войн и потрясений, сотрудничества в духе взаимной терпимости и компромисса» (С. 817). Вместе с тем «ресурс этих позитивных тенденций оказался непропорционально мал по отношению к сложности задач, которые требовалось решить международному сообществу» (С. 817). Экспорт модели Локарно в другие части континента не удался, при том что несущие конструкции Версальского режима (французские «тыловые союзы», система контроля над разоружением Германии, институты бывшей Антанты) продолжали слабеть и распадаться (С. 656). В итоге трёхстороннее сотрудничество, временно смягчившее международную напряжённость в Европе, оказалось переходным явлением, а сам Локарнский процесс, столкнувшийся на рубеже 1920–1930-х годов с новыми грозными вызовами, отличался двойственностью и противоречивостью. Лондону и Парижу так и не удалось создать сдерживающие механизмы,

которые не позволили бы усиливающейся Германии нарушить послевоенные базовые правила игры. Кроме того, ещё один ключевой элемент Локарнского режима безопасности – «внутриполитическая стабилизация Веймарской республики на либеральных началах» – также находился под «нарастающей угрозой ввиду ослабления парламентских механизмов и укрепления влияния нацистов» (С. 771) – и в конце концов, не выдержал усиливающегося давления, что имело трагические последствия для судеб Европы и мира.

Завершая обзор, хотелось бы поздравить И.Э. Магадеева с бесспорным творческим успехом. Созданный им фундаментальный научный труд станет незаменимым подспорьем для историков, изучающих Первую мировую войну и межвоенный период. Его стоит рекомендовать студентам, обучающимся по специальностям и направлениям подготовки «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение». Вводящая в научный оборот широкий пласт архивных документов, новые оригинальные концепты, новаторские оценки и суждения, монография И.Э. Магадеева представляет несомненный интерес и для широкого круга читателей, интересующихся международной историей XX века.

Андрей Сидоров
кандидат исторических наук

Список литературы

- Магадеев И.Э. В тени Первой мировой войны: Дилеммы европейской безопасности в 1920-е годы. М.: Аспект Пресс, 2021а. 864 с.
- Магадеев И.Э. Восприятие французскими политиками угроз безопасности в 1920-е годы // Новая и новейшая история. 2012. № 4. С. 58–68.
- Магадеев И.Э. Германская политика Парижа в 20-е годы XX века в свете уроков Первой мировой войны // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 4 (37). С. 35–44.
- Магадеев И.Э. Первая мировая война и тренды европейской истории XX века. М.: Аспект Пресс, 2021б. 256 с.
- Магадеев И.Э. Советское государство и расстановка сил в Европе от Версаля до Локарно // Война, революция, мир. Россия в международных отношениях, 1915–1925 гг. / Под ред. А.В. Ревякина. М.: Аспект Пресс, 2019. С. 334–366.

References

- Magadeev I.E. (2012). *Vospriyatiye frantsuzskimi politikami ugroz bezopasnosti v 1920-ye godyy* [Perception of security threats by French politicians in the 1920s]. *Novaya i Noveyshaya Istoriya*. No. 4. P. 58–68.

- Magadeev I.E. (2014). Germanskaya politika Parizha v 20-ye gody XX veka v svete urokov Pervoy mirovoy voyny [German policy of Paris in the 1920s in the light of the lessons of the First World War]. *Vestnik MGIMO Universiteta*. No. 4 (37). P. 35–44.
- Magadeev I.E. (2019). Sovetskoye gosudarstvo i rasstanovka sil v Yevrope ot Versalya do Lokarno [The Soviet state and the balance of power in Europe from Versailles to Locarno]. In: Revyakin A.V. (ed.) *Voyna, revolyutsia, mir. Rossiya v mezhdunarodnykh otnosheniyakh, 1915–1925 gg.* Moscow: Aspect Press. P. 334–366.
- Magadeev I.E. (2021a). *V teni Pervoy mirovoy voyny: Dilemmy yevropeyskoy bezopasnosti v 1920-ye gody* [In the Shadow of World War I: The Dilemmas of European Security in the 1920s.]. Moscow: Aspect Press. 864 p.
- Magadeev I.E. (2021b). *Pervaya mirovaya voyna i trendy yevropeyskoy istorii XX veka* [World War I and trends in 20th century European history]. Moscow: Aspect Press. 256 p.

Наши авторы

- Аликин Артем Анатольевич** – стажёр-исследователь ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
- Арапова Екатерина Яковлевна** – кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики МГИМО МИД России
- Бойко Сергей Михайлович** – кандидат исторических наук, начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, ведущий эксперт Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО МИД России
- Галищева Наталья Валерьевна** – доктор экономических наук, профессор, заведующая Кафедрой мировой экономики МГИМО МИД России
- Гневашева Вера Анатольевна** – доктор экономических наук, профессор Кафедры демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; руководитель Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
- Гладышева Анастасия Игоревна** – аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России
- Коктыш Кирилл Евгеньевич** – кандидат политических наук, доцент Кафедры политической теории МГИМО МИД России
- Радько Наталья Михайловна** – аспирантка Редингского университета (Великобритания)
- Ребро Ольга Игоревна** – эксперт Центра перспективных американских исследований МГИМО МИД России
- Ренард-Коктыш Анна Витальевна** – аспирантка Кафедры политической теории МГИМО МИД России
- Рещикова Мария Сергеевна** – аспирантка Кафедры мировой экономики МГИМО МИД России
- Рязанцев Сергей Васильевич** – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России; директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
- Сидоров Андрей Юрьевич** – кандидат исторических наук, доцент Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России
- Сучков Максим Александрович** – кандидат политических наук, директор Института международных исследований МГИМО МИД России
- Сушенцов Андрей Андреевич** – кандидат политических наук, доцент, декан Факультета международных отношений МГИМО МИД России
- Фененко Алексей Валерьевич** – доктор политических наук, доцент Кафедры международной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова
- Шейн Сергей Александрович** – кандидат политических наук, доцент Департамента зарубежного регионоведения, научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Our authors

- Mr Artem Alikin** – Researcher, Centre for Comprehensive European and International Studies (CCEIS), HSE University
- Dr Ekaterina Arapova** – Director, Center on Sanction Policies, MGIMO University
- Dr Sergey Boyko** – Head, Department for Security Issues in the Information Sphere, Office of the Security Council of the Russian Federation
- Prof. Dr Alexey Fenenko** – Associate Professor, Department of International Security, Lomonosov Moscow State University
- Prof. Dr Natalia Galistcheva** – Chair, World Economy Department, MGIMO University
- Mrs Anastasia Gladysheva** – Analyst, Institute for International Studies, MGIMO University
- Prof. Dr Vera Gnevasheva** – Professor, Department of Demographic and Migration Policy, MGIMO University; Head, Department for the Reproduction of Labor Resources and Employment of the Population, Institute for Demographic Research, Russian Academy of Sciences
- Dr Kirill Koktysh** – Associate Professor, Department of Political Theory, MGIMO University
- Mrs Natalya Radko** – Doctoral Candidate, Henley Business School, University of Reading, UK;
- Mrs Olga Rebro** – Expert, Center for Advanced American Studies, MGIMO University
- Mrs Anna Renard-Koktysh** – Doctoral Candidate, Department of Political Theory, MGIMO University
- Mrs Maria Reshchikova** – Doctoral Candidate, World Economy Department, MGIMO University
- Prof. Dr Sergey Ryazantsev** – Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Chair, Department of Demographic and Migration Policy, MGIMO University; Director, Institute for Demographic Research, Russian Academy of Sciences
- Dr Sergey Shein** – Associate Professor, Centre for Comprehensive European and International Studies (CCEIS), HSE University
- Dr Andrey Sidorov** – Associate Professor, Department of International Relations and Foreign Policy of Russia, MGIMO University
- Dr Maxim Suchkov** – Director, Institute for International Studies, MGIMO University
- Dr Andrey Sushentsov** – Dean, School of International Relations, MGIMO University

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. М.: Аспект Пресс, 2017. 480 с.

Сушенцов А.А. Малые войны США: Политическая стратегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000–2010-х годах / Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: НОФМО; Аспект Пресс, 2014. 272 с.

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке [Учебник (гриф УМО)] / Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: НОФМО; Аспект Пресс, 2013. 448 с.

Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор. М.: Аспект Пресс, 2013. 573 с.

Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект Пресс, 2012. 256 с.

Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: Учеб. пособие для студентов вузов / А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, В.Г. Коргун и др.; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2011. 549 с.

Темников Д.М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе. М.: НОФМО, 2010. 173 с.

Современная мировая политика. Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2009, 2010. 588 с.

Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: НОФМО, 2008. 330 с.

Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки теории и методологии. М.: НОФМО, 2008. 230 с.

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 2-е изд., испр. и доп. М.: НОФМО, 2008. 363 с.

Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: НОФМО, 2007. 240 с.

Фиона Хилл, Клиффорд Гэдди. Сибирское бремя. Просчёты советского планирования и будущее России. М.: НОФМО, 2007. 328 с.

От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Отв. ред. Ф.Г. Войтоловский, П.А. Гудев, Э.Г. Соловьёв. М.: НОФМО, 2005. 204 с.

Стабильность и конфликт в российском приграничье. Этнополитические процессы в Сибири и на Кавказе в середине 2000-х годов / Отв. ред. В.И. Дятлов, С.В. Рязанцев. М.: НОФМО, 2005. 345 с.

Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. М.: НОФМО, 2005. 224 с.

Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918–2003. События и документы / Под ред. А.Д. Богатунова. Т. I (520 с.), т. II (247 с.). М.: Московский рабочий, 2000. Т. III (720 с.), т. IV (600 с.). М.: НОФМО, 2003–2004.

Троицкий М.А. Трансатлантический союз 1991–2004. Модернизация системы американско-европейского партнёрства после распада биполярности. М.: НОФМО; Институт США и Канады РАН, 2004. 250 с.

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. 382 с.

Галенович Ю.М. Китай и сентябрьская трагедия Америки. М.: НОФМО, 2002. 170 с.

Прозрачные границы. Безопасность и сотрудничество в зоне новых пограничных территорий России / Под ред. С.В. Голунова, Л.Б. Вардомского. М.: НОФМО, 2002. 572 с.

Серия докладов. Очерки текущей политики

Балуев Д.Г., Новосёлов А.А. «Серые зоны» мировой политики / Отв. ред. М.А. Троицкий // Очерки текущей политики. Вып. 3. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2010. 40 с.

Богатуров А.Д., Дундич А.С., Троицкий Е.Ф. Центральная Азия: «отложенный нейтралитет» и международные отношения в 2000-х годах // Очерки текущей политики. Вып. 4. М.: НОФМО, 2010. 104 с.

Зевелёв И.А., Троицкий М.А. Сила и влияние в американско-российских отношениях: семиотический анализ // Очерки текущей политики. Вып. 2. М.: НОФМО, 2006. 72 с.

Примаков Е.М., Хрусталёв М.А. Ситуационные анализы. Методика проведения // Очерки текущей политики. Вып. 1. М.: НОФМО; МГИМО (У) МИД России, 2006. 28 с.

Международные процессы

Журнал теории международных отношений и мировой политики

Главный редактор **Андрей Байков**

«Международные процессы» – первый российский научный журнал, посвящённый теории международных отношений и мировой политике. В журнале публикуются статьи, анализирующие новые тенденции в развитии международных отношений и мировой экономики, а также освещающие современные теоретические дискуссии по конфликтологии, международным организациям, этическому измерению внешней политики и международного права, международной безопасности, геополитике.

Журнал является независимым изданием, созданным в целях содействия научному общению между русскоязычными исследователями и преподавателями международных отношений и смежных дисциплин. Мы также стремимся помочь становлению и развитию в России школ теоретического осмысления международных отношений и мировой политики.

Среди наших авторов – сотрудники образовательных и исследовательских учреждений России, стран СНГ, Западной Европы и Северной Америки. Помимо академической аудитории, журнал распространяется среди представителей российских федеральных и региональных органов власти, включая Министерство иностранных дел и Федеральное Собрание Российской Федерации.

«Международные процессы» приглашают к сотрудничеству авторов. Объём рукописей, представляемых на рассмотрение Редакционного совета, не должен превышать 60 тысяч знаков с пробелами. К рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся материалы, не представленные одновременно к публикации в других периодических изданиях или в составе коллективных работ.

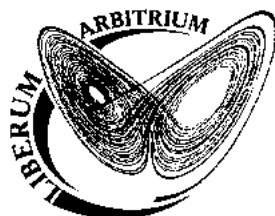
Журнал выпускается четыре раза в год Научно-образовательным форумом по международным отношениям.

ISSN 1728-2756

E-ISSN 1811-2773

Индекс журнала по каталогу «Роспечать» – 46768.

<http://www.intertrends.ru>



LIBERUM ARBITRIUM
СВОБОДА ВЫБОРА

На эмблеме Форума изображён «аттрактор Лоренца» – фигура, воплощающая вариантность движения потоков частиц в неравновесных системах. Эмблема зарегистрирована как товарный знак.

International Trends (Mezhdunarodnye protsessy)
Journal of International Relations Theory and World Politics

Edited by **Andrey Baykov**
MGIMO University

International Trends is the first Russian academic journal dedicated to international relations theory and methodology of world-political studies.

The journal features first-class articles on new fundamental trends in international relations and world economy, the evolving theoretical agenda of security and conflict studies, international organizations, the ethical dimension of foreign policy and international law, ecology, geopolitics and international political economy. Having no direct affiliation with any state or private university or think-tank, the journal seeks to facilitate communication among all Russian-reading scholars and educators and to foster their concerted effort focused on developing theoretical approaches to international relations and world politics.

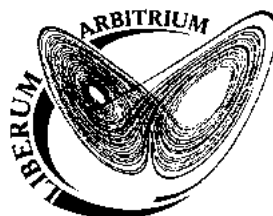
Our authors come from universities and research centers based in the former Soviet area as well as Western Europe and North America. Apart from Russian-speaking intellectuals, analysts and university faculty, the journal circulates among policy makers and officials serving in Russian federal and regional government bodies, including the Ministry of Foreign Affairs and the Russian Federal Assembly.

International Trends welcomes manuscripts in Russian. Their length should not exceed 60,000 characters. Submitted manuscripts should be original and should not be considered simultaneously for publication in full or in part in any other journal or collective monograph.

International Trends is published four times a year by the Academic Educational Forum on International Relations.

ISSN 1728-2756
E-ISSN 1811-2773

<http://www.intertrends.ru>



LIBERUM ARBITRIUM
СВОБОДА ВЫБОРА

ТЕМАТИКА РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ

Том восемнадцатый. 2021	No 1	Внешнеполитические ресурсы и образы действия
	No 2	Глобальные вызовы и национальные приоритеты
	No 3	Угрощение среды
Том восемнадцатый. 2020	No 1	Национальные задачи и международный опыт
	No 2	Нормы и конструкты в поведении государств
	No 3	Сценарии соперничества и издержки конфликта
	No 4	Дилеммы мультилатерализма в мировой политике
Том семнадцатый. 2019	No 1	Глобальные технологические развилки
	No 2	Международные отношения. <i>К столетию дисциплины</i>
	No 3	Экономический инструментарий политики
	No 4	Форма vs. содержание в международной политике
Том шестнадцатый. 2018	No 1	Стратегии мироуправления
	No 2	Соотношение мощи и власти в международной политике
	No 3	Динамика порядка и логика протеста
	No 4	Новое в решении извечных проблем
Том пятнадцатый. 2017	No 1	Вызовы изменений
	No 2	Эволюция субъектности в глобальной политике
	No 3	К 50-летию ASEAN
	No 4	Опыт и идентичность
Том четырнадцатый. 2016	No 1	Динамика и инерция
	No 2	Конкуренция в мировой политике
	No 3	Военная сила и асимметрия мощи
	No 4	Вызовы всемирности
Том тринадцатый. 2015	No 1	История в политике и политика в истории
	No 2	Методы и наука
	No 3	Экономические трудности политической системы
	No 4	Ресурсы влияния и инструменты регулирования
Том двенадцатый. 2014	No 1-2	Глобальная политика и информационная война
	No 3	«Новые старые» правила мировой политики?
	No 4	Независимость и предел ответственности
Том одиннадцатый. 2013	No 1	Общество, дискурс, политика
	No 2	Сотрудничество и противоборство в мировой политике
	No 3-4	К 10-летию журнала «Международные процессы»

Том десятый. 2012	No 1	Идея и структура в миросистемной эволюции
	No 2	Среда международной безопасности
	No 3-4	Теория в условиях неопределённости
Том девятый. 2011	No 1	Неуверенная экономика и напряжённое общество
	No 2	Дробление пространства политики
	No 3	Источники глобальной опасности
Том восьмой. 2010	No 1	Политические измерения глобального пространства
	No 2	Конфликт и право
	No 3	Социальная фаза глобального кризиса
Том седьмой. 2009	No 1	Контурные мирового беспорядка
	No 2	Запрос на перемены
	No 3	Политическая демократия и мировое государство
Том шестой. 2008	No 1	Цикл расхождений в мировой системе
	No 2	Кризис и перспектива
	No 3	Сила и иерархия в мировой политике
Том пятый. 2007	No 1	Контроль и влияние в мировой политике
	No 2	Сопредельные пространства в мировой политике
	No 3	Интеграция и национальный интерес
Том четвёртый. 2006	No 1	Единство и разнородность
	No 2	Хронические конфликты в мировой политике
	No 3	Глобальная конкуренция в мировом государстве
Том третий. 2005	No 1	Регулирование и саморегулирование в мировой политике
	No 2	Антропология мировой политики
	No 3	Нефть и безопасность
Том второй. 2004	No 1	Философия международных отношений
	No 2	Лидерство и контрлидерство
	No 3	Свобода и несвобода
Том первый. 2003	No 1	Порядок и право
	No 2	Мир и война
	No 3	Пространство мира и международная безопасность

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ»

(Редакционная политика)

Редколлегия рассматривает материалы только при условии выполнения всех нижеперечисленных требований!

Общие правила

1. Редакция принимает к публикации статьи объёмом от 0,5 до 1,5 авторского листа. Они должны представлять собой изложение результатов самостоятельного, оригинального научного исследования, соответствующего тематическому профилю журнала и отражающего умение автора свободно ориентироваться в существующем библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию постановки и решения научных задач.

2. Наряду со статьями редакция публикует аналитические обзоры современных работ (объёмом около 1 авторского листа) и рецензии на новейшую научную литературу (0,25 авторского листа). До 1 июля каждого текущего года рассматриваются тексты рецензий на книги, изданные в предшествующем году. После 1 июля — только на работы текущего года.

3. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Все материалы направляются на анонимное экспертное рецензирование.

4. Имена рецензентов (как правило, не менее двух) не разглашаются. В случае отказа в публикации принятого к рассмотрению материала редакция направляет автору мотивированное заключение с изложением оснований для отказа.

Все тексты должны быть написаны литературным языком и отредактированы в соответствии с нормами научного стиля речи.

5. В журнале могут быть размещены только ранее не опубликованные материалы, которые в момент представления их в редакцию не рассматриваются на предмет публикации в других журналах.

6. Плата за публикацию материалов не взимается. Единственными основаниями для решения о публикации являются качество материалов и их соответствие тематике журнала.

7. Направлять статьи необходимо только по электронному адресу submissions@intertrends.ru в файлах типа Word с форматированием текста по левому краю, 12 кеглем через полуторный интервал, шрифт “Times New Roman”.

Убедительная просьба не применять в тексте автоматические нумерацию и списки.

Просим потенциальных авторов с пониманием отнестись к тому, что редакция журнала не вступает в переписку и тем более содержательную полемику с потенциальными авторами по электронной или обычной почте и не принимает на себя какие-либо предварительные обязательства, касающиеся публикации подаваемых авторами материалов.

8. Титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества автора, учёной степени и учёного звания, должности и места работы, а также почтового индекса места работы — должен быть сохранён в отдельном файле. Информация в нём должна дублироваться на русском и английском языках. Основной файл статьи должен содержать её название, соб-

ственно текст произведения, постраничные примечания и затекстовый список литературы в кириллической и романской транскрипции. Данное требование связано с соблюдением условий анонимного рецензирования всех направляемых в редакцию рукописей.

9. Авторы должны снабдить представляемые на рассмотрение статьи списком ключевых слов, кратким содержанием работы (резюме) на русском и английском языках объемом не менее 250 слов и пристатейной библиографией в формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования (см. ниже).

Оформление ссылок

1. Ссылки на научную литературу, аналитические доклады и статьи в научных изданиях должны быть оформлены в виде внутритекстовых библиографических ссылок с указанием фамилии авторов, года издания, страниц. В случае отсутствия указания авторства в библиографическом описании издания необходимо указать его название.

Например: [Huntington 1993: 68]; [Хелд и др. 2004: 33]; [Мир вокруг России 2007: 21].

2. Остальные ссылки должны быть оформлены в виде постраничных сносок-примечаний.

Например: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Совет безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html> (дата обращения: 12.10.2013).

Резюме

1. Статьи и аналитические обзоры, направляемые в адрес редакции, должны сопровождаться резюме на русском и английском языках. Оно должно быть выполнено в форме краткого текста, объемом от 250 до 350 слов, который раскрывает цель и задачи работы, её структуру и основные полученные выводы. **Резюме представляет собой самостоятельный аналитический текст и должен давать адекватное представление о проведённом исследовании без необходимости обращения к статье.**

2. Резюме на английском (Abstract) должно быть написано грамотным академическим языком. **Оно не может быть дословным переводом с русского, не может содержать неперево-
данных русскоязычных конструкций и идиом.**

Список литературы (References)

1. Статьи, аналитические обзоры и резюме, направляемые в адрес редакции, должны сопровождаться списком литературы на русском и английском языках. Оба списка должны быть составлены по алфавитному принципу (в согласии с русским и латинским алфавитами соответственно). **В список литературы должны быть включены научная литература, аналитические доклады и статьи в научных периодических изданиях (он должен отражать совокупность работ, на которые в статье содержатся внутритекстовые библиографические ссылки).**

2. В списке литературы на русском языке при оформлении научных трудов должны быть указаны фамилия и инициалы авторов, название работы, место издания, название издательства, год издания, количество страниц. При оформлении статей в научных журналах и сборниках или работ, опубликованных в рамках продолжающихся серий, необходимо указывать фамилию и инициалы автора, название статьи, название журнала, сборника или серии, место издания, издательство и год издания для сборников / год издания, том и номер для журнала, номера страниц, для интернет-публикаций также электронный адрес

и дату обращения (при наличии). Название статьи и журнала, а также название сборника и сведения о редакторах должны разделяться двумя косыми чертами. *Фамилия и инициалы автора должны быть выделены курсивом.*

Например: Nye J. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs, 2004. 208 p.

Каберник В. Революция в военном деле: возможные контуры конфликтов будущего // *Метаморфозы мировой политики* / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 148–178.

Стрелец И. Информационная экономика как общемировой социальный феномен // *Международные процессы*. 2011. Т. 9. № 1 (25). С. 25–37.

Салтыков Б. Высшее образование в России: между наследием прошлого и современными вызовами / IFRI. *Russie. Nei.Vision*. 2008. 23 с. URL: http://www.ifri.org/files/Russie/ifri_saltykov_education_RUS_avril_2008.pdf (дата обращения: 24.05.2013).

3. В списке литературы на английском языке (References) при оформлении научных трудов должны быть указаны фамилия и инициалы автора, год издания, название работы, место издания, название издательства, количество страниц. *Название книги должно быть выделено курсивом.*

4. При оформлении статей в научных журналах и сборниках или работ, опубликованных в рамках продолжающихся серий, необходимо указывать фамилию и инициалы автора, год издания, название статьи, название журнала или серии, том и номер для журнала / место издания и издательство для сборника, количество или номера страниц, электронный адрес и дату обращения (при наличии). *Название журнала, сборника или серии должно быть выделено курсивом.*

Вся информация о работах на русском языке должна быть транслитерирована на английский в соответствии с правилами транслитерации. Место издания должно быть указано полностью. **Название книги, доклада или статьи должно быть транслитерировано и переведено (перевод приводится в квадратных скобках).**

Например: Nye J. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. 208 p.

Dolinskiy A. 2011. Diskurs o publichnoy diplomatii [Discourse on Public Diplomacy] // *Mezhdunarodnye protsessy*. Vol. 9. № 1 (25): 45–55.

Risse Th. 2002. Transnational Actors and World Politics. In: Carsnaes W., Risse Th., Simmons B.A. (eds) *Handbook of International Relations*. Sage: 255–274.

Saltykov B. 2008. Vysshee obrazovanie v Rossii: mezhdru naslediem proshlogo I sovremennymi vyzovami [Russian Higher Education: Between the Past and the Future]. *IFRI. Russie. Nei.Vision*: 18. 23 p. Available at: http://www.ifri.org/files/Russie/ifri_saltykov_education_RUS_avril_2008.pdf (accessed: 24.05.2013).

Издательство
АСПЕКТ ПРЕСС

Учебная литература для вузов



**Новый
интернет-магазин**

shop.aspectpress.ru



Издательство «Аспект Пресс»
представляет

Торкунов А.В., Рязанцев С.В., Левашов В.К. (Под ред.). Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие: Научное издание. 2021. 248 с.

Печатнов В.О., Стрельцов Д.В. (Под ред.). Страны и регионы мира в мировой политике: В 2 т.: Учебник. Гриф ФУМО. 2021.

Том 1: Европа и Америка. 416 с.

Том 2: Азия и Африка. 368 с.

Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, деятельность: Учебник. Гриф ФУМО. 2021. 368 с.

Мартынов Б.Ф., Борзова А.Ю. История внешней политики и дипломатии Бразилии: Учебник. Гриф ФУМО. 2021. 288 с.

Издательство
АСПЕКТ ПРЕСС

учебная литература для вузов



**Новый
интернет-магазин**

shop.aspectpress.ru



Издательство «Аспект Пресс»
представляет

Торкунов А.В., Панов А.Н. (Под ред.) Протокол и этикет в дипломатической деятельности зарубежных стран: Научное издание. 2022. 280 с.

Шаклеина Т.А. Россия и США в современных международных отношениях: Научное издание. 3-е изд., перераб. и доп. 2022. 448 с.

Фененко А.В. Современная история международных отношений: 1991–2021: Учеб. пособие. 4-е изд., испр. и доп. 2022. 493 с.

Шаклеина Т.А., Байков А.А. (Под ред.). Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. Гриф ФУМО. 2022. 520 с.

Мигранян А. Имеет ли будущее Россия? Научное издание. 2022. 678 с.

Торкунов А.В., Стрельцов Д.В., Колдунова Е.В. (Под ред.). «Азиатский поворот» в российской внешней политике: Достижения, проблемы, перспективы: Научное издание. 2022. 256 с.

Наталегава М. На что способна АСЕАН? Взгляд изнутри: Научное издание / Пер. с англ. 2022. 332 с.